АКАДЕМИЯ НАУК СССР

В. А. ПУТИНЦЕВ

ГЕРЦЕН ПИСАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. А. ПУТИНЦЕВ * ГЕРЦЕН-ПИСАТЕЛЬ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ имени А. М. ГОРЬКОГО

В. А. ПУТИНЦЕВ

ГЕРЦЕН ПИСАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1952

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
доктор филологических наук
А. Г. ЦЕЙТЛИН

«...беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы...»

(В. И. Ленин. Памяти Герцена)

ВВЕДЕНИЕ

В плеяде славных деятелей русского освободительного движения, лучших представителей передовой, демократической культуры нашего народа почетное место принадлежит великому русскому мыслителю, писателю и революционеру Александру Ивановичу Герцену. Разносторонняя и кипучая деятельность Герцена оставила глубокий след в развитии литературы и общественной мысли России.

Наша партия всегда высоко ценила великую демократическую культуру русского народа. В работах Ленина и Сталина постоянно отмечается преемственная связь между революционной социал-демократией и лучшими традициями русской демократической мысли XIX века. По гениальному определению товарища Сталина, ленинизм есть высшее достижение русской культуры [1]. Возникнув на самой прочной базе теории марксизма, творчески развивая учение Маркса — Энгельса, ленинизм как идеология большевистской партии опирался на богатейший опыт русского революционного движения и русской революционной мысли. Ленинизм, указывал А. А. Жданов, «воплотил в себе все лучшие традиции русских революционеров-демократов XIX века» [2].

Борьбе за чистоту идейного богатства, оставленного революционными демократами, В. И. Ленин придавал исключительно большое значение. Еще в 1902 году, в своем знаменитом труде «Что делать?», заложившем идеологические основы партии нового типа, Ленин, говоря о том, что *«роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией»* [3], напоминал о предшественниках русской социал-демократии — Герцене, Белинском, Чернышевском,

[1] См. И. В. Сталин. Соч., т. 8, стр. 152.

[2] А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, 1952, стр. 23.

[3] В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 342.

блестящей плеяде революционеров семидесятых годов. В деятельности великих русских революционеров-демократов ярко проявилась роль передовых идей в жизни и истории общества. Классическое наследие русской общественной мысли XIX века было могучим арсеналом большевистской партии в борьбе против реакционной клеветы на славные революционные традиции русского народа. Исходя из ленинского учения о том, что «в *каждой* национальной культуре есть, хотя бы не развитые, *элементы* демократической и социалистической культуры» [4], русские марксисты в период жесточайшей реакции после поражения революции 1905 года, в пору, по характеристике Горького, самого позорного десятилетия в истории русской буржуазной интеллигенции, отстояли прогрессивные идеи демократической русской культуры от посягательств буржуазно-«веховской» контрреволюции. Большевики высоко подняли знамя русской революционной демократии XIX века, рассматривая его как отражение интересов широких народных масс на определенном историческом этапе. «Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов,— спрашивал Ленин в статье «О «Вехах»» (1909),— настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?» [5].

В новых условиях, коренным образом отличавшихся от исторической обстановки, в которой приходилось выступать русской революционной демократии, в условиях борьбы рабочего класса России за социалистическую революцию и торжество марксистско-ленинского мировоззрения в революционном движении, идеи Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова продолжали активно служить делу освобождения русского народа от оков царизма, буржуазной эксплуатации, пережитков крепостничества, национального гнета. Именно поэтому развернулась ожесточенная борьба вокруг идейного наследия революционных демократов, занявшая видное место в идеологической борьбе конца XIX — начала XX века.

В статье «Памяти Герцена», этом выдающемся произведении марксистско-ленинской теории, В. И. Ленин нарисовал яркий, живой образ Герцена — «писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции» [6]. Ленин разгромил попытки реакции исказить идейный облик Герцена, извратить революционные традиции русской демократии XIX века и использовать их в своей борьбе против пролетар-

---

[4] В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 8.
[5] Там же, т. 16, стр. 108.
[6] Там же, т. 18, стр. 9.

ского движения. Статья была написана Лениным в апреле 1912 года, в связи со столетием со дня рождения великого демократа. Со страстью революционера-марксиста Ленин выступил против либерального, обывательского и всякого иного «юбилейного» славословия Герцена. Ленин показал, как «подло и низко клевещут на Герцена окопавшиеся в рабьей «легальной» печати... либералы, возвеличивая слабые стороны Герцена и умалчивая о сильных»[7]. Либеральная Россия «чествует» Герцена, «заботливо обходя серьезные вопросы социализма, тщательно скрывая, чем отличался *революционер* Герцен от либерала». «Поминает Герцена,— продолжает Ленин,— и правая печать, облыжно уверяя, что Герцен отрекся под конец жизни от революции. А в заграничных, либеральных и народнических, речах о Герцене царит фраза и фраза»[8].

Статья Ленина решительно разоблачила народнические, буржуазно-либеральные и открыто реакционные легенды о Герцене. Борьба Ленина за Герцена как великого революционного демократа и одного из предшественников марксизма в России имела исключительно важное значение. Статья «Памяти Герцена» в условиях идейной борьбы того времени была программным документом большевистской партии по вопросу об отношении революционного пролетариата к лучшим традициям русского освободительного движения и передовой общественной мысли прошлого.

Статья Ленина явилась важнейшим историческим событием в борьбе большевистской партии за теоретическое вооружение революционных трудящихся масс в преддверии нового подъема рабочего движения, нового «натиска бури». «Рабочая партия,— писал Ленин,— должна помянуть Герцена не ради обывательского славословия, а для уяснения своих задач...»[9] На примере Герцена Ленин призывает пролетариат учиться «великому значению революционной теории». «Обогащенный этими уроками, пролетариат пробьет себе дорогу к свободному союзу с социалистическими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую монархию, против которой Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с *вольным русским словом*»[10].

С исключительной четкостью и глубиной Ленин определил место и значение Герцена в истории русской революции и общественной мысли. Ленинское учение об этапах развития русского освободительного движения явилось гениальным

[7] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 14.
[8] Там же, стр. 9.
[9] Там же.
[10] Там же, стр. 15.

обобщением опыта революционной борьбы в России, оно дало в руки исследователя мощное орудие научного анализа.

Статья Ленина осветила путь русской революции от восстания декабристов до победоносной борьбы рабочего класса России, завершившейся Великой Октябрьской социалистической революцией.

«Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию» [11].

Оценивая значение революционной деятельности Герцена для нового поколения русской демократии, Ленин в статье «Из прошлого рабочей печати в России» (1914) писал: «Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению *разночинцев*...» [12]

Деятельность революционных демократов ознаменовала собою новый этап развития русского освободительного движения. «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах» [13].

Статья «Памяти Герцена» учит исследователя-марксиста при оценке и характеристике каждого отдельно взятого момента в истории общественной мысли исходить из общего хода развития освободительного движения и соотношения классовых сил на различных этапах борьбы. На примере Герцена, писал Ленин, пролетариат «учится определению роли разных классов в русской и международной революции» [14]. В другом месте статьи Ленин подчеркивает необходимость «смотреть на суть дела, а не на фразы», «исследовать классовую борьбу, как основу «теорий» и учений, а не наоборот» [15].

Ленин подвергает конкретному и всестороннему анализу мировоззрение, творчество Герцена и его историческую роль на различных этапах жизни. На ярких примерах Ленин показал победу демократических начал над либерализмом во взглядах Герцена, тесно связав демократизм писателя с его

---

[11] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 14—15.
[12] В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 223.
[13] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 15.
[14] Там же.
[15] Там же, стр. 12.

отношением к революционному народу в России. «Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидал его *в 60-х* — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции» [16].

Статья Ленина содержит замечательную характеристику мирового значения философских исканий Герцена. Ленин продолжал в ней свою борьбу за материалистические традиции русской классической философии XIX века, начатую им еще в ранних работах о народничестве. Ленинская оценка философских трудов Герцена, как и другие высказывания Ленина по вопросам русской философии, представляет исключительную ценность для научной истории развития философской мысли в России.

Вопросы философского мировоззрения Герцена Ленин исследует в неразрывном единстве с его революционно-политической деятельностью. Духовную драму Герцена, вызванную его бессилием материалистически объяснить причины поражения революции 1848 года, его «остановкой» перед историческим материализмом, Ленин назвал «крахом *буржуазных иллюзий* в социализме», «порождением и отражением той всемирноисторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела» [17].

На примере Герцена, его исторического скептицизма, Ленин дает характеристику целой всемирноисторической эпохи перехода «от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» [18].

На огромном фактическом материале, обильно привлекая для исследования философские работы, мемуары, публицистические статьи и заметки Герцена, разбросанные в «Колоколе» или опубликованные в посмертных изданиях его сочинений, Ленин проследил ведущие тенденции мировоззрения писателя-демократа, то, что в его взглядах и деятельности принадлежало будущему, то, что под конец жизни обратило его взоры к руководимому Марксом Интернационалу. При этом Ленин не замалчивает слабых сторон мировоззрения Герцена, его народническую утопию «русского» социализма, его либеральные колебания, которые вызывали справедливые упреки

---

[16] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 14.
[17] Там же, стр. 10.
[18] Там же, стр. 11.

Чернышевского, Добролюбова, Серно-Соловьевича, представлявших новое поколение революционеров-разночинцев.

В статье В. И. Ленина содержится исчерпывающее объяснение сущности противоречий во взглядах писателя, как «порождения и отражения» определенных конкретно-исторических условий. Теоретическое и методологическое значение этого ленинского положения исключительно велико. Оно служит наглядным примером последовательного применения ленинской теории отражения к научному изучению историко-литературного процесса и развития общественной мысли.

Статья «Памяти Герцена» явилась ценнейшим вкладом великого основоположника большевистской партии и Советского государства в сокровищницу марксизма-ленинизма.

В трудах гениального ученика и соратника Ленина, великого корифея науки И. В. Сталина ленинское учение о преемственности революционных поколений в русском освободительном движении получило дальнейшее развитие.

Товарищ Сталин с исключительной ясностью, многосторонне и глубоко осветил роль рабочего класса России в русском и международном революционном движении, показал мировое значение революционных традиций русского пролетариата, всей освободительной борьбы великого русского народа. В письме к Демьяну Бедному (декабрь 1930 г.) товарищ Сталин писал: «Весь мир признаёт теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР, как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нём единственное своё отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, **русскому** рабочему классу, авангарду советских рабочих, как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлое, прошлое России, зная, что кроме России реакционной существовала ещё Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Всё это вселяет (не может не вселять!) в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса»[19].

Высказывания Ленина и Сталина о передовой, демократической культуре русского народа заложили прочные научные

---

[19] И. В. Сталин. Соч., т. 13, стр. 24—25.

основы для всестороннего изучения замечательного наследия русской революционной демократии. Призыв партии к глубокому освоению идейного богатства классиков передовой русской общественной мысли нашел горячий отклик среди писателей и ученых нашей страны. За последние годы написаны ценные научные работы о жизни, творчестве и революционной деятельности крупнейших представителей русской демократической литературы XIX века. Советские литературоведы, историки, философы внесли значительный вклад в изучение мировоззрения и творческого наследия Белинского и Герцена, Добролюбова и Чернышевского, Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

Тем не менее в области освоения нашего классического наследства перед советской наукой, в частности, перед советским литературоведением, попрежнему стоят большие задачи. Гениальные работы И. В. Сталина по вопросам языкознания ознаменовали новый исторический этап в развитии всех отраслей нашей науки. Для советских литературоведов труды товарища Сталина явились программой дальнейшей работы над решением коренных проблем теории и истории литературы.

В свете указаний товарища Сталина особое значение приобрели вопросы, связанные с изучением художественного творчества и мастерства великих русских писателей.

Настоящая монография ставит своей задачей обзор творческого пути Герцена-писателя и выяснение исторического своеобразия его художественного метода. В то время как вопросы идейной эволюции Герцена — революционного демократа получили сравнительно полное освещение в недавних работах Б. П. Козьмина, Д. И. Чеснокова и др., проблемы художественного творчества писателя до сих пор наименее разработаны в нашей научной литературе. Монография Я. Эльсберга о жизни и творчестве Герцена, удостоенная Сталинской премии, явилась по существу первым опытом научного изучения литературного наследия Герцена. Это — ценный труд по истории русской литературы и общественной мысли, крупное достижение советского литературоведения. В своей книге, определяемой как «по преимуществу духовная, идейная, творческая биография Герцена» [20], Я. Эльсберг характеризует также Герцена — мастера слова и блестящего стилиста, останавливается на вопросе о месте писателя в развитии русского реализма.

Продолжая изучение вопросов, вытекающих из анализа художественного творчества писателя, автор настоящей работы

---

[20] Я. Эльсберг. А. И. Герцен. Жизнь и творчество, Изд. 2, доп. Гослитиздат, М., 1951, стр. 4.

стремился показать отражение идейной эволюции Герцена в его художественных произведениях. В основу работы положена ленинская концепция идейного развития писателя от дворянской революционности к революционному крестьянскому демократизму. Автор полагает, что с точки зрения ленинской оценки мировоззрения Герцена на разных этапах его развития глубоко ошибочны встречающиеся в некоторых работах советских литературоведов и историков утверждения о революционно-демократическом содержании литературной и общественно-политической деятельности писателя в сороковых — пятидесятых годах. Приход Герцена в лагерь революционной демократии, как это вытекает из слов Ленина, мог произойти только на основе признания им революционного народа в России, т. е. не ранее шестидесятых годов. Поэтому в характеристике литературного творчества писателя тридцатых — пятидесятых годов автор ставил своей задачей раскрыть в мировоззрении дворянского революционера Герцена те стороны, которые обусловливали его дальнейшее развитие в направлении боевого революционного демократизма.

Шестидесятые годы в идейной эволюции Герцена рассматриваются как период революционно-демократический; в связи с этим автор счел целесообразным специально остановиться на том значении, которое имели заключительные части и главы «Былого и дум» в общем идейно-художественном строе мемуаров, а также рассмотреть в отдельной главе беллетристические произведения писателя последних лет его жизни.

Работа в основном посвящена изучению *художественного* творчества Герцена. Обращаясь к рассмотрению публицистического наследия писателя, автор прежде всего интересовался теми особенностями герценовской публицистики, которые сближали ее с художественными произведениями создателя «Былого и дум». Художественный метод Герцена — мемуариста и беллетриста и его блестящее мастерство публициста рассматриваются в единстве, отражавшем своеобразие исторического места Герцена в развитии русского освободительного движения и реалистической литературы.

В оценке каждого этапа литературного пути Герцена и отдельных его произведений автор стремился выделить особо существенные моменты, характерные для общего идейного развития писателя и имеющие наибольшее значение для нашей современности. Большое место в монографии уделено освещению истории замысла и художественного воплощения крупнейших произведений Герцена, а также идеологической и литературно-критической борьбе вокруг его творчества.

I

РАННИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ.— «ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»

Герцен родился накануне великих и грозных событий Отечественной войны русского народа против Наполеона. «Колыбельной песнью, детскими сказками», «Илиадой и Одиссеей» были для Герцена «рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа»[1]. Отблеском героической народной борьбы озарены первые детские впечатления будущего писателя. Долго вспоминались ему следы пожара: «большие обгорелые дома без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и труб на них («БиД», 11). Рассказами старой нянюшки, Веры Артамоновны, о тревожных днях нашествия наполеоновской «великой армии» на Москву Герцен много лет спустя начнет повествование о своем «былом» и своих «думах».

В столкновениях с суровой жизненной правдой созревала и крепла пытливая мысль мальчика. Сближение с «передней», общение с крестьянами и слугами, тяжелые сцены крепостного быта, свидетелем которых ему приходилось быть, рано развили в Герцене непреодолимую ненависть ко всякому рабству и произволу. «Я довольно нагляделся,— писал Герцен о своих детских годах,— как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу» («БиД», 22).

Немалую роль в духовном развитии Герцена играли первые литературные впечатления. В доме отца Герцена, родовитого и богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева, была большая библиотека, и мальчик рано познакомился с лучшими произведениями русской и мировой литературы. Один

[1] А. И. Герцен. Былое и думы. Гослитиздат, Л., 1947, стр. 11. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся непосредственно в тексте (сокращенно — «БиД»).

из воспитателей Герцена, студент Протопопов, преподававший ему отечественную словесность, тайком приносил с собой тетрадки с переписанными «вольными» стихотворениями Пушкина, Рылеева; гражданская поэзия декабристов и их круга увлекала Герцена, укрепляла в нем сочувствие к угнетенным и ненависть к поработителям.

«Восстание декабристов разбудило и «очистило» его»,— писал о Герцене В. И. Ленин [2]. Известие о восстании на Сенатской площади и жестокой расправе с декабристами глубоко потрясло будущего писателя-демократа. «Казнь Пестеля и его товарищей,— писал он впоследствии,— окончательно разбудила ребяческий сон моей души». Герцен присутствовал при коронации Николая I; «перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой», в нем созревала твердая решимость «отомстить казненных» и посвятить себя борьбе «с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками» («БиД», 32). Юношеской клятве на Воробьевых горах, «в виду всей Москвы», Герцен и его неизменный друг и соратник, впоследствии выдающийся русский поэт-революционер и демократ Н. П. Огарев, остались верны всю свою жизнь.

Революционная и литературная деятельность Герцена начиналась в обстановке торжествовавшей свою победу николаевской реакции. Новый русский царь, по определению Энгельса,— «самодовольная посредственность, с кругозором ротного командира» [3],— беспощадно подавлял всякое проявление свободолюбивых, освободительных настроений в передовых кругах молодежи. III отделение, цензура, реакционная, охранительная идеология, продажная литература и журналистика — все было брошено на борьбу с остатками декабристских идей в русском обществе. Рост стихийных крестьянских восстаний в стране и революционные события 1830—1831 годов в Западной Европе привели к еще большему усилению реакции. Лучшие люди России подвергались полицейским преследованиям и злобной травле; запрещались прогрессивные журналы; страшные гонения обрушивались на студенческие кружки. Но неистовство реакции не могло остановить дальнейшего развития русского освободительного движения, передовой русской литературы.

Герцен был одним из первых среди тех, кто в эти мрачные годы выступил наследником свободолюбивых и патриотических идей дворянских революционеров двадцатых годов. Тема патриотизма у него навсегда связалась и переплелась с темой революционной борьбы за лучшее народное будущее,

---

[2] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 9.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 24.

с темой героического сопротивления темным силам русского царизма и западноевропейской реакции. Подлинными патриотами-народолюбцами были в глазах писателя декабристы. Восстание декабристов, по словам Герцена, открыло новую фазу в его политическом воспитании. Достаточно прочесть те страницы «Былого и дум» или книги «О развитии революционных идей в России» (1851), которые посвящены декабристам, чтобы убедиться, как глубоко впоследствии понимал Герцен значение и вместе с тем историческую ограниченность дворянских тайных обществ, как с преклонением перед этой «фалангой героев» у него сочеталось сознание трагической отдаленности декабристов от народа. «Народ остался равнодушным зрителем 14 декабря»,— для Герцена это было «мыслью страшной, леденившей сердце»[4]. Отправляясь от уроков декабризма, он пытливо будет искать те силы, которые могли бы послужить основой дальнейшего развития русской революции.

Драма Герцена после поражения декабристов — в бессилии перед действительностью. «...Все попытки основывать общества,— читаем мы в «Былом и думах»,— не удавались... бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы,— предварительной, внутренней». «Но что же это была бы за молодежь,— продолжает Герцен,— которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Лашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести?» («БиД», 78).

В университете вокруг Герцена сгруппировался тесный кружок революционно настроенной молодежи. В условиях отсутствия массового революционного движения в стране кружки передовых русских людей играли тогда крупную роль в развитии освободительной борьбы и общественной мысли России. «Проповедывали мы везде, всегда»,— вспоминал Герцен и тут же признавался: «Что мы, собственно, проповедывали, трудно сказать. Идеи были смутны... пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому правительственному произволу» («БиД», 674).

Герцен был уверен, что из университетской аудитории «выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и

---

[4] А. И. Герцен. Избр. соч. Гослитиздат, М., 1937, стр. 399 («О развитии революционных идей в России», подлинник по-французски; цитируется по данному изданию, поскольку в нем содержится исправленный перевод важнейших глав этой работы Герцена).

Рылеевым», и что «мы будем в ней»,— добавлял он («БиД», 62).

По окончании университетского курса Герцен, Огарев и их друзья мечтают о широкой общественной деятельности, собираются издавать собственный энциклопедический журнал, который пропагандировал бы передовые общественные теории, в частности идеи утопического социализма. Но этим планам не суждено было осуществиться.

«Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших» («БиД», 228) — в этой иронии Герцена по поводу ареста участников кружка была большая правда. В тюрьме и ссылке его революционное самосознание быстро и неизмеримо выросло. В Перми или Новгороде, в вятском ли одиночестве или в счастливые владимирские годы — перед ним везде стоял мир чиновничьего произвола, бездушия, полицейского гнета, бесправия народа, всей ужасающей системы российского царизма. Ссылка отнюдь не смирила, а, наоборот, только обострила его ненависть к самодержавно-крепостническому строю. Она обогатила будущего издателя «Колокола» и автора «Былого и дум» превосходным знанием русской жизни. «Вы,— писал тогда Герцен московским друзьям,— ...не знаете России, живши в ее центре; я узнал многое об ней, живучи в Вятке» [5].

Практическое соприкосновение с жизнью ужаснуло Герцена. Он воочию увидел, на какие страшные мучения обрекают крепостники своих рабов, мучения не только физические, но и моральные, унижающие человека и его достоинство. Он увидел, как сосет «кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых», чиновническое сословие, «священнодействующее в судах и полициях» («БиД», 134), огромный бюрократический аппарат николаевской империи. Он увидел лицемерие духовенства, произвол помещиков, разврат, продажность и нравственное ничтожество светской знати.

В ссылке Герцен ближе узнал свой родной народ. В замечательно ярких образах он передаст впоследствии талантливость, душевное обаяние, чистоту и честность русского крепостного человека. Эти образы людей из народа, выведенные на страницах «Сороки-воровки», «Доктора Крупова», «Кто виноват?», «Былого и дум», были ярким свидетельством глубокой веры писателя в простого русского человека и искренней симпатии к нему.

---

[5] А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. I, стр. 465, письмо от 10 сентября 1837 г. В дальнейшем ссылки на это издание (с указанием тома и страницы) приводятся непосредственно в тексте.

Но Герцен был дворянским революционером. Он восхищался талантливой натурой русского крестьянина, горячо любил свой народ, придавленный тяжелым бременем крепостных отношений, но ни в тридцатых, ни в сороковых годах не мог видеть революционного народа в России, не связывал будущие судьбы русской революции с освободительной борьбой крестьянских масс. Свои надежды на революционное преобразование России он возлагал в то время на узкий слой передовой дворянской интеллигенции.

Из ссылки Герцен возвратился с той органической отчужденностью от философской абстрактности и умозрительности, которая сразу определила его особое положение в кружках передовой русской молодежи на рубеже сороковых годов. В пору «генерального межевания» русской интеллигенции он нашел свое место рядом с великим демократом Белинским.

Ранние литературные опыты и автобиографические наброски писателя имеют большой интерес, поскольку они рисуют его идейные искания той поры, становление реализма в творчестве будущего автора «Былого и дум», в частности, первые поиски жанра мемуаров. К сожалению, большая часть литературного наследия молодого Герцена затеряна, хочется верить — не навсегда. Так, М. Лемке опубликовал в 1906 году найденную им небольшую статью Герцена о Воробьевых горах, относящуюся, по всей вероятности, к 1833 году [6]; через несколько лет в извлечениях была обнародована повесть «Елена» [7]; наконец, сравнительно недавно в печати появился отрывок «Толпа», написанный Герценом около 1833—1834 годов [8].

Если к указанным статьям и отрывкам прибавить еще несколько названий («Лициний», «Вильям Пен», «Встречи», «Легенда», так называемый «Последний праздник дружбы»), то, не считая незначительных и большей частью незаконченных набросков, мы исчерпаем наше знакомство с литературным творчеством Герцена до его первого крупного печатного произведения — «Записок одного молодого человека». Между тем письма писателя к Н. А. Захарьиной, этот исключительно ценный памятник духовного развития молодого Герцена [9], повествуют о его разносторонней и насыщенной творческой жизни в годы первой ссылки. По словам П. В. Анненкова, жизнь Герцена была полна «пожирающей деятельности...

---

[6] «Былое», 1906, II.

[7] «Русское богатство», 1912, V.

[8] «Звенья», 1936, VI.

[9] «Какой огромный, богатый журнал моей жизни — письма к тебе»,— писал Герцен к Н. А. Захарьиной 5 января 1838 г. (II, 8).

воображения», «неустанного труда мысли»[10]: один замысел сменяется другим, другой сосуществует с третьим и т. д. «В портфелях его,— писал тот же Анненков,— было заготовлено множество статей, планов, начатков, даже драматических сцен, и притом в стихах»[11].

Изучавшие наследие Герцена немало трудились над восстановлением примерного содержания, стиля и хронологической последовательности юношеских опытов писателя, однако до сих пор многие вопросы его раннего творчества продолжают оставаться недостаточно ясными. Не говоря уже о затерянных статьях и повестях, трудности и споры возникают даже при изучении и издании сохранившихся отрывков, больше того — при изучении и издании такого крупного и значительного произведения, как «Записки одного молодого человека».

Общественно-политические интересы, революционные настроения молодого Герцена оказали глубокое воздействие на его литературные занятия. Произведения Герцена тридцатых годов пронизаны передовыми освободительными идеями того времени. Молодой писатель с первых же шагов в литературе явился преемником гражданских мотивов, звучавших в русской литературе двадцатых годов, прежде всего в поэзии Пушкина и декабристов. Путь Герцена, при всей противоречивости его творческого развития, отражавшей сложное, противоречивое сознание дворянского революционера после поражения восстания декабристов, вел его от революционной романтики к яркой реалистической сатире.

В романтически приподнятых, возвышенных образах начинающего писателя, порою в наивной, условной форме, находили свое воплощение идейная жизнь, страстные философские и политические искания передовой дворянской молодежи тридцатых годов. В диалогах отрывка «Толпа», более ста лет остававшегося неизвестным для читателя, запечатлелись утопические мечтания Герцена и его круга о будущем «гармоническом» обществе, идеальном социальном устройстве, «где перевес имели бы одни качества души, где не ползали бы пред богатым, где бы не трепетали сильного, но где труд для блага общего был бы единым уровнем людей, и это благо их единою целью»[12].

Герой отрывка Леонид, глубоко веря в «час лучшего пробуждения» толпы, связывает свои надежды с родным наро-

---

[10] П. В. Анненков. Литературные воспоминания. СПб., 1909. стр. 80.

[11] Там же.

[12] «Звенья», 1936, VI, стр. 341. Рукопись отрывка хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (см. «Бюллетени рукописного отдела» Института, II, М.—Л., 1950, стр. 31, № 4).

дом, который призван указать дорогу в лучшее будущее всем людям: «Неужели в этих остроумных физиономиях, в этой огромной способности понимать и производить, в этой оборотливости ума не заключается достаточных элементов, чтобы созиждить стройное гармоническое целое, чтобы человечеству показать чудный пример общественной жизни, выказать его прекрасное назначение?»[13]. Леонид, как и Герцен, не знает реальных путей и возможностей для достижения новой общественной жизни, его социалистические мечты утопичны, но мысль напряженно работает над решением этих вопросов.

Другим художественным отражением ранних утопических воззрений Герцена была его «Легенда», написанная в Крутицких казармах в феврале 1835 года и затем переработанная в Вятке[14]. Повесть открывалась вступлением от лица рассказчика-арестанта, отражавшим настроения самого писателя. Этот личный элемент в «Легенде» Герцен хотел потом развить, «прибавить новый опыт своей души», но не исполнил намерения, неудовлетворенный воплощением своего замысла. «Мысль ее хороша, но выполнение дурно, несмотря на все поправки» (I, 331). Этот отзыв Герцена показывает внутреннее противоречие в «Легенде» между риторически-витиеватым стилем, которым излагает писатель древнее житие св. Феодоры, и общественной направленностью содержания.

Повесть утверждает «жизнь для идеи» как «высшее выражение общественности» (I, 239). Свою мысль Герцен раскрывает на религиозном материале. Однако в результате исследований рукописи повести было установлено, что под образами библейской легенды писатель подразумевал борьбу вокруг учения утопических социалистов — последователей Сен-Симона[15]. Так произведение, которое раньше считалось «исполненным мистицизма», оказалось связанным, несмотря на свою мистическую оболочку, с наиболее передовыми устремлениями Герцена. Этот тайный, аллегорический смысл «Легенды» писатель имел в виду, когда в письме к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру (октябрь — ноябрь 1836 г.) признавался, что не напечатает повесть без предисловия (т. е. вступительных слов рассказчика), а «с предисловием ее не напечатают» (I, 338). «Легенду» Герцена в этом отношении можно сравнить с неоконченной повестью Радищева о «Филарете милостивом»

---

[13] «Звенья», 1936, VI, стр. 341.

[14] На рукописи «Легенды», хранящейся в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина, Герцен пометил: «Пер. в Вятке 1836 Мар. 12» (см. «Описание рукописей А. И. Герцена». Изд. 2, испр. и доп. М., 1950, стр. 16. № 43).

[15] См. Л. В. Крестова. Источники «Легенды о св. Феодоре» А. И. Герцена. Сб. «Памяти П. Н. Сакулина». М., 1931, стр. 116—119.

(1790), в которой канва жития святого была тонко использована для дидактических рассуждений автора с ярко выраженными элементами автобиографического рассказа: заметим, что Радищев писал своего «Филарета», также находясь в заключении, в Петропавловской крепости. Разумеется, повесть Радищева, приобщенная к его судебному делу и увидевшая свет лишь спустя столетие [16], Герцену была неизвестна.

Религиозная форма «Легенды» была, конечно, не случайна и отражала идеалистические воззрения Герцена вятского периода. В дальнейшем противоречивость условной, аллегорической формы и передового, тесно связанного с жизнью содержания болезненно будет ощущаться Герценом. «Я писал аллегории тогда, когда дурно писал,— говорит он в письме от 9 февраля 1838 г.— Что хочешь сказать, говори прямо,— Крутицы» (II, 75). Однако в том же 1838 и в 1839 году, т. е. уже во Владимире, Герцен создает новые своеобразные «аллегории» — «Лициний» и «Вильям Пен».

Публикуя «сценарии» своих драматических опытов в третьем томе лондонского издания «Былого и дум» (1862) [17], Герцен писал: «В них ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно перерабатывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм» (II, 206). В сценах из жизни древнего Рима («Лициний») или из эпохи борьбы официальной церкви с английскими квакерами («Вильям Пен»), написанных, по выражению писателя, «в социально-религиозном духе» («БиД», 154), Герцен пытался решить вопросы, глубоко волновавшие самого писателя и его современников. А. В. Луначарский был прав, когда видел в «Лицинии» отражение переживаний передовых русских людей тридцатых годов, «трагизм пробуждения одиночек, которые не могут опереться ни на какую силу» [18]. Драма Лициния — это драма людей переходной эпохи, занятых страстными поисками идеала. Лициний горько обличает «одряхлевший Рим»: «Истинный Рим построен был не из камня, он был в груди граждан, в их сердцах; а теперь его нет, остался его остов, каменные стены, каменные учреждения» (II, 219). Сознавая социальную несправедливость в мире сегодняшнего дня, Лициний полон «трепета перед будущим, неизвестным, но близким» (II, 212).

---

[16] См. М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I. СПб., 1889, стр. 598—611. Ср. также известное «Житие Федора Васильевича Ушакова» Радищева (1789).

[17] Текст «Лициния», за исключением отрывка из второй сцены, приведенного в воспоминаниях Т. П. Пассек («Из дальних лет», т. II. Изд. 2, СПб., 1905, стр. 65—78), не сохранился; текст «Вильяма Пена» известен по копии, воспроизведенной в издании М. Лемке (II, 276—326).

[18] А. В. Луначарский. Русская литература. Избранные статьи. Гослитиздат, М., 1947, стр. 45.

Его монолог, обращенный к «другим поколениям», явным образом перекликается с признаниями Герцена в письмах и дневниковых записях тридцатых — сороковых годов. «Будет у них вера,— говорит Лициний,— будет надежда, светло им будет, зацветет счастье, может. Но мы — промежуточное кольцо, вышедшее из былого, не дошедшее до грядущего. Для нас темная ночь — ночь, потерявшая последние лучи заходящего солнца и не нашедшая алой полосы на востоке. Счастливые потомки, вы не поймете наших страданий, не поймете, что нет тягостнее работы, нет злейшего страдания, как *ничего не делать!* Душно!»[19] (II, 221).

Бессилие Лициния состоит в его одиночестве и отчуждении от народа. Образом реалиста-язычника Мевия Герцен подчеркивает эту недостаточность романтических мечтаний. Несомненно, что здесь отразились критические настроения писателя по отношению к утопическим теориям социализма. Но других, более действенных путей борьбы он в то время не знал. Не указал их Герцен и в диалогах «Вильяма Пена», развивавших в иных исторических условиях ту же тему столкновения двух миров.

Герцен был недоволен своими драмами: «Я решительно сожгу этот неудавшийся опыт»,— написал он на рукописи «Вильяма Пена» (II, 276). Сурово осудил их Белинский и, думается, не только потому, что ему мешала «рубленая проза, на манер стихов», т. е. пятистопный ямб без рифм, которым написаны были драмы (см. II, 206 и «БиД», 154). Условно-романтическая форма и историко-религиозный материал, привлеченный Герценом, не могли не оттолкнуть Белинского, который звал писателя к реализму.

В освобождении Герцена от романтических влияний большое значение имели его опыты в автобиографическом повествовании. Литературным начинаниям молодого писателя в той или иной степени всегда был присущ автобиографический элемент. «Все яркое, цветистое моей юности я опишу отдельными статьями, повестями, вымышленными по форме, но истинными по чувству»,— писал Герцен в июне 1836 года Н. А. Захарьиной (I, 302). Вместе с тем Герцен сознает недостаточность простого рассказа только «о себе». Он осложняет свои воспоминания романтическим вымыслом, но тем лишь ослабляет, а не усиливает их художественное значение. Отсюда — постоянная неудовлетворенность своими ранними повестями, отсюда — отрывочность и незавершенность большинства этих автобиографических опытов писателя. История создания

---

[19] Здесь и далее в цитатах, где нет специальной оговорки, курсив принадлежит цитируемому автору.

повести «Елена» в этом отношении особенно показательна и поучительна.

Впрочем, это даже не повесть; когда Герцен убедится, что его широкие замыслы останутся неосуществленными, он сам будет скромно называть ее «отрывком». «Елена» принадлежит к группе тех ранних сочинений Герцена, о которых писатель говорил, что в них «все вымысел, но основа — истина» (I, 271). Автобиографичность отрывка не вызывает сомнений,— Герцен неоднократно подчеркивает ее в письмах, признается в ней в «Былом и думах». Но только с большой натяжкой за романтическими отношениями князя и Елены можно увидеть реальный вятский роман Герцена и П. П. Медведевой[20]. Вместо автобиографического рассказа получалась характерная для литературной продукции тридцатых годов светская романтическая повесть.

Первое упоминание о «Елене» (или «Там», как первоначально, в замысле, называлась повесть) встречается в сентябрьских письмах Герцена 1836 года. Видимо, сначала законченные главы повести удовлетворяли писателя. «Не знаю, что-то с новой повестью будет,— писал он 29 сентября Н. А. Захарьиной,— некоторые места хороши» (I, 331); а в письме к друзьям предлагал прислать для печати, среди других статей, ее первые четыре главы[21].

«Повесть растет в моей мысли,— пишет он Н. А. Захарьиной 18 октября.— Тут будет все: философия, поэзия, жизнь, мистицизм, и на каждой странице *ты*» (I, 344).

Нет никаких данных предполагать существование неизвестной нам более расширенной редакции повести. Вся грандиозная программа повести — «философия, поэзия, жизнь, мистицизм» — так и не нашла, по всей вероятности, своего воплощения. Весьма показательно быстрое охлаждение Герцена к повести: если в октябре она еще шла вперед[22], то уже через месяц, 11 ноября, Герцен сообщает: «Повесть остановилась» (I, 352); то же повторяет он в январе: «Повесть моя остановилась, но все еще не бросаю; хочется выразить мысли, заповедные в душе...» (I, 378).

Герцен чутко улавливает, что неудача повести происходит от надуманности светского сюжета, от «вымысла», в котором затерялась «основа — истина». Перечитывая начало «Елены» в феврале 1837 года, он находит «все это ужасно слабым, едва набросаны контуры: смело, но бедно, очень бедно»

---

[20] См. «Былое и думы», ч. III, гл. XXI «Разлука».

[21] См. письмо к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру, октябрь — ноябрь 1836 года (I, 338).

[22] См. письмо к Н. А. Захарьиной от 14 октября 1836 г. (I, 337).

(I, 388). И как иначе Герцен мог оценить такие, например, излияния князя: «Иногда, как путеводная звезда, как блестящий Геспер, который так вольно купается, играет в океане восточного света, являлась мысль о любви, но бурные тучи страстей закрывали ее...» (II, 53). «Повесть бросил,— решительно сообщает он 28 мая 1837 г.,— писать повести, кажется, не мое дело» (I, 427); а через месяц повторяет: «Дело решенное: повести — не мой род». И Герцен собирается рукописью «Елены» «заклеивать окны на зиму» (I, 436). О своем желании увидеть повесть напечатанной он, разумеется, скоро забыл.

Вера в свой беллетристический талант была подорвана в самом начале творческого пути. Попытки соединить автобиографические зарисовки с увлекательным сюжетным рассказом окончились неудачей. Уроки «Елены» останутся памятными Герцену на всю жизнь. Поэтому, быть может, спустя десятилетия он вспоминает ее чаще других своих произведений тех лет. В «Былом и думах» Герцен рассказывал о своей повести: «Я представил барича екатерининских времен, покинувшего женщину, любившую его, и женившегося на другой. Она чахнет и умирает. Весть о ее смерти тяжко падает на него, он сделался мрачен, задумчив и, наконец, сошел с ума. Его жена, идеал кротости и самоотвержения, испытав все, ведет его в одну из таких минут в *Девичий монастырь* и бросается с ним на колени перед могилой несчастной женщины, прося прощения и заступничества. Из окон монастыря достигают слова молитвы, тихие женские голоса поют об отпущении,— барич выздоравливает. Повесть вышла плоха» («БиД», 187). Еще более сурово и категорично отзовется Герцен о своей первой повести в предисловии к лондонскому изданию романа «Кто виноват?» (1859): «В первое время моего переезда из Вятки во Владимир[23] мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собой и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез. Разумеется, что я не сладил с своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы». Далее Герцен рассказывал, как один из его друзей[24] «впоследствии стращал» его, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи,— я напечатаю твою повесть, она — у меня!». «По счастью,— заканчивает Герцен,— он не исполнил своей угрозы» (IV, 195).

---

[23] Память изменила Герцену: повесть в основном содержании создавалась еще в Вятке.

[24] Очевидно, Н. Х. Кетчер, с помощью которого Герцен собирался поместить «Елену» в «Сыне отечества» (см. письмо к Н. А. Захарьиной от 5 февраля 1838 г.— II, 41).

Продолжением «Елены» была повесть «Его превосходительство», потом затерявшаяся, как и многие другие статьи, повести и наброски молодого Герцена. Сюжет «Его превосходительства», «самый отвратительный,— по словам Герцена,— возмущающий все чувства благородного человека» (II, 85), наглядно показывает переход писателя от романтической повести к темам и художественным приемам реалистической сатиры. «Муж мерзавец и жена ангел; муж под судом и дает жену во взятку губернатору. Жена в отчаянии, чахотка, смерть. Муж пьян, и в день похорон губ‹ернатор› получает владимирскую звезду, у него пир горой» (II, 88). «Гуляй, моя ирония, клейми людей»,— восклицает Герцен (II, 85).

Новая повесть означала определенный шаг вперед в литературном развитии Герцена. Из писем видно, что работа над ней шла одновременно с завершением отрывка «Елены», в феврале — марте 1838 года [25]. В середине марта повесть «Его превосходительство» была «готова совсем» (II, 121). «Бродит и третья часть»,— писал он к Н. А. Захарьиной 27 марта 1838 г. (II, 140).

Но юношеская трилогия не была завершена Герценом: другие творческие планы овладели писателем.

Автобиографическая направленность ранней повести Герцена привела его к чисто мемуарным жанрам. Очерк, записки, лирическое размышление сохраняют главенствующее значение в творчестве писателя на протяжении всего периода тридцатых годов.

Первой заметкой Герцена мемуарного характера, известной нам, был уже упомянутый отрывок о Воробьевых горах («Посвящено сестре Ольге» — I, 110—113) [26]. Долгое время отрывок считался утерянным; о существовании его заключали по фразе Герцена в одном из июльских писем 1833 года к Н. А. Захарьиной: «У меня есть статья о Воробьевых горах, я ее прочту вам...» (I, 116); видимо, о нем же несколько раньше говорил Огарев в письме к Герцену: «Когда будешь писать о Воробьевых горах, напиши, как в этом месте развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей» [27].

---

[25] «От скуки начал новую повесть,— писал Герцен 18 февраля 1838 г.,— написал довольно и, кажется, хорошо» (II, 85). Через день он сообщал Н. А. Захарьиной, что «повесть новая идет на лад» (II, 88); то же — в письме к Витбергу (от 24 февраля): «Сижу все еще безвыходно дома, пишу новую повесть и, кажется, удачно, заглавие: «Его превосходительство»» (II, 95).

[26] Рукопись отрывка хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (см. «Бюллетени рукописного отдела» Института, II, стр. 31, № 3).

[27] «Из переписки недавних деятелей». «Русская мысль», 1888, VII, стр. 6, письмо от 7 июня 1833 г.

В этом раннем наброске, художественном отзвуке знаменитой клятвы на Воробьевых горах, Герцен еще целиком под влиянием романтических образов, в частности, одного из наиболее любимых им тогда писателей — Шиллера. Волнующий эпизод революционной биографии Герцена и его друга описан в таких высоких, торжественных тонах, что теряется ощущение его реальности. Вот, например, тирада, которой оканчивался отрывок: «Люди, люди! Где вы побываете, все испорчено: и сердце ваше, и воздух, вас окружающий, и вода текущая, и земля, по которой ходите. Но небо, небо! Оно чисто, оно таково, как в первый день творения...» и т. д. (I, 113). Вместе с тем именно мемуарный характер отрывка позволял Герцену вносить в повествование, при всей его традиционно-романтической форме, яркие реалистические детали: «Смерклось. Трещат дрожки по скверной мостовой; мы в Москве» (I, 112); или: «Там священник идет с дарами продавать рай, не веря в Христа; там судья продает совесть и законы; там солдат продает свою кровь за палочные удары; там будочник, утесненный квартальным, притесняет мужика; там купец обманывает покупщика,— покупщика, который желал бы обмануть купца; там бледные толпы полуодетых выходят на минуту из сырых подвалов, куда их бросила бедность» (I, 112).

Свидетельствуя о первом пробуждении у юноши Герцена живого интереса к мемуарному творчеству, набросок открыл собой целую серию подобных заметок, коротких и отрывочных, порой черновых, порой же известных нам из вторых рук и потому с текстом сомнительной достоверности [28]. Не исключено, что впоследствии они использовались Герценом для его большой автобиографии тридцатых годов, условно называемой «О себе» (о ней — речь впереди). Во всяком случае они долгое время продолжали интересовать Герцена, что лучше всего доказывают судьбы его более крупных произведений, в первую очередь — «Встреч».

Ранняя редакция очерка «Первая встреча» относится еще к декабрю 1834 года, когда Герцен находился в Крутицких казармах. Очерк назывался тогда «Германский путешественник». В Вятке писатель вернулся к нему и 20 июня 1836 г., как видно из пометки на рукописи [29], заново переписал, значительно его переработав. В начале следующего, 1837 года очерк «с восторгом» читала Н. А. Захарьина: «Для меня

---

[28] Таков, например, отрывок об аресте и ссылке Герцена, приведенный в воспоминаниях Т. П. Пассек (указ. соч., т. II, стр. 33 и сл.); в издании М. Лемке см. т. I, стр. 180—186.

[29] Рукопись очерка хранится в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина (см. «Описание рукописей А. И. Герцена», стр. 17, № 48).

прелестно,— писала она,— тут все знакомое, родное, твое все»[30]. Нравился этот очерк и Герцену. Долго он считал его лучшей из написанных им статей. «Я люблю его,— писал он в январе 1838 года.— В нем выразился первый взгляд опыта и несчастный взгляд, обращенный на наш век; эта статья, как заметил Сазонов (которому она, кстати сказать, была посвящена.— *В. П.*), невольно заставляет мечтать о будущем... Эта статья имеет большую важность, как начальный признак перелома» (II, 36).

Рассказу самого «путешественника» Герцен предпослал небольшое вступление. В гостиной «говорили о французской литературе, метали наружу все, что есть в голове». Постепенно в разговор втягивается «путешественник», рассказывающий о своей встрече с Гете. Характер рассказа и оценка личности великого писателя обрисованы уже в эпиграфе к очерку словами самого Гете: «Я не могу судить о том, что хорошего или что дурного принесла французская революция; я знаю только, что из-за нее я сносил за эту зиму несколько лишних пар чулок» (I, 286). Творец «Фауста», как называет Гете рассказчик, разочаровал его при встрече. Откровенно безразличный к бурной общественной жизни эпохи великой революции, Гете «пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографией человечества...» (I, 297). С большой силой Герцен подчеркивает в очерке необходимость активного участия писателя в освободительной борьбе. «Великий человек живет общею жизнью человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных...» (I, 295). Это была своего рода программа деятельности самого Герцена, ценившего в своем очерке прежде всего «мысль чисто политическую» (II, 37).

Опубликовать «Первую встречу» Герцену, несмотря на его попытки, не удалось, но, работая над «Записками одного молодого человека», он вспомнил о ней и широко использовал в эпизоде с Трензинским. Другой очерк Герцена — «Вторая встреча» (или «Человек в венгерке», март 1836 г.) — тесно связан со страницами не только «Записок одного молодого человека», но и «Былого и дум», где пермская встреча Герцена с польским ссыльным Цехановичем описана в главе XIII второй части. Романтический образ «человека в венгерке», в глазах которого «было что-то от пламени молний» (I, 231), его страстная, патетическая исповедь, полная литературных сравнений, но мало говорящая о взглядах и убеждениях незнакомца по существу,— сменились в мемуарах строгим, вы-

[30] «Сочинения А. И. Герцена», т. VII. СПб., 1905, стр. 214.

разительным портретом самоотверженного борца за свободу Польши. Интересная деталь: в «Былом и думах» Герцен пишет, что Цеханович «был сутуловат, даже кривобок» («БиД», 122), в очерке такие подробности были опущены. Встречаются прямые расхождения в описании встречи; при этом следует указать, что в отношении фактической достоверности очерк гораздо точнее: мемуары Герцен писал в пятидесятых годах, полагаясь только на память (рукописи «Второй встречи», как и других литературных опытов тридцатых годов, у него тогда уже не было) и заполняя художественным домыслом ее пробелы. Тем не менее образ Цехановича в «Былом и думах» несравнимо жизненнее и убедительнее. Романтическая восторженность молодого Герцена не только обусловила специфический отбор реальных подробностей встречи для рассказа, но подчинила себе даже те обстоятельства эпизода, которые соответствовали действительности. Однако романтичность в описании встречи с Цехановичем составляла лишь одну сторону раннего очерка Герцена. Во «Второй встрече» сильнее, чем где-либо, сказались реалистические черты его крепнущего литературного таланта. Недаром Герцен в «Записках одного молодого человека» обильно использовал из очерка описание «большого обеда» у одного богача. Эти страницы «Второй встречи», полные иронии и сарказма, он называл «уликой пошлой жизни» (II, 22). В зародыше в них виден бытовой фон будущего «Кто виноват?»: «Попарно и с каким-то благоговением шли в столовую, где дожидался стол длинный, узкий, изогнутый глаголем. Поскорее подал я руку какой-то барышне, которой никто не дает руки ни к венцу, ни к обеду, и замкнул процессию. Толпа лакеев в сюртуках, с часами на бисерных шнурках, в пестрых галстуках, суетилась под предводительством дворецкого, который своею дебелостью доказывал, что ему идет на пользу дозволение есть с барского стола остатки. Толпа мальчишек, все в разных костюмах, но не все в сапогах, мешала им и дралась из-за чести, кому за кем стоять, не имея понятия, что местничество уничтожено» — и т. д. (I, 232).

В дальнейшем сатирическое дарование Герцена развернется в полной мере — в повестях сороковых годов, «Былом и думах», на страницах «Колокола», но впервые отчетливо сказалось оно именно во «Второй встрече»[31].

Летом 1836 года Герцен писал «Третью встречу» (или «Мысль и откровение»), текст которой до нас не дошел. По-видимому, она не была завершена: «Я думала,— писала

[31] Список «Второй встречи» с поправками Герцена также хранится в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина (см. «Описание рукописей А. И. Герцена», стр. 16, № 39).

Н. А. Захарьина 6 мая 1837 г.,— что ты мне привезешь оконченное «Мысль и откровение», а ты не хочешь даже продолжать». В том же письме содержится прямое указание на автобиографический характер «Третьей встречи». «Разве мешает что тебе,— спрашивает Н. А.,— написать из жизни своей то, что еще свежо?»[32]. Сам Герцен находил хорошей первую часть очерка, больше потому, «что тут,— как писал он Н. А. Захарьиной,— нет повести, а просто пламенное изложение» теории (I, 388),— признание, крайне характерное для писателя.

Неизвестным остался для нас также текст двух других статей Герцена той поры — «I maestri» и «Симпатия»[33], но многочисленные упоминания о них в переписке позволяют с уверенностью причислить их к тому же циклу ранних мемуарных очерков. «Я обдумываю новую статейку «I maestri»,— воспоминание из моей жизни»,— писал Герцен 28 мая 1837 г. (I, 427). Меньше чем через месяц статья была окончена (см. I, 433). Герцен остался довольным ею, считая, что она «несравненно выше всего, писанного» им раньше, называл ее «живым воспоминанием, горячим куском сердца», «первым опытом прямо рассказывать» эпизоды из своей жизни (I, 438, 436).

Перечитывая позднее свои статьи, Герцен находил «все мелким», кроме «I maestri» «и некоторых мест» (II, 10). Очерк рассказывал о трех встречах Герцена с «учителями» — поэтом И. И. Дмитриевым, А. Л. Витбергом и с Жуковским — в те дни, когда последний, сопровождая наследника в путешествии по России, проезжал через Вятку[34]. В конце очерка в образе «Калибан-гиены» был выведен губернатор, знаменитый Тюфяев; поэтому можно предположить, что очерк в какой-то мере продолжал сатирические зарисовки вятских впечатлений писателя.

Очерк «Симпатия» рассказывал о близкой приятельнице Герцена в Вятке, Паулине Тромпетер. С большой теплотой и сочувствием Герцен вспомнит Паулину в «Былом и думах»[35]. Она была посвящена в тайну его отношений с Н. А. Захарьиной, последняя заочно, по письмам Герцена, знала и любила

---

[32] «Сочинения А. И. Герцена», т. VII, стр. 283.

[33] Отрывок рукописи «Симпатии» хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (см. «Бюллетени рукописного отдела» Института, II, стр. 32, № 8), опубликован в издании М. Лемке (XXII, 149—150).

[34] См. «Былое и думы», ч. II, гл. XVII. Жуковский вскоре познакомился со статьей на одном из вечеров у Е. Г. Левашовой, она понравилась ему; имеются свидетельства, что на потерянной рукописи было немало отметок его карандаша (см. II, 18, 33 и др.).

[35] См. «Былое и думы», ч. III, гл. XXI.

ее; расспросы Н. А. о его вятской «симпатии» летом 1837 года навели Герцена на мысль о целом очерке или «этюде», как называл его писатель. Можно думать, что здесь сказалось также впечатление от недавней неудачи с «Еленой». В начале июля повесть снова — и попрежнему безуспешно — «бродила в голове» (I, 439), а 27 июля Герцен писал Н. А.: «Я уж говорил как-то, что нет статей, более исполненных жизни и которые было бы приятнее писать, как воспоминания. Облекая эти воспоминания во что угодно, в повесть или другую форму, всегда они для самого себя имеют особый запах, приятный для души... Повесть — лучшая форма, но это не мой род; доселе повести плохо выходят у меня; но рассказ, простой рассказ — это дело мое, я легко переношу свой пламенный язык на бумагу. Итак, я намерен рассказать мое знакомство с Полиною...» (I, 448—449). «Простой рассказ», непосредственность воспоминания в «Симпатии» Герцен противопоставляет своим повестям. В «Симпатии» он отказался от беллетризации личных переживаний, статья носила настолько интимный характер, что Н. А. Захарьина видела в ней «несколько писем» к одной себе: «Для *других* это галиматья, они не поймут ни строчки»[36]. Герцен также не рассчитывал на «других» читателей и, закончив статью в первых числах января 1838 года, тотчас отослал ее к Захарьиной.

Далее не случайно поэтому, что именно в работе над «Симпатией» у Герцена окончательно вызревает план давно задуманной большой автобиографии.

Новая повесть, зерно будущих прославленных мемуаров, должна была завершить круг ранних автобиографических опытов Герцена, быть может, даже включить их в себя[37]. Мы не располагаем текстом автобиографии; тем не менее, проследив работу писателя над ней, можно придти к определенным выводам о характере, составе и значении затерянной рукописи, что позволит, в частности, внести достаточную ясность во многие спорные вопросы, связанные с историей создания и каноническим текстом «Записок одного молодого человека».

Основная, более или менее окончательная редакция автобиографии создавалась в январе — марте 1838 года, вскоре после приезда Герцена во Владимир. Писатель по-разному называет ее: «Юность и мечты», «Моя жизнь», «Юность», чаще всего — «О себе».

---

[36] «Сочинения А. И. Герцена», т. VII, стр. 452, письмо от 5 февраля 1838 г.

[37] «Я вижу, что ежели буду продолжать, то почти все статьи взойдут в эту общую статью»,— писал Герцен 20 октября 1837 г. (I, 485—486).

Первые отдаленные намеки на будущую автобиографию мы встретим в переписке Герцена еще весной 1836 года[38]. Они предшествовали и «Елене», и последней редакции «Первой встречи», и «I maestri». В большом письме к Н. А. Захарьиной, написанном в конце июня 1836 года, Герцен уже излагает общий план повести. Правда, план этот носил весьма беглый характер, но он настолько устоялся в сознании писателя, что спустя два года мог бы служить программой законченной повести. Больше того, в письме мы найдем заголовки всех глав последней редакции автобиографии — «Записок одного молодого человека»: «Ребячество», «Юность» (в письме — «Эпоха юности»), «Годы странствования». Постоянно отвлекаемый новыми начинаниями, Герцен только через полтора года приступит непосредственно к повести. «Записки одного молодого человека» начали печататься в самом конце 1840 года, а мысль уже тогда, в 1836 году, отчетливо представляла себе этапы и важнейшие события прожитых лет. «Я писал тебе когда-то,— обращается Герцен к Н. А.,— что намерен составить брошюрку под заглавием «Встречи»; теперь план этого сочинения расширился... Теперь, когда все еще это живо, я и должен писать, и потому уже должен писать, что юность моя прошла, окончилась 1-я часть моей жизни. И как резки эти отделы! От 1812 до 1825 ребячество, бессознательное состояние, зародыши человека; но тут вместе с моею жизнью сопрягается и пожар Москвы, где я валялся 6 месяцев на улицах, и стан Иловайского, где я сосал молоко под выстрелами. Перед 1825 годом начинается вторая эпоха; важнейшее происшествие ее — встреча с Огаревым. Боже, как мы были тогда чисты, поэты, мечтатели! Эта эпоха юности своим девизом будет иметь *дружбу*. Июль месяц 1834 окончил *учебные* годы жизни и начал *годы странствования*. Здесь начало мрачное...» (I, 302—303).

Время шло; попрежнему, вместо повести, разрозненные наброски и статьи следовали друг за другом. Но они не оттесняли в замыслах Герцена плана задуманной автобиографии, наоборот, служили ему, писались с мыслью о будущей повести; Герцен сам видел в них лишь пробу пера, предварительные эскизы, подступы к большому труду. Осенью следующего года он сообщает Н. А. Захарьиной о первых страницах «О себе». Верный своему первоначальному замыслу, Герцен посвящает их эпохе «ребячества», датируемой, как и раньше, 1812—1825 годами. «Я описал отдельными чертами все мое ребячество от 1812 до 1825,— пишет Герцен.— Боже мой, как эти алые пестрые воспоминания заняли меня. Первое

[38] См. письмо к Н. А. Захарьиной от 27 апреля 1836 г. (I, 271).

воспоминание похоже на первый взгляд в даль: видишь одни крупные массы, но смотри дальше,— и мало-помалу начнут оттеняться подробности. Так и с моими воспоминаниями: одни теснятся за другими. Когда отделаю первую часть под заглавием «Дитя», то пришлю к тебе». Герцен ограничивает дальше свои воспоминания пределами 1835 года: «я дал себе слово не писать никак дольше 1835 года,— это время и следующие 3 года только буду писать, когда увижу тебя...» (I, 485—486). Он намеревался закончить повесть на последней встрече с Н. А. Захарьиной, перед ссылкой и долгой разлукой, 9 апреля 1835 г., в этот «величайший день» его жизни, по признанию самого писателя (I, 346) [39]. «Эпоха любви» (I, 303), самая интимная страница жизни, оставалась вне рассказа.

Таким образом, к концу 1837 года были точно установлены хронологические рамки автобиографии, написана первая глава — «Дитя» [40]. Закончив в январе 1838 года «Симпатию» — последний из разрозненных мемуарных очерков тридцатых годов, Герцен, наконец, целиком отдается своей автобиографической повести.

Она увлекла его; из писем исчезают постоянные упреки себе за несовершенства своих литературных трудов. Работа двигалась быстро, не знала разочарований. Герцен нашел в ней себя: не нужно было прибегать к надуманной, но «модной» сюжетности, наделять чужие, незнакомые образы своими заветными переживаниями и думами. Он сам выходил на страницы новой повести, за ним следовали его друзья, снова он радовался и страдал с ними, воспоминания согревали одинокие часы отраженным, но ярким светом лучших дней жизни, дружбы, любви, заставляли «в грустные минуты улыбаться» (II, 27). В Герцене говорил будущий автор «Былого и дум». Главы сменяли одна другую. В письме от 13 января 1838 г. повесть («Моя жизнь») только упоминается (см. II, 21), а на следующий день Герцен записывает подробный план начатой автобиографии. «Со временем,— пишет он,— это будет целая книга. Вот план. Две части: 1-я до 20 июля 1834. Тут я дитя, юноша, студент, друг Огарева, мечты о славе, вакханалии, и все это оканчивается картиной грустной, но гармонической,— нашей прогулкой на кладбище (она уж написана). *Вторая* начнется моей фантазией «22 октября». Вообще порядка нет: отдельные статьи, письма...— все входит; за этим

---

[39] Ср. в «Былом и думах»: «одно из счастливейших мгновений моей жизни» («БиД», 116).

[40] Герцен называет ее «частью», но вряд ли из этого следует предполагать большие размеры написанного отрывка.

«Встреча», «I maestri» и «Симпатия»; далее, что напишется. В прибавлении к 1-му тому «Германский путешественник»,— эта статья проникнута глубоким чувством грусти, она гармонирует с 20 июля... Пожалуй, тут можно включить и мои «Письма к товарищам»: «Пермь, Вятка и Владимир»... Осмелюсь ли я писать 9 апреля? Боюсь» (II, 22).

Интересно композиционное построение задуманной книги. Если первой ее частью была повесть «О себе», то вторая включала почти все литературные опыты Герцена тридцатых годов, даже его письма. Невольно напрашивается параллель с «Былым и думами»: как известно, письма заняли целые страницы мемуаров Герцена, а третий том лондонского издания «Былого и дум» (1862) как раз составился из отдельных статей и очерков прежних лет, не связанных с основным повествованием. Правда, статьи тридцатых годов не вошли в него — том открывали «Записки одного молодого человека»; тем, чем для «Записок...» были ранние опыты Герцена, для автора «Былого и дум» стали сами «Записки...».

Из приведенного письма можно заключить, что у Герцена к тому времени уже имелся набросок о «прогулке на кладбище» с Н. А. накануне ареста, т. е. о знаменитом 20 июля. Следующие дни января 1838 года были полны особенно интенсивной работы; к 19 января было закончено по крайней мере шесть глав повести: «Тебе понравится предисловие и VI глава под заглавием «Пропилеи»»,— писал тогда Герцен (II, 27). Именно на этой стадии работы Н. А. впервые познакомилась с повестью, когда в марте, через Кетчера, рукопись очутилась у нее в руках. «Хорошо, Александр, хорошо все; лучшее для меня — «Дитя», «Огарев» и «Деревня»; где больше тебя, тут и лучше»,— делилась она впечатлениями [41]. Однако тетрадь эта не могла содержать больше первых шести глав, поскольку следующая глава, о студенческих годах, вызвала наибольшие затруднения и писалась позже других. Герцен несколько раз брался за нее — и в феврале, среди работы над повестью «Его превосходительство», и в марте; окончить ее ему так и не удалось. Во всяком случае после мартовского свидания с Н. А. он писал уже VIII главу; «написал очень хорошо,— сообщал Герцен 14 марта,— и уж, конечно, не догадаешься о чем — *о любви к Люд‹миле› П‹ассек›* [42]. Тут и ты на сцене (трудно было и очень холодно писать о холодных

[41] «Сочинения А. И. Герцена», т. VII, стр. 516, письмо от 15 марта 1838 г.

[42] Как увидим, Герцен назовет главу «Ландыш». Интересно, что в «Былом и думах», рассказывая о своей любви к «Гаэтане», т. е. Л. В. Пассек, он также сравнивает ее с «ландышем» («Когда же ландыши зимуют?» — «БиД», 176).

отношениях к тебе, но написал)... Вообще биография идет прекрасно,— продолжает Герцен.— Далее описана самая черная эпоха от 9 июля 1834 [43] до 20-го, но halte là! [44]. Как дойдет дело представлять тебя тобою, ибо ты уж очень близка была мне 20 июля,— перо дрожит, душа волнуется, и ангел ускользает от кисти земного богомаза. Однако напишу, я уж пробовал» (II, 124).

Воспоминания о «самой черной эпохе» — 9—20 июля 1834 г. и Крутицких казармах — вошли в IX главу повести. Герцен не ограничился тем наброском, о котором упоминал в письме 14 января, и заново описал «кладбищенскую прогулку». 16 марта он сообщает: «Наконец, я написал 20 июля, ты похожа. Привезу сам эти тетрадки» (II, 126). Что рассказ не закончился на 20 июля, говорит запись следующего дня: «Писавши воспоминания о Кр<утицах> и 1834, я сегодня перечитал мои письма из Кр<утиц>» (II, 128). Письмо от 21 марта устанавливает названия последних глав повести: «Итак, «Моя жизнь» у тебя... Теперь еще написаны VIII глава «Ландыш», IX глава «Ананке»... начал, было, VII «Студент», но вяло. А теми доволен» (II, 132). Последние страницы повести, как и рисовалось это Герцену много раньше, были посвящены встрече с Н. А. Захарьиной 9 апреля 1835 г. «Поэма моя «О себе» оканчивается,— писал Герцен 30 марта 1838 г.— Дальше 9 апреля она не должна идти. Да, это — поэма юности, и она хороша: юноша ее не прочтет хладнокровно; жаль, что *по многому* не везде все сказано. В IX главе описаны студентская оргия и прогулка...» (II, 143).

Последняя фраза Герцена нарушает хронологическую последовательность повести. Описание «студентской оргии» весьма неожиданно среди мрачного рассказа о последних днях жизни на свободе, аресте, Крутицах. Нет сомнения, что это не больше как описка Герцена, и он подразумевает VII главу, посвященную как раз студенческим годам (она и называлась — «Студент»). Описка легко объясняется, если учесть, что VII глава писалась последней и даже, повидимому, не была закончена. Герцен писал 1 апреля 1838 г.: «Ну, вот и переписана тетрадь «О себе», и кончена почти, недостает двух отделений: «Университет» и «Молодежь». Но этих я не могу теперь писать, для этого мне надо быть очень спокойну и веселу, чтоб игривое воспоминание беззаботных лет всплыло; эту напишу тогда. Крутицы, сентенция и 9 апреля — все есть, много сильных мест, вдохновенных, однако и шалости не забыты...» (II, 147).

---

[43] День ареста Огарева.
[44] Остановись тут!

Итак, насколько позволяет судить переписка Герцена тридцатых годов, затерянная автобиография писателя охватывала период его жизни до первой ссылки и состояла из следующих глав: предисловие — написано в январе 1838 года или несколько раньше; глава I — «Дитя» (1812—1825) — написана осенью 1837 года; главы II—V — «Огарев», «Деревня» (названия двух других глав установить не удалось) — и глава VI — «Пропилеи» — написаны в январе 1838 года. Эти шесть глав составили первую тетрадь повести, доставленную Кетчером в марте 1838 года Н. А. Захарьиной.

Глава VII — «Студент» — начата в январе 1838 года, осталась незаконченной, хотя Герцен работал над ней до последних дней марта; глава VIII — «Ландыш» (о Л. В. Пассек) — написана в марте 1838 года; глава IX — «Ананке» — первый набросок к главе («20 июля») относится к январю 1838 года; полностью глава написана в марте. Главы VII—IX составили вторую тетрадь повести, переписанную к 1 апреля 1838 г.

Среди «белых пятен», которыми так богато для нас раннее творчество Герцена, утрата рукописи его автобиографии особенно досадна. Выяснение содержания и состава глав автобиографической повести «О себе», нам кажется, проливает свет на некоторые спорные вопросы герценовской текстологии тридцатых годов. Речь идет об отношении затерянной рукописи к напечатанным в 1840—1841 годах «Запискам одного молодого человека». Прямолинейное и категорическое утверждение идентичности автобиографии и «Записок...» нам представляется неверным и нуждающимся в пересмотре.

Утверждая, что рукопись 1838 года и печатные «Записки...» являются одним и тем же произведением, исследователи обычно ссылаются на известное предисловие Герцена к «Былому и думам» в лондонском издании мемуаров. «Записки эти (т. е. «Былое и думы».— *В. П.*) — не первый опыт,— писал Герцен.— Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир, я ужасно скучал... разлука мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту *вечность* — каких-нибудь *четырех* месяцев... Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны... потом прошедшее потонуло в свете настоящего. В 1840 г. Белинский прочел их; они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью); остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки»

(«БиД», 3)[45]. В предисловии к третьему тому лондонского издания «Былого и дум» (1862) Герцен, вспоминая об этой второй, исчезнувшей тетради, пишет, что в ней был университетский курс и что тетрадь оканчивалась «соборной поездкой... в Архангельское князя Юсупова, описанием обеда и пира возле оранжереи, который продолжался еще дня два возле Пресненских прудов» («БиД», 841).

Бесспорно, что, говоря о своих воспоминаниях в первые месяцы владимирской жизни, Герцен подразумевает под «тетрадями» не что иное как рукопись «О себе». В частности, слова Герцена о «соборной поездке» в Архангельское имеют в виду одну из глав его автобиографии — «Студент», в которой, как мы видели, были описаны «студентская оргия и прогулка» (отрывок из этой главы был приведен в XXV главе — «Последний праздник дружбы» — воспоминаний Т. П. Пассек[46]). Глава VII — «Студент», действительно, входила в о в т о р у ю половину рукописи; правда, она начинала, а не заканчивала ее, но весьма возможно, что, переписывая автобиографию, Герцен затянувшуюся и незаконченную главу отнес к концу тетради. Однако из слов Герцена вовсе не вытекает, что «Записки одного молодого человека» дословно повторяли содержание тетрадей. Прежде всего остается неясным, что включала в себя и когда была написана т р е т ь я тетрадь владимирских воспоминаний. Никаких упоминаний о ней в связи с повестью «О себе» в переписке Герцена того времени нет. Но если первая часть «Записок...» («Ребячество» и «Юность») восходила к первой тетради «О себе», то, соответственно, «Годы странствования» («Еще из записок...») имели тогда в своей основе третью тетрадь владимирской автобиографии. Это как будто подтверждается и словами Герцена в «Письмах к будущему другу» (1864) о том, что «переведенный из Вятки во Владимир», он «принялся описывать под именем Малинова вятское житье-бытье» (XVII, 98). Все дело в том, однако, что «под именем Малинова» Вятка не могла появиться в герценовских записках раньше повести В. Даля «Бедовик», в которой мистифицированное географическое понятие «губернского города Малинова» впервые упоминалось на страницах

---

[45] В предполагавшемся введении к «Былому и думам», «Братьям на Руси» (2 ноября 1852 г.), Герцен определенно писал, что ненапечатанная тетрадь погибла: «я сам долею сжег рукопись перед второй ссылкой, боясь, что она попадет в руки полиции и компрометирует моих друзей» (VII, 155—156).

[46] См. Т. П. П а с с е к. Указ. соч., т. I, стр. 417 сл. Отрывок включен М. Лемке в «Полн. собр. соч. и писем» Герцена как IX глава «О себе» (согласно описке в письме Герцена) — см. т. II, стр. 163 сл. См. также: Е. С. Н е к р а с о в а. Юношеские литературные труды Герцена. «Северный вестник», 1895, IX, стр. 89—121.

русской литературы. Повесть же Даля была напечатана только в 1839 году, в третьем томе «Отечественных записок» (цензурное разрешение — 14 апреля 1839 г.). Это вносит существенную поправку в позднейшие свидетельства Герцена. Сатирические зарисовки «патриархальных нравов города Малинова» оказываются более позднего происхождения, чем рукопись 1838 года. Я. Эльсберг справедливо относит «малиновские» главы «Записок...» к результатам литературной работы Герцена в 1840—1841 годах[47]. На наш взгляд, нет никаких оснований полагать, что в первые главы «Записок...» тетради «О себе», напротив, были перенесены в неизменном — или только сокращенном — виде.

Повесть «О себе» не предназначалась для печати; еще в июне 1837 года Герцен писал, что «отдать людям на поругание такие святые страницы из жизни больно», и задуманную «маленькую книжку» статей под заглавием «Юность» собирался издавать много позднее, после «какого-нибудь важного труда» (I, 436) [48]. В большей степени, чем к ранним статьям, это могло относиться к чисто автобиографической повести. По понятным причинам Герцен не мог писать все, что хотел бы; «жаль, что *по многому* не везде все сказано»,— жаловался он, как мы видели, заканчивая повесть (II, 143), но откровенно интимный характер большинства страниц все же исключал возможность их опубликования. Достаточно простого сопоставления «Записок...» с приведенным выше содержанием первых тетрадей «О себе», чтобы убедиться, какая большая работа была проделана Герценом при издании своей рукописи.

Первые главы «Записок одного молодого человека», как и глава о «малиновских» нравах, явились, следовательно, второй, позднейшей редакцией автобиографической повести 1837—1838 годов, редакцией печатной, значительно сокращенной, местами дополненной и измененной. Новая редакция, т. е. собственно «Записки...», создавалась, по всей вероятности, после ознакомления Белинского с владимирской рукописью (в 1840 г.) и по его указаниям. По свидетельству Герцена, Белинский показывал рукопись цензору до посылки в цензуру, и все «сомнительные» места были заблаговременно удалены (см. II, 402). Очевидно, это совпало с окончательным редактированием текста.

---

[47] См. А. И. Герцен. Повести и рассказы. «Академия», 1934, стр. 488. Ошибочное утверждение, что «Записки...» закончены Герценом во Владимире, было недавно повторено М. Косаткиным в статье «Герцен во Владимире» — см. литературно-художественный альманах «Владимир», кн. 1, 1951, стр. 170.

[48] Любопытно, что Герцен предполагал посвятить этот сборник Н. А. Захарьиной и Огареву.

«Записки одного молодого человека» были опубликованы в «Отечественных записках» в 1840 (кн. XII) и 1841 (кн. VIII) годах. Герцену было жаль выброшенных в журнале страниц: «Говоря откровенно,— писал он,— я не думаю, чтоб это были худшие места» (II, 402). Значительные изменения в новой редакции текста имела в виду Н. А. Герцен, когда писала (26 ноября 1840 г.): «В Отеч<ественных> Записках» скоро будет статья... отрывок из «О себе»; мне страшно жаль, что в печати она потеряет много» [49].

Рассматривая автобиографическую повесть и «Записки одного молодого человека» как **две различные редакции одного произведения**, легко решить вопрос о месте сохранившегося отрывка из повести «О себе» — так называемого «Последнего праздника дружбы» — в изданиях наследия Герцена. Произвольное включение отрывка в основной текст «Записок...», неоднократно встречавшееся в последних изданиях сочинений Герцена [50], следует признать совершенно неоправданным. Отрывок, как это видно из нашего изложения, должен либо печататься совершенно самостоятельно, либо служить приложением к «Запискам одного молодого человека» как глава из ранней редакции «Записок...».

«Записки одного молодого человека» и особенно их «малиновские» страницы явили собой значительное достижение художественной мысли Герцена. Белинский, который, по его признанию, «давно уже... не читал ничего, что бы так восхитило» его [51], писал в обзоре русской литературы за 1841 год, что «Записки...» заинтересовали «общее внимание», называл их «полными ума, чувства, оригинальности и остроумия» [52]. В «Записках...» ярко сказалось освобождение писателя от влияний абстрактно-романтического стиля. Зачатки реалистического изображения действительности во «Второй встрече» или «Его превосходительстве» здесь впервые определили характер и стиль произведения.

Первые главы «Записок...» рисовали, насколько это позволяли цензурные условия, широкий круг духовных интересов молодого Герцена — ранние впечатления жизни, встречи с людьми, глубокое воздействие прочитанных книг. Из «романтической страстности» и торжественности, переходящей порой

---

[49] См. А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. II, стр. 493.

[50] См., например: А. И. Герцен. Повести и рассказы, «Академия», 1934, и 2-е испр. изд., 1936; А. И. Герцен. Худож. произв. Л., 1937; А. И. Герцен. Избр. произв. М., 1949; А. И. Герцен. Повести и рассказы. Псков, 1949, и др.

[51] В. Г. Белинский. Письма, т. II, СПб., 1914, стр. 258, письмо к Н. Х. Кетчеру от 3 августа 1841 г.

[52] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. II. Гослитиздат, М., 1948, стр. 187.

в высокопарную риторичность, из «хронической восторженности», которую потом будет высмеивать сам Герцен, на наших глазах возникает, прорывается трезвое, остро критическое восприятие жизни в ее конкретной повседневности. Затем писатель переносит своего героя на «берег реки Оки». «А на том берегу ничего для меня: ни желания ступить на него, ни воли не ступать» (II, 439—440),— прозрачно намекает Герцен на ссыльное положение «молодого человека». Характер повествования постепенно меняется. Сатирическая мысль писателя беспощадно разоблачает убогое, пошлое существование Малинова, малиновцев, всей российской провинции. Когда патриархальный Малинов много лет спустя воскреснет в крутогорских нравах и типах «Губернских очерков», станет очевидным воздействие ранней повести Герцена на обличительный пафос сатиры другого вятского ссыльного — Салтыкова-Щедрина.

Весьма показательно, что тепло встреченные Белинским «Записки одного молодого человека» даже в первых своих главах вызвали осуждение со стороны либерала Боткина. «О «Записках одного молодого человека»,— писал в связи с этим Боткину Белинский в январе 1841 года,— не хочу с тобою спорить, ибо не вижу никакой возможности ни согласиться с тобою, ни тебя согласить со мною» [53].

Картины пошлой жизни провинциальной чиновничье-помещичьей среды, открывавшиеся перед «молодым человеком», выступали в повести Герцена суровым разоблачением всего «малиновского» строя самодержавно-крепостнической России. «Бедная, жалкая жизнь! не могу с нею свыкнуться... нет ни одной щелки, куда бы прорезался луч восходящего солнца, в которую бы подул свежий, утренний ветер... Человечество может ходить взад и вперед, Лиссабон — проваливаться, государства — возникать, поэмы Гете и картины Брюллова — являться и исчезать,— малиновцы этого не заметят» (II, 446, 447, 448) [54].

Впоследствии, в «Письмах к будущему другу», Герцен вспоминал, как создавались «Записки...»: «Сначала я писал весело, потом мне сделалось тяжело от собственного смеха, я задыхался от поднятой пыли и искал человеческого прими-

[53] В. Г. Белинский. Письма, т. II, стр. 207.

[54] Отзвуки этой характеристики малиновского быта, нам кажется, различимы в словах Добролюбова об «идиллии «темного царства»» из статьи «Луч света в темном царстве»: «Их жизнь течет так ровно и мирно, никакие интересы мира их не тревожат, потому что не доходят до них; царства могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли может изменяться, как ему угодно, мир может начать новую жизнь на новых началах, обитатели города Калинова будут себе существовать попрежнему в полнейшем неведении об остальном мире» и т. д. (Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. II, М., 1935, стр. 335).

рения с этим омутом пустоты, нечистоты, искал выхода хоть в отчаянии, но только в разумном, сознательном...». «Ничего не найдя», признается Герцен, он «наклепал на Малинов Трензинского...» (XVII, 98).

Образ помещика Трензинского, ранний вариант скептика в творчестве Герцена, несомненно, удался ему. Герцен сам высоко ценил его: записывая в дневнике (август 1842 г.), что ему «трудно писать повести», он спешит оговориться: «сцены (как Трензинский в «Отеч⟨ественных⟩ Зап⟨исках⟩») выйдут хороши, но целое, но все не имеет выдержанности» (III, 36). Спустя почти четверть века, в мае 1864 года, в письме к дочерям, он снова вспоминает о Трензинском, подчеркивая типичность этого образа (см. XVII, 169).

В Трензинском преобладает «скептицизм неудачника», «скептицизм жизни, убитой обстоятельствами, беспредельно грустный взгляд на вещи» человека, полного силы (II, 466—467). Герцен не выполнил своего намерения «рассказать со временем всю жизнь его» (II, 467), и история Трензинского смутно рисуется читателю. Мы знаем ее конец — одиночество большого, умного человека, уединившегося от общества, «от всего человеческого», ревностно занимающегося хозяйством и находящего в этом утешение от незаслуженных ран и оскорблений. Трензинский бессилен перед жизнью, его скептицизм бесплоден. Он откровенно презирает малиновцев, из всех жителей города только один доктор бывает у него, единственный «человек образованный и с душою, на 300 верст кругом» (II, 455). Но отрицание Трензинского пассивно. Герцен пишет, что «рядом бедствий» этот человек «дошел до неуважения лучших упований своей жизни» (II, 467), вместо борьбы он просто отказался от них. Крайне важно, что, вложив в уста Трензинского рассказ «германского путешественника» о встрече с Гете, Герцен опустил его призыв к активной общественной деятельности: такой вывод противоречил бы всему облику Трензинского. В прошлом он мог осуждать Гете, но теперь другим путем, по-своему, сам примирился с жизнью. Так в эпизоде с Трензинским Герцен начинал проходящую через весь его творческий путь полемику со своим героем-скептиком.

Спустя более чем десятилетие, приступая к работе над «Былым и думами», Герцен перечитал «Записки одного молодого человека», которые случайно обнаружил, просматривая в Британском музее в Лондоне русские журналы. «Чувство, возбужденное ими, было странно,— писал он в предисловии к отдельному изданию «Былого и дум» (1861),— я так ощутительно увидел, насколько я состарелся в эти пятнадцать лет, что на первое время это потрясло меня... Тон «Записок одного молодого человека» до того был розен, что я не мог

ничего взять из них; они принадлежат молодому времени, они должны остаться сами по себе» («БиД», 4). В третьем томе «Былого и дум» Герцен полностью перепечатал «Записки...» как важное дополнение к своим знаменитым мемуарам.

В 1870 году «Записки одного молодого человека» были напечатаны в вышедшем в Москве анонимном сборнике произведений Герцена «Раздумье. (Разные вариации на старые темы)». В большой статье «По поводу одной книги» (1870), посвященной этому сборнику, выдающийся революционный публицист, соратник Чернышевского и Михайлова Н. В. Шелгунов высоко оценил повесть молодого Герцена, подчеркнув в ней те стороны воспитания Герцена, которые способствовали формированию его свободолюбивых, революционных настроений. «Какая бессистемность, какое воспитание!— писал в заключение Шелгунов.— Но не этот ли медовый месяц юношества спас будущего человека?» [55].

В обличении «малиновского» строя гневным и страстным пером художника-реалиста нельзя не видеть будущего Герцена — эмигранта и революционера-демократа, Герцена «Полярной звезды», «Колокола» и «Былого и дум».

Дебют Герцена-художника в печати ознаменовался первыми столкновениями писателя с цензурой, мобилизованной николаевским режимом на борьбу с передовой русской литературой. «*Красный* призрак цензурных чернил» (V, 109), быть может, именно с тех пор постоянно был перед его глазами. Лучшие страницы «Записок...», наиболее показательные для развития революционного и гражданского самосознания Герцена, были принесены в жертву этой «черной quasi-датской собаке» (II, 402). Автобиографичность художественной манеры Герцена оказалась легко уязвимой в сложных цензурных условиях того времени.

Так произошло возвращение писателя к повести, но к повести качественно другого типа, чем автобиографические попытки тридцатых годов. Это было насильственным разрывом единой цепи «Записки одного молодого человека» — «Былое и думы». Интересно, что именно к началу сороковых годов относятся первые дневниковые записи Герцена. Он, который раньше «отроду» не писал «журнала своих действий, мыслей и чувств» (II, 8), теперь чувствует насущную потребность в постоянном, каждодневном «повторении» жизни.

Сороковые годы характеризуются в художественном творчестве Герцена преобладанием повествовательных форм. «Успех «Малинова» заставил меня приняться за «Кто виноват?»»,— писал он в предисловии к лондонскому изданию своего романа (IV, 195—196).

---

[55] Н. В. Шелгунов. Соч. Изд. 3, т. II, СПб., 1904, стр. 427.

II

ГЕРЦЕН В СОРОКОВЫХ ГОДАХ.— РОМАН «КТО ВИНОВАТ?»

К сороковым годам прошлого столетия Россия, вступившая на путь капиталистического развития позднее ряда других европейских стран, продолжала оставаться феодально-крепостническим государством. Однако вся система социально-политических и экономических отношений в николаевской монархии, основанная на сословно-крепостнических порядках, начинала переживать серьезный кризис. В стране заметно ощущался рост фабрично-заводского производства, развитие товарно-денежных отношений приводило к расслоению и обнищанию закрепощенного крестьянства. Бедственное положение крестьян влекло за собою непрерывно растущие стихийные восстания и другие проявления активной борьбы угнетенного народа против помещичьего произвола.

В условиях ясно обозначившегося разложения крепостнического хозяйства и дальнейшего обострения классовой борьбы происходит решительное размежевание различных политических групп и направлений в идейной и общественной жизни страны, и прежде всего между революционными просветителями и крепостнически-либеральным лагерем. В. И. Ленин, указывая на зависимость настроения Белинского в письме к Гоголю «от настроения крепостных крестьян» [1], отмечал непосредственную связь, которая существовала между революционным, социалистическим и материалистическим мировоззрением передовых деятелей русской культуры и освободительным движением народных масс. Идейная борьба сороковых годов, как отражение острых классовых противоречий в стране, не могла в силу этого не принять особенно резкого и непримиримого характера.

В деятельности Белинского и Герцена с огромной силой, несмотря на тяжелые условия полицейского режима в России,

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 108.

проявил себя новый подъем общественного движения, вызванного еще героической эпопеей Отечественной войны 1812 года и получившего в двадцатых годах наиболее полное выражение в восстании декабристов и творчестве Пушкина. В социально-политической борьбе сороковых годов Белинский и Герцен стояли во главе демократических, прогрессивных сил русского общества. Воплощая революционные устремления крепостного крестьянства, его протест против помещичьего гнета, Белинский последовательно разоблачал идеологов реакционного, крепостнического лагеря, прямых и тайных защитников монархии, крепостного права, религии и отстаивал идеи социализма и передовой материалистической философии. Оставаясь еще на позициях дворянской революционности, Герцен, тем не менее, был верным соратником Белинского в его борьбе.

Сороковые годы XIX века вошли в историю русской общественной мысли как пора необычайно бурного формирования материалистического мировоззрения русской революционной демократии. Герцену принадлежало значительное место в этом процессе дальнейшего развития материалистических традиций передовой русской науки. Показав себя достойным преемником революционного наследия декабристов, он вырос в идейной борьбе сороковых годов в крупнейшего представителя русской материалистической философии XIX столетия. Герцен был одним из первых мыслителей, которые поняли ограниченность немецкой идеалистической философии и подвергли реакционные идеи этой философии резкой критике. Обвиняя немецких идеалистов и русских гегельянцев в оторванности от жизни, Герцен и Белинский, а затем Чернышевский и Добролюбов поставили свои философские искания на службу освободительной борьбе народных масс.

Материализм Герцена, в отличие от метафизического, созерцательного материализма западноевропейских буржуазных философов, имел активный характер, был пронизан боевым демократическим духом. «В крепостной России 40-х годов XIX века,— писал Ленин,— он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени... Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом» [2].

Философские работы Герцена, его знаменитые циклы статей «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» ознаменовали целый этап в развитии философии в России. Материалистические идеи, развитые в статьях Герцена, оказа-

[2] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 9—10.

ли огромное воздействие на формирование мировоззрения революционеров-демократов шестидесятых годов. В то же время философские искания Герцена имели выдающееся международное значение. Материализм Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова явился вершиной всей философской мысли домарксовского периода.

В статьях цикла «Дилетантизм в науке» (1842—1843) Герцен дает глубокое обоснование основным принципам материалистической философии. Историю человеческого мира он характеризует как «продолжение истории природы»; дух, мысль, доказывает Герцен, являются результатом развития материи. Отстаивая диалектическое учение о развитии, Герцен утверждает противоречие как основу прогресса в природе и обществе.

Цикл «Дилетантизм в науке» был восторженно встречен передовыми кругами русского общества. Первую статью цикла Белинский называл «до нельзя прекрасной»; «я ею упивался»,— признавался он в одном из писем [3]. В обзоре русской литературы за 1843 год Белинский поставил герценовский цикл в ряду «замечательных статей учено-беллетристических», которые появились тогда в русских журналах [4]. Великому критику было ясно, какой неоценимый вклад вносил Герцен-философ в развитие русской передовой мысли.

Еще большее значение имел второй цикл философских статей Герцена — «Письма об изучении природы» (1844—1846).

«Это было в России,— много лет спустя вспоминал Огарев,— первое слово, которое сбивало разом тупоумие всякой метафизики и тупоумие всякого правительственного строя. Цензура их пропустила, потому что всего их значения не поняла» [5]. В статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин отмечал, что первое из этих «Писем» — «Эмпирия и идеализм» — «показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов» [6].

Наряду с глубоким обоснованием материалистического решения основного вопроса философии — об отношении мышления к бытию — и с защитой диалектического учения о противоречии как основе развития в природе и в обществе, статьи Герцена содержали исключительно яркое, полемически

---

[3] В. Г. Белинский. Письма, т. II, стр. 334, письмо к В. П. Боткину от 6 февраля 1843 г.

[4] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. II, стр. 623.

[5] Н. Огарев. Памяти Герцена. «Колокол. Орган русского освобождения, основанный А. И. Герценом (Искандером)», Женева, № 3, 16 апреля 1870 г.

[6] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 10.

острое изложение истории философских учений, борьбы материализма и идеализма на протяжении ряда столетий. Этот исторический обзор впоследствии был дополнен Герценом в таких работах, как «О развитии революционных идей в России», «Новая фаза русской литературы» (1864), в его художественных мемуарах «Былое и думы», где дан глубокий анализ развития русской философии и ее места и значения в истории мировой философской мысли.

Герцен отмечает самостоятельность русской философии, показывает критическое восприятие русскими мыслителями передовых философских направлений Запада, рисует борьбу русского материализма с идеалистическими воззрениями, как заимствованными русскими реакционерами из арсенала западноевропейской реакции, так и возникшими на русской крепостнической почве. Борьба Герцена с идеалистической философией как идейным оплотом крепостнической реакции носила определенно выраженный политический характер. Необходимо, однако, отметить, что в условиях отсталой, крепостной России Герцен оказался не в силах дать материалистическое объяснение борьбе идеалистических и материалистических философских систем как одному из проявлений классовой борьбы в обществе.

Передовые, материалистические и социалистические воззрения Белинского и Герцена, обусловленные всем ходом развития классовых противоречий в России, служили мощным орудием борьбы русской демократии против реакционных сил страны. Уровень развития передовых идей в России, достигнутый деятельностью Белинского и Герцена, позволял революционно настроенной интеллигенции сороковых годов различать своего врага не только в сторонниках откровенно монархической, крепостнической программы «официальной народности» и примыкавших к ним реакционеров типа Шевырева и Погодина, но также за лживыми, мнимо патриотическими идеями славянофилов и либеральным фразерством западников.

Чтобы правильно, в полной мере оценить значение революционной проповеди Герцена в сороковых годах, следует вспомнить ленинскую характеристику русского освободительного движения в эпоху, наступившую после поражения декабрьского восстания: «Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ»[7]. В. И. Ленин глубоко раскрыл исторический смысл деятельности передовой дворянской моло-

---

[7] В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 294—295.

дежи тридцатых-сороковых годов, посвятившей себя неравной борьбе с самодержавием. Бессилие передовых русских людей того времени, лишенных поддержки народа, отнюдь не означало, что их борьба не приносила положительных результатов для развития русской революции. Гневный протест против самодержавия, изобличение полицейско-крепостнического произвола во всех областях русской жизни, обнажение подлинной сущности реакционной идеологии в ее различных проявлениях воспитывали новое революционное поколение — разночинную интеллигенцию, помогали разбудить народ.

В сложных исторических условиях классовой борьбы Герцен показал себя как страстный и мужественный революционер. Горький недаром называл его «самой яркой фигурой 40-х и 50-х годов» [8]. Еще не сознавая подлинной силы революционного протеста самого народа, Герцен призывал к борьбе за освобождение широких трудящихся масс от всех пут экономической, политической и идейной реакции.

Вместе с Белинским Герцен боролся против реакционных взглядов славянофилов — Хомякова, братьев Киреевских, К. Аксакова и др., идеализировавших политическую и экономическую отсталость крепостной России, в частности, полуфеодальную крестьянскую общину. Славянофилы выдавали себя за носителей подлинных идеалов русской народности, но народу были глубоко чужды; по словам Герцена, они не имели в народе «никаких корней». В «Былом и думах» он резко заклеймит «московских православных кликуш славянизма», определяя их учение как «новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви» («БиД», 284). Такая характеристика славянофилов вырастала из всего отношения к ним русской передовой общественной мысли.

Полемика со славянофилами в литературных салонах и гостиных неминуемо должна была перерасти — и переросла — в политическую борьбу. Герцен решительно разорвал личные отношения с крупнейшими представителями славянофильства, когда убедился, что мистические и националистические теории славянофилов ведут к откровенному сотрудничеству с реакцией. «Я веду открытую войну с славянофильством»,— писал он Н. Х. Кетчеру в середине сороковых годов (III, 415).

Вместе с тем Герцен и Белинский глубоко презирали и высмеивали русских либералов, лицемерно прикрывавших космополитическими фразами свое низкопоклонство перед

---

[8] М. Горький. История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, стр. 200.

заграницей. Вслед за Белинским Герцен подчеркивал, что пресмыкательство либералов перед зарубежной капиталистической культурой органически враждебно народу и отражает барское пренебрежение правящих кругов России ко всему народному, национальному, русскому. Политическая программа либералов не выходила за рамки конституционной монархии, а их философские взгляды — за пределы идеалистических воззрений Шеллинга и Гегеля. Они были охвачены страхом перед революцией и социализмом, перед прогрессивными материалистическими и атеистическими идеями. Борьба Герцена с либерально-буржуазной идеологией западников вроде Боткина, этого апологета буржуазного строя и буржуазной культуры, завершилась разрывом между ними еще до отъезда Герцена в эмиграцию. Пути Герцена и тех, кого в борьбе со славянофилами он называл «нашими», разошлись.

Сороковые годы были периодом усиленных занятий Герцена литературно-художественным творчеством. Именно в это время им были созданы такие значительные произведения, как роман «Кто виноват?», повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов». Написанные под сильным воздействием могучей проповеди реализма и народности литературы в статьях Белинского, беллетристические произведения Герцена сороковых годов, наряду с творчеством начинающего Некрасова и молодого Салтыкова, представляли самое демократическое крыло гоголевского направления в русской литературе.

Роман «Кто виноват?» занимает центральное место в беллетристическом наследии Герцена. Естественно, что ни одна работа, в той или иной степени касавшаяся темы Герцена-художника и писателя, не могла пройти мимо значения романа для творческого пути Герцена; неизбежно обращались к роману «Кто виноват?» также историки литературного движения сороковых годов. И тем не менее приходится удивляться, как мало еще изучено это крупнейшее произведение русской литературы середины прошлого столетия. До сих пор в должной мере не определено место романа Герцена в литературной и общественно-политической борьбе его времени, не выяснены роль и значение «Кто виноват?» для дальнейшего развития революционно-демократической литературы. Совершенно не обследованы критические отзывы о романе в журналистике сороковых годов, как и позднейшие оценки его русскими писателями и критиками; в обиход герценоведов, как это ни странно, не вошли даже важнейшие высказывания Чернышевского и Добролюбова о романе Герцена в целом и об образе Бельтова в частности.

Неясной продолжает оставаться творческая история «Кто виноват?», хотя бы в тех скромных размерах, которые вообще

возможны в условиях отсутствия каких-либо рукописей романа. Даже о времени создания романа Герцена мы часто встретим весьма противоречивы указания, и притом в работах, вышедших в последние годы [9].

Советский читатель, наконец, вправе потребовать от наших литературоведов научного определения канонического текста выдающегося произведения великого русского писателя. Достаточно сравнить издания «Кто виноват?» за последние десятилетия, чтобы убедиться, насколько текст романа зависел от воли, точнее — произвола, редактора. Разночтения в редакциях текста «Кто виноват?» оставляют поистине самое тягостное впечатление [10].

Мы не предполагаем в настоящей работе решать спорные вопросы, связанные с проблемой канонического текста романа. Тем не менее представляется целесообразным остановиться на основных моментах в работе Герцена над «Кто виноват?» и на первоначальных публикациях романа.

В предисловии к лондонскому изданию романа Герцен писал: ««Кто виноват?» была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки (в 1841 г.) и окончил гораздо позже в Москве» (IV, 195). В конце предисловия Герцен уточняет характер и содержание начальной, новгородской стадии работы над романом, говоря, что он привез из Новгорода в Москву «первую часть повести» (IV, 197), т. е., вероятно, те четыре главы, которые спустя три с половиной года были напечатаны в декабрьской книжке «Отечественных записок» за 1845 год.

Работа над повестью первоначально не приносила Герцену удовлетворения. Об этом говорит самое раннее упоминание Герцена о ней в дневнике 2 августа 1842 г., т. е. уже после приезда из Новгорода в Москву: «Статья о дилетантизме

---

[9] Б. Бухштаб, например, считает, что роман был окончен в 1842 году («А. И. Герцен. Указатель основной литературы». Л., 1945, стр. 19), и т. д.

[10] Лучшим свидетельством явного неблагополучия с текстом «Кто виноват?» может служить, например, тот факт, что, подготовляя роман для издания в «Библиотеке русского романа» (М., 1948), И. С. Нович внес значительные исправления в текст, им же самим редактированный немногим более десятка лет назад (см. А. И. Герцен. Избр. произв., М., 1937). Однако и этот текст, повторенный затем в однотомнике Герцена в издании «Московского рабочего» (1949), по нашим наблюдениям, далеко не точен. Воспроизведение текста лондонского издания «Кто виноват?» (1859) отнюдь не решает проблемы научного текста романа. В условиях отсутствия рукописи необходимо тщательно изучить все разночтения в прижизненных изданиях, постоянно учитывая, что в лондонском тексте могли оказаться хорошо известные каждому, кто имел дело с изданиями Вольной русской типографии, ошибки и явные опечатки.

нравится и очень нравится, повесть — нет. Повесть — не мой удел, это я знаю и должен отказаться от повестей» (III, 36). По позднейшему свидетельству Герцена, повесть тогда «не понравилась московским друзьям», и он «бросил ее» (IV, 197). В самом деле, почти три года мы не встретим никаких упоминаний о повести в дневниках или письмах писателя. Только 29 мая 1845 г. Герцен спрашивает у издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского: «Получили ли вы... мою повесть? [11], напечатаете ли последнюю? ...Если повесть пойдет, то я напишу к ней еще главу — другую» (IV, 185). Можно думать, что у Краевского оказалась именно новгородская рукопись первых глав повести, причем Герцен передал ее в «Отечественные записки», очевидно, по настоянию Белинского. «Я и не думал,— вспоминал много лет спустя Герцен,— ни печатать, ни продолжать ее (повесть.— *В. П.*). Белинский взял у меня как-то потом рукопись, и с своей способностью увлекаться он, совсем напротив, переоценил повесть в сто раз больше ее достоинства...» (IV, 197).

Краевский, как видно из писем к нему Герцена, некоторое время не решался начать печатать повесть в своем журнале, в частности, его останавливали возможные цензурные осложнения в связи с образом крепостника Негрова. Очевидно, Краевский настаивал также на продолжении повести, не рискуя печатать первые главы без определенных перспектив на скорое завершение Герценом всей работы над повестью. «Насчет повести я думаю вот как,— писал к нему в связи с этим Герцен 23 июня 1845 г.,— если она не пригодится для двух будущих N, то вручите ее Белинскому, а тот передаст Некрасову в альманах [12]. Мне именно теперь не хочется ее продолжать». Однако далее Герцен спешил «успокоить» Краевского «насчет помещика Негрова»: «он решительно сходит со сцены, отдавши Любу замуж за учителя, и тут начинается совсем иная гистория; для меня повесть — рама для разных сщицов и кроки» (IV, 187) [13].

Прошло еще два месяца; Краевский попрежнему не печатал повести, но и не выпускал ее из рук; не продвинулась

[11] В письме к Краевскому от 12 июня 1845 г. Герцен вновь писал, что повесть послал 1 мая (см. IV, 186).

[12] Имеется в виду «Петербургский сборник» (1846).

[13] Интересно сопоставить с этим признанием Герцена его слова в письме к Н. А. Захарьиной еще от 1 апреля 1836 г.: «Новая мысль для повести. Человек, одаренный высокою душой и маленьким характером... Ежели вздумаю писать, то стоит только приделать рамку к этой мысли» (I, 263). Г. Н. Гай не без основания видит здесь первый намек на будущие образы «Кто виноват?». См. его статью «Роман А. И. Герцена «Кто виноват?»» («Научные записки Днепропетровского гос. университета», т. XXXV, 1949, стр. 3).

вперед и работа Герцена над ее продолжением, и он снова пытается подействовать на Краевского угрозой отдать повесть в «Петербургский сборник»: «Повесть решительно не пишется; я паки советую поместить ее отрывком: в подстрочном примечании можно сказать, что такой-то женится на такой-то. Если же вам очень не хочется ее помещать так, то физиолог Мажанди Петербурга (т. е. Некрасов.— *В. П.*) подзывает ее в свой альманах» (IV, 190).

Краевский, однако, настойчиво ждал новой, переработанной и хотя бы несколько расширенной редакции первых глав «Кто виноват?»[14]. Осенью 1845 года Герцену пришлось, явно вопреки своему желанию, вернуться к работе над новгородским вариантом начала повести. 16 октября 1845 г. он сообщает Краевскому, что повесть «окончена и переписывается» и «через неделю» явится к нему; «вы ее можете поместить в декабрьскую книжку... Здесь она произвела фурор, не знаю, как у вас» (IV, 192). Как следует понимать слова Герцена, что «повесть окончена», разъясняет его же следующее письмо к Краевскому (от 24 октября 1845 г.): «Повесть я окончил, *т. е. до женитьбы*, и посылаю ее к вам...» (IV, 192; курсив наш.— *В. П.*).

Можно уверенно высказать предположение, что новгородская редакция первых глав повести не подверглась существенным изменениям и дополнениям в этом новом варианте текста; недаром Герцен сохранил в конце дату «1842», воспроизведенную и в журнале. Уступая настояниям Краевского, он, быть может, лишь придал отрывку более законченный, самостоятельный характер, оговорившись, что продолжение будет, в сущности, «совсем новой повестью, в которой только те же лица» (IV, 251).

Правда, первоначальное название повести было изменено на «Кто виноват?»[15], но это отнюдь не вытекало из новой редакции глав. В сущности, в публиковавшемся отрывке тема «кто виноват?» еще не была поставлена; однако Герцен уже тогда отчетливо представлял себе дальнейшее развитие повести. Из рассказа о жизни «одного учителя»-разночинца в помещичьей семье она превращалась в широкое и яркое обличительное полотно, посвященное основным социальным конфликтам эпохи. Мы не собираемся при этом уменьшать сатирическую силу Герцена в первых главах повести, в характеристике Негровых и всего крепостнического уклада жизни, но совершенно очевидно, что именно последовавшее течение

---

[14] Тогда, впрочем, повесть называлась «Похождения одного учителя»; см. письмо к Краевскому от 12 июня 1845 г. (IV, 186).

[15] См. письмо к Краевскому от 24 октября 1845 г. (IV, 193).

событий в повести открыло перед писателем возможности глубже и всестороннее показать действительность, создать подлинный обвинительный акт против самодержавно-крепостнического строя и сурово спросить о виновниках трагически сложившейся жизни героев романа.

Заметим, что Белинский также считал, что только во второй части «раскрывается вполне основная мысль романа, являющаяся сначала так загадочною в его названии «Кто виноват?»» [16].

Весьма характерно, что в письме к Краевскому от 24 октября Герцен просил его вставить в текст эпиграф: «А дело оное предать суду божию и, почислив его оконченным, передать при отношении в архив. Протокол уголовной палаты» (IV, 193); однако эпиграф не был напечатан, и трудно сказать, что явилось причиной — запрет цензуры или возражения Краевского, поскольку эпиграф также явно относился к будущим главам повести; не исключено, наконец, что эпиграф снял сам Герцен, опубликовав его впервые, в несколько измененной редакции, лишь в полном варианте романа, в отдельном издании 1847 года.

Краевскому не удалось отстоять от цензуры некоторые места и выражения повести; частично они были впоследствии восстановлены Герценом по памяти в лондонском издании романа. Об одном из таких мест, где говорилось о посещении NN-ской гимназии «меценатом», Герцен вспоминал много лет спустя, что «Белинский выходил из себя за то, что его не пропустили» (IV, 197). Но даже цензурные «урезывания и вырезывания» (там же) не могли ослабить огромного общественного резонанса, который вызвал отрывок повести Герцена в «Отечественных записках».

Для писателя неожиданный успех повести явился могучим стимулом к дальнейшей работе над нею. Еще в октябре он писал Краевскому, что собирается «месяца через два окончить и вторую часть», но для этого, замечал тогда Герцен, ему «предварительно необходимо узнать, как понравится публике 1-я часть» (IV, 192). Спустя два месяца он признается, что успех повести побудил его «сейчас же засесть за продолжение» и написать «целое отделение, имеющее точно так, как первый отрывок, относительную целость и, между тем, внутреннюю связь. По мнению Гранов<ского> и прочих здешних, новое отделение несравненно лучше первого, т. е. напечатанного». «Могу прислать его,— извещает он Краевского,— к февральской, или, вернее, к мартовской книжке.

---

[16] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 806.

Я намерен теперь развить несколько шире и дальше план, не убегая эпизодов...» (IV, 389—390).

Вскоре работа над новым отрывком (главы V—VII в окончательной редакции романа) была закончена [17], и Герцен сообщил Краевскому, что к 1 февраля «вторая часть повести» будет у него; «можете, след‹овательно›, напечатать ее в мартовской книжке» (IV, 406). Однако, прежде чем отрывок попал в Краевскому, нетерпеливо ожидавшему хотя бы несколько новых глав «Кто виноват?», Герцену пришлось выдержать сильный натиск со стороны Белинского, стремившегося во что бы то ни стало увидеть продолжение повести в задуманном им альманахе (так называемом «Левиафане»).

Известно, как высоко оценил Белинский первый отрывок повести, знакомый ему еще в рукописи. В обзоре «Русская литература в 1845 году» он писал о нем как о «приобретении литературы, а не литературного только года». «Какая во всем поразительная верность действительности, какая глубокая мысль, какое единство действия, как все соразмерно — ничего лишнего, ничего недосказанного; какая оригинальность слова, сколько ума, юмора, остроумия, души, чувства!» [18].

В письме к Герцену от 2 января 1846 г. Белинский снова восторженно отзывался о его «превосходной повести», обнаружившей в авторе «новый талант», который «лучше и выше» всех его «старых талантов (за исключением фельетонного)» [19]. «Ты пишешь 2-ю часть «Кто виноват»? — интересовался Белинский.— Если она будет так же хороша, как 1-я часть,— она будет превосходна...» [20]. И здесь же просил отдать ее в альманах. Ответное письмо Герцена не сохранилось, но из письма Белинского от 14 января видно, что Герцен ссылался в нем на свои обязательства перед Краевским и вместо продолжения «Кто виноват?» обещал дать в альманах новую повесть. «Не могу спорить,— писал Белинский,— против того, чтобы ты действительно не имел своих причин не желать отказать Кузьме Рощину [21] в продолжении твоей повести. Делай, как знаешь. Но только на новую повесть твою мне плоха надежда. Альманах должен выйти к пасхе; времени мало... Чтобы ты успел написать новую повесть — невероятно, даже невозможно» [22]. Обещание Герцена прислать для

---

[17] В журнальной публикации отрывка («Отечественные записки», 1846, кн. IV) указана дата: «1845. Зима».

[18] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 23.

[19] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 88.

[20] Там же, стр. 91.

[21] Так, по имени героя одноименного романа Загоскина, называл Краевского критик.

[22] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 92.

альманаха «две вещицы» вместо «Кто виноват?» также не вызывает у Белинского доверия: «Такие вещи, как «Кто виноват?», не часто приходят в голову, а, между тем, одной такой вещи достаточно бы для успеха альманаха»[23]. Уже примирившись с тем, что новые главы повести Герцена появятся в «Отечественных записках», а не в его альманахе, Белинский не без горечи писал: «А все-таки грустно и больно, что «Кто виноват?» ушел у меня из рук. Такие повести (если 2 и 3 часть не уступают первой) являются редко, и в моем альманахе она была бы капитальной статьей...»[24].

В этой борьбе Белинского с Краевским за повесть Герцена (как увидим, вскоре возобновившейся с новой силой и в конце концов увенчавшейся победой) ярко отразилась органическая близость идейно-художественной проблематики «Кто виноват?» великому критику-революционеру.

Итак, продолжение повести, «эпизод между первой и второй частью», появилось в тех же «Отечественных записках» Краевского (ничего не подозревавшего о переговорах между Герценом и Белинским), правда, в апрельской книжке журнала, а не в мартовской, как предполагали Герцен и его друзья[25]. Наученный горьким опытом цензурных искажений в публикации первого отрывка, Герцен неоднократно предупреждал Краевского о возможных осложнениях при прохождении продолжения повести через цензуру. Высказывания Герцена в этой связи имеют исключительно большой интерес, поскольку они, во-первых, показывают, что́ именно считал сам Герцен наиболее «опасным» в своей повести с точки зрения цензурных властей, и, во-вторых, передают изменившийся взгляд писателя на композиционную стройность и цельность «Кто виноват?». Герцен писал Краевскому 19 января 1846 г.: «Но вот условие, на которое я тем более обращаю ваше внимание, что исполнение его я считаю необходимым: если что-нибудь важное, напр‹имер›, *происхождение или жизнь до замужества Софи* (вы увидите это лицо) не пропустят, *ни под каким видом* не печатайте, а пришлите переправить, ибо весь будущий смысл повести исказится от этого. Впрочем, вы при чтении увидите, что это — одна предусмотритель-

---

[23] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 96, письмо от 26 января 1846 г. Как увидим, тревога Белинского была напрасной: в январе 1846 года Герцен пишет «Сороку-воровку», а в середине февраля заканчивает «Доктора Крупова».

[24] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 97—98, письмо к Герцену от 6 февраля 1846 г.

[25] См. «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 422, письмо Грановского к Н. Г. Фролову, февраль 1846 года.

ность и что все возможно, особенно при настойчивости с вашей стороны. Я теперь только и думаю о повестях» (IV, 406—407). И через два дня приписывает к тому же письму: «Повторяю мою усердную просьбу: никак не печатать с искажениями, а мне возвратить для перерабатывания... Кстати, есть места смешные, за которые тоже попрошу вас постоять, напр<имер>, посещение комиссаром квартиры на Гороховой» (IV, 407).

Признание Герцена, что будущий смысл повести находится в тесной зависимости от рассказа о матери Бельтова, Софи, которым открывалась вторая глава «эпизода», в высшей степени замечательно. Помимо самостоятельного значения, которое, несомненно, имеет история Софи, рассказанная Герценом в исключительно ярких сатирических тонах (напомним, что «посещение комиссаром квартиры на Гороховой», о котором пишет Герцен, т. е. блестящий диалог комиссара и старухи-немки, также входит в биографию Софи), крепостное п р о и с х о ж д е н и е матери Бельтова, по мысли писателя, должно многое объяснить в характере основного, в сущности, героя повести.

Опасение цензурного вмешательства вызывается в то же время боязнью Герцена за композиционную стройность и последовательность романа. Если раньше повесть казалась Герцену «рамой для разных скицов и кроки», то теперь он специально подчеркивает: «Повесть эта, несмотря на то, что она будет состоять из отдельных глав или эпизодов, имеет такую целость, что вырванный лист испортит все» (IV, 407). Это признание Герцена тем более ценно, что современная писателю и позднейшая реакционная критика приложила немало усилий, чтобы попытаться доказать художественную незавершенность и «эпизодичность» беллетристики Герцена. Герцен решительно отстаивает «целость» своей повести, которая легко может быть искажена цензурой.

На этот раз поправки цензора, по свидетельству самого писателя, были весьма незначительны («что не мешает им быть,— замечает Герцен,— очень глупыми» — IV, 409). В письме писателя к Краевскому от 25 февраля 1846 г. сохранилось указание на одно из предлагавшихся цензором изменений (очевидно, в письме Софи). «Только одного не забудьте,— пишет Герцен,— вымарайте лучше всю фразу, нежели печатать «несчастная страдалица»; тут можно поставить точки: в письмах это в моде» (IV, 409). По всей вероятности, Краевский так и поступил; во всяком случае, штампованный, чуждый Герцену образ «несчастной страдалицы» в тексте не упоминается. Другое место, опущенное цензором,— слова о рекрутах в главе VI (вместо них в публикации 1846 года

стояло бессмысленное «и т. п.»[26]) — Герцен впоследствии восстановил (см. IV, 260).

Новый отрывок повести («Владимир Бельтов», как озаглавил его Герцен[27]) еще больше упрочил славу Герцена-писателя. Широко известен отзыв Белинского об «интермессо» к «Кто виноват?» в письме к Герцену от 6 апреля 1846 г.: «Я из нее окончательно убедился, что ты — большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать»[28]. После подробной характеристики художественного таланта Герцена-писателя, на которой мы остановимся в другом месте, Белинский продолжал: «Пиши, брат, пиши, как можно больше пиши, не для себя, а для дела: у тебя такой талант, за скрытие которого ты вполне бы заслужил проклятие»[29].

Герцен, неожиданно для самого себя почувствовав силы писателя-беллетриста, вслед за «интермессо» пишет одну за другой повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов», а затем кончает роман. Еще «Владимир Бельтов» находится в цензуре, а писатель уже приступил к собственно второй части «Кто виноват?». Последняя часть пишется,— извещал он Краевского 25 февраля 1846 г.,— полагаю, к майской или июньской книжке будет готова; она развивается недурно» (IV, 410). Однако дальше работа несколько замедлилась: смерть отца 6 мая 1846 г. вскоре совсем отвлекла Герцена от литературных занятий[30]. Повидимому, только осенью 1846 года роман был закончен.

К этому времени изменились и планы Герцена относительно опубликования окончания «Кто виноват?» в тех же «Отечественных записках». Дело в том, что за работой Герцена попрежнему напряженно следил Белинский, которого, по свидетельству самого Герцена, начало второй части привело в восхищение[31]. Критик снова пытается отвоевать роман Герцена от Краевского — на этот раз для первой же книжки обновленного «Современника». Быть может, впрочем, инициатива теперь исходила от Некрасова, который осенью 1846 года обратился к Белинскому с просьбой написать Герцену, «чтоб он не давал» Краевскому конца «Кто виноват?»: «Нам хочется напечатать этот роман вполне отдельной книжкой и дать в приложении к журналу безденежно. Это была бы по-

---

[26] См. «Отечественные записки», 1846, IV, стр. 163.

[27] В позднейших изданиях это название неправильно связывалось — и связывается до сих пор — лишь с одной главой V.

[28] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 108.

[29] Там же, стр. 109.

[30] См. письмо к Краевскому от 20 мая 1846 г. (IV, 413).

[31] См. там же.

рядочная пилюля Андрюшке (т. е. Краевскому — *В. П.*)...»[32] В самом начале октября в Петербург приехал Герцен,— и то, что не удалось Белинскому в начале года, сравнительно легко произошло сейчас: Герцен порвал с Краевским и отдал рукопись второй части в «Современник».

В начале 1847 года обе части романа вышли отдельным изданием как приложение к «Современнику» (цензурное разрешение датировано 20 ноября 1846 г.), с эпиграфом и посвящением романа Н. А. Герцен. Только после этого Герцен известил о случившемся Краевского, надо полагать, уже достаточно осведомленного о судьбе рукописи «Кто виноват?»: «Повесть моя, начало которой было в «От‹ечественных› Зап‹исках›», издана особо. Я счел себя обязанным сказать Вам, что я считаю Вас совершенно вправе перепечатать ее окончание, если Вы полагаете, что читатели не забыли давным давно о начале» (V, 5). Разумеется, окончание романа не появилось на страницах «Отечественных записок», и переписка Герцена с Краевским на этом оборвалась.

Мы проследили работу Герцена над романом «Кто виноват?», как она отражалась в его переписке тех лет и историю первоначальных публикаций романа — в отрывках и полностью. Это было важно не только потому, что подобный обзор позволяет ознакомиться с многими ценными суждениями Герцена о своем романе в процессе работы над ним, но и потому, что творческая история «Кто виноват?» отразила в себе становление Герцена как крупнейшего беллетриста-демократа сороковых годов[33].

Действие романа Герцена, как это легко устанавливается сличением пересекающихся биографий главных действующих лиц, происходит в середине и второй половине тридцатых годов, но, в сущности, для Герцена и первых читателей «Кто виноват?» это был роман на темы современности. Писатель, большей частью, избегал подробностей, которые локализовали бы действие романа истекшим десятилетием. Напротив, можно сказать, что только в условиях середины сороковых годов некоторые проблемы «Кто виноват?» приобрели значение, которое придают им герои романа (например, философские

---

[32] Н. А. Некрасов. Собр. соч., т. V. Гиз, М.— Л., 1930, стр. 71.

[33] Следы творческой истории романа сохранились в самом его тексте: ср. признание Герцена, что он «не умеет писать повестей» (IV, 203); конец главы IV первой части, как было отмечено, непосредственно вызывался условиями публикации начала романа как обособленного отрывка; поскольку вторая часть первоначально предназначалась для отдельной публикации в «Отечественных записках», Герцен, очевидно, счел необходимым, в ущерб композиционной стройности, в главе I второй части повторить в сжатом виде историю Бельтова и т. д.

споры Крупова и Круциферского); самые образы Бельтова, Круциферского, Любоньки, Крупова гораздо типичнее именно для тех лет, когда создавался роман.

С полным правом «Кто виноват?» вошел в историю русской литературы как роман о сороковых годах. Это незначительное, на первый взгляд, обстоятельство следует постоянно иметь в виду, когда мы обращаемся к решению Герценом больших социальных вопросов, которым посвящен его роман.

В статье «От какого наследства мы отказываемся?» (1897) В. И. Ленин указывал, что в период от сороковых до шестидесятых годов, когда писали наши просветители, «*все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками»[34]. Пафос борьбы с крепостным правом, как основным социальным злом русской действительности, составляет подлинное содержание романа Герцена. Все остальные проблемы, затрагиваемые в разной степени писателем,— проблема семьи и брака[35], положение женщины, вопросы жизни русской интеллигенции, идея защиты личности и т. д.,— служили лишь частными, отдельными формами выражения этой основной темы произведения. Реакционная и либерально-буржуазная критика немало потрудилась, чтобы приглушить страстный протест Герцена в его беллетристике против самодержавно-крепостнического строя. Задача советского литературоведения — восстановить значение романа Герцена как высшего художественного проявления русской демократической мысли сороковых годов.

Первые же страницы произведения, негодующее изображение крепостнических порядков в доме помещика Негрова, резко выделяли Герцена на фоне тогдашней беллетристической литературы, в той или иной мере затрагивавшей тему крепостного права,— повестей и рассказов Григоровича, Тургенева и других писателей.

В «Деревне» и «Антоне-Горемыке» Григоровича, при всей, несомненно, прогрессивной роли, которую сыграли эти произведения в литературном движении своего времени и которая была отмечена Белинским в обзорах русской литературы за 1846 и 1847 годы, картины крепостного быта русской деревни привлекались писателем скорее как фон для развития сюжета, чем органически необходимое звено социальной характеристики действительности. За внешними, второстепенными подробностями народной жизни в повестях Григоровича

---

[34] В. И. Ленин. Соч., т. 2, стр. 473.

[35] «Ее жизненный вопрос — брак»,— писал сам Герцен в начале работы над последней частью «Кто виноват?» (IV, 410, письмо к Краевскому от 25 февраля 1846 г.).

исчезала сама тема крепостного гнета как подлинного источника трагической судьбы русского крестьянина, тема борьбы народных масс с крепостничеством. Заслуга Герцена, Некрасова, Салтыкова, как наиболее передовых писателей сороковых годов, в том и состояла, что, начиная свой большой революционный и творческий путь, они обратились к глубокому и художественно правдивому отражению величайшего исторического процесса — освободительной борьбы русского народа против крепостного права.

Острота протеста Герцена против крепостного строя приобретает в романе подлинно революционное звучание. С большой силой это проявилось в выразительных намеках писателя на полное бесправие народа. Разумеется, именно сюда прежде всего и было направлено внимание цензуры. Когда Герцен писал: «Губернатор возненавидел Круциферского за то, *что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика»*, цензура заменила эту яркую, правдивую деталь крепостного быта бессмысленным указанием на «какое-то дело» [36], не замечая, что читателю оставалась абсолютно непонятной следовавшая далее фраза о маленьком Мите, как о «единственном наказанном *в деле о найденном теле кучера»* (IV, 217; курсив наш.— *В. П.*). Было выброшено также упоминание о «продаже парней в рекруты, не стесняясь очередью» (IV, 260), и т. д. И все-таки картина тяжелой жизни народа, прежде всего крепостного крестьянства, с которой знакомился читатель в романе, производила сильное, гнетущее впечатление. Рисует ли Герцен трагическую судьбу Дуни Барбаш или трудный, тернистый путь крепостной интеллигентки Софи, показывает ли бесчеловечное обращение помещиков со своими рабами, касается ли он жизни городской бедноты,— везде мы чувствуем гневное, обличительное перо писателя-демократа и гуманиста.

Внимание Герцена привлекают различные формы проявления борьбы крепостных масс русского крестьянства со своими угнетателями. В главе «Биография их превосходительств» он замечает: «Приказчик и староста были... довольны барином; о крестьянах не знаю,— они молчали» (IV, 204).

В этом грозном «молчании» крепостного люда таилась могучая сила крестьянского гнева и протеста. По цензурным условиям Герцен не мог привести какого-либо эпизода народного возмущения, но как красноречиво, например, его сравнение крепостника Карпа Кондратьича с полководцем, который «вне дома, т. е. на конюшне и на гумне, ...вел

---

[36] См. «Отечественные записки», 1845, XII, стр. 214.

войну... и ...наносил врагу наибольшее число ударов...» (IV, 310).

Рисуя на страницах романа образ угнетенного народа, Герцен продолжал лучшие демократические традиции русской литературы XVIII — первой половины XIX века. В то же время тема борьбы с крепостным правом поднялась в творчестве Герцена на новую ступень, приобрела новые идейные качества, соответственно уровню развития освободительного движения в России в сороковых годах XIX века.

Было бы неправильно ограничивать обличительную силу «Кто виноват?» намеками на произвол и жестокость помещиков, разбросанными по всему роману и лишь частично, как мы видели, проскочившими через цензуру. Критические выступления против помещичьего самовластия в то время встречались и в произведениях русских либералов. Однако, применяя слова Добролюбова о русской сатире XVIII века, можно сказать, что либеральная критика крепостничества была направлена «не на принцип, не на основу зла, а только на *злоупотребления* того, что в наших понятиях есть уже само по себе зло»[37]. Роман Герцена всем ходом своего повествования произносил суровый обвинительный приговор самой системе самодержавно-крепостнических порядков.

Революционера и материалиста Герцена особенно интересует процесс формирования человека и его мировосприятия под воздействием окружающей социальной среды. Как бы ни было эпизодично то или иное действующее лицо романа, Герцен стремится познакомить читателя с факторами, которые обусловили общественный облик и взгляды этого человека. Социолог в данном случае тесно переплетается в Герцене с художником, что определило, в частности, композиционное своеобразие его беллетристики. «Собственно не роман, а ряд биографий...»,[38] «связанных между собою одною мыслию, но бесконечно разнообразных, глубоко правдивых и богатых философским значением»[39],— отзывался о жанровых особенностях «Кто виноват?» Белинский. Герцен сам признавался в романе: «Меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц. Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна,— это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей... Вот поэтому-то я нисколько не избегаю биографических отступлений: они раскрывают всю роскошь мироздания...» (IV, 268). Каждое из этих биографических отступлений вместе с

---

[37] Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. II, стр. 175.
[38] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 809.
[39] Там же, стр. 812.

тем становилось звеном в общей цепи гневного обличения Герценом крепостнической действительности. На биографиях своих героев Герцен показывает, как крепостнический строй уродует сознание и жизнь людей не только внизу общественной лестницы, но и на верхних ее ступенях.

Точка зрения социальной обусловленности, которой придерживается здесь Герцен, была отмечена уже Белинским, когда он писал: «Выводимые им (Герценом.— *В. П.*) на сцену лица — люди не злые, даже большею частию добрые, которые мучат и преследуют самих себя и других чаще с хорошими, нежели с дурными намерениями, больше по невежеству, нежели по злости. Даже те из его лиц, которые отталкивают от себя низостию чувств и гадостию поступков, представляются автором больше как жертвы их собственного невежества и той среды, в которой они живут, нежели их злой натуры» [40]. В этом была могучая обличительная сила романа Герцена; в то же время тезис об определяющем воздействии среды позволял писателю снять хотя бы часть исторической вины дворянской интеллигенции, отходившей на глазах читателя тридцатых — сороковых годов от революционности декабристов; далее мы увидим, что в оценке образа Бельтова Белинский разойдется с Герценом именно по вопросу о натуре героя.

Стремясь всюду проследить воздействие среды на выводимые им образы, Герцен сознательно подчеркивает зародыши положительных качеств даже в отрицательных типах романа, добиваясь тем самым большой обличительной силы в характеристике общественного строя как целого. Отсюда слова автора о Негрове, что «жизнь задавила в нем не одну возможность» (IV, 203), характеристика Карпа Кондратьича как «образца кротости в семейных делах» (IV, 310), явно снисходительное отношение автора к Ваве и т. д. Герцен как бы расчищает в сознании читателя путь к ответу на вопрос, поставленный в заглавии романа. Насилие над личностью, жестокость, произвол крепостников и чиновников выступают не как частная, личная особенность психологии людей, а как социальный признак класса и строя в целом.

И правящие круги эту грозную силу романа Герцена сознавали гораздо отчетливее, чем многие либеральные «историки» и «литературоведы», надоедливо повторявшие из книги в книгу, из статьи в статью многословные рассуждения о том, что в драме Бельтова виновато его воспитание (будто оно могло явиться первоосновным, действительно определяющим фактором), а трагедию Круциферского породили узко личные,

---

[40] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 811.

психологические моменты, связанные лишь с проблемой семьи и брака (в которой они видели главный смысл всего романа). Когда в девяностых годах издатель Чудинов обратился с ходатайством о новом издании «Кто виноват?», цензор Коссович, например, писал: «Он (Герцен.— *В. П.*) старается во всем романе умело и тонко, без всяких излишеств, ясно указать на невыносимость гнета помещичьей власти и на безжизненность и бессердечие колес административной машины. Кто виноват, что Бельтов, умница, благородный человек, не у дел? Читатель найдет ответ легко,— стоит только вчитаться хорошенько в подробности рассказа. Кто виноват, что искалечена жизнь идеальной семьи? *Не Бельтов, конечно»* [41].

Нельзя отказать в наблюдательности и агенту III отделения, который еще в 1857 году доставил жандармам экземпляр «Кто виноват?» с весьма выразительной характеристикой: «Автор — социалист — без сомнения рассчитал, что некоторые станут вкушать вредный плод его воображения, *признают виноватыми правительство и гражданский наш порядок,* хотя он не выразил прямо всего его сознания» [42].

Обращает на себя внимание настойчивость, с которой Герцен указывает на т и п и ч е с к о е значение образов и отдельных эпизодов романа. Писатель рисует жизнь в ее обыденном, повседневном виде; нет ничего из ряда вон выходящего в этих Негровых, уездных предводителях, всей галлерее NN-ских чиновников, средних людях своего класса, который незримо стоит за ними и беспощадно уродует человеческие жизни, унижает достоинство людей, губит лучшие задатки талантливого народа. Крупов как бы мимоходом говорит Круциферскому: «Дом Негрова, поверьте мне, не хуже... признаться, и не лучше всех помещичьих домов» (IV, 222). В следующей главе Герцен снова «случайно» обронит: «Изредка наезжал какой-нибудь сосед,— Негров под другой фамилией» (IV, 226). В NN, подчеркивает Герцен в начале второй части, у помещиков и чиновников «были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое общественное мнение, свои обычаи,— общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам всей империи» (IV, 299). Знакомство Бельтова с чиновным миром NN завершается выразительным символическим обобщением: «Когда мало-помалу это почтенное общество лиц отступило в голове Бельтова на второй план и все они слились в одно фантастическое лицо какого-то колоссального чиновника, насупившего брови, нечистого,

---

[41] «А. И. Герцен и цензура в 1890-х годах». «Красный архив», 1923, III, стр. 223 (курсив наш.— *В. П.*).

[42] «Царизм в борьбе с А. И. Герценом». «Красный архив», 1937, т. 2 (81), стр. 218 (курсив наш.— *В. П.*).

уклончивого, но который постоит за себя, Бельтов увидел, что ему не совладать с этим Голиафом...» (IV, 297).

Подчеркивая типический характер своих картин и образов, Герцен смело ставит вопрос о социальных причинах, которые обусловливают трагические судьбы героев романа. Он был далек от той философии фаталистической обреченности, которую приписал ему в своем отзыве о «Кто виноват?» Ап. Григорьев. «Основную мысль» романа Григорьев увидел в том, что «виноваты не мы, а та ложь, сетями которой опутаны мы с самого детства». Из книги следует, писал Григорьев Гоголю в ноябре 1848 года, что «никто и ни в чем не виноват, что все условлено предшествующими данными и что эти данные опутывают человека, так что ему нет из них выхода... Одним словом, человек — раб, и из рабства ему исхода нет» [43]. Социальное зло Григорьев подменял отвлеченной, мистической категорией «предшествующих данных», безысходным рабом которых объявлялся человек. По этому пути пошла вся реакционная критика романа, настойчиво, но без успеха убеждавшая читателя, как мы далее покажем, что в бедствиях человечества Герцен винит «судьбу», а отнюдь не людей и не людские отношения. В действительности роман Герцена, изобличавший виновников социальной несправедливости на конкретном материале русской жизни, конечно, не допускал такого ложного толкования.

Явная ирония автора сквозит в эпиграфе романа: «А случай сей *за неоткрытием виновных* предать воле божией...» (IV, 195, курсив наш.— *В. П.*) [44]. «Виновные» достаточно ярко и всесторонне были «открыты» и показаны в романе, и когда Герцен на последних страницах предоставлял читателю разрешить: «*кто виноват?*» (IV, 357), то, разумеется, последнему не составляло большого труда произнести свой суд над миром Негровых, Карпа Кондратьича и им подобных.

Зарисовки быта и нравов, «житья-бытья» этого мира, характеристики «их превосходительств» — Негрова и его супруги, рассказ о жизни семейства дубасовского уездного предводителя, который Белинский причислял к лучшим страницам романа [45], образы чиновников в NN продемонстрировали силу сатирического таланта Герцена. Восприняв обличительные традиции гоголевского смеха и злой, обнаженной иронии, порою следуя за автором «Мертвых душ» в самом построении художественного

---

[43] «А. А. Григорьев. Материалы для биографии». Под ред. Влад. Княжнина, П., 1917, стр. 114.

[44] В первоначальной редакции эпиграфа (см. письмо к Краевскому от 24 октября 1845 г.— IV, 193) этого иронического намека не было, Герцен ввел его в самой последней стадии работы над романом.

[45] См. В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 812.

образа, как это неоднократно отмечалось в литературе, Герцен беспощаднее, значительно целеустремленнее и определеннее в своем отношении к объекту сатиры. Речь идет при этом не о постоянных авторских обращениях к читателю, хотя и они характерно раскрывали восприятие действия самим писателем (ср., например, в главе III первой части, в рассказе о трудной, полной лишений жизни стариков Круциферских: «Читатель, если вы богаты, или, по крайней мере, *обеспечены,*— принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствует полученное нами наследство! да здравствует родовое и благоприобретенное!» — IV, 221). Отношение Герцена к своим персонажам вытекало из самого развития образов. Иногда в мелкой, несущественной, на первый взгляд, детали заключался уничтожающий сатирический намек. Негров, например, «не расстраивал пищеварения умственными напряжениями» (IV, 203), и эта подробность, которой Герцен начинал историю его жизни, не оставляла сомнений в характере дальнейшего рассказа. Острые, смелые сравнения писателя, как правило, содержали в себе оценку явления. Будочник для Герцена — «паук, возвращающийся в темный угол, закусивши мушиными мозгами» (IV, 294); помещика, «доброго и толстого отца семейства», он сравнивает с... тыквой, а «неразрывную спутницу его жизни» — с «стручком перцу, спрятанным в какой-то тафтяной шалаш, надетый вместо шляпки» (там же), и т. д. Множество лиц, биографий, эпизодов проходит перед читателем, но сатирическое, обличительное начало объединяет все действие романа в единую широкую картину русской крепостнической действительности.

Трудно в этом мире жить разночинцам Круциферским, Негровы стоят на пути к счастью Любоньки, в их среде «умной ненужностью» становятся люди, даже несомненно одаренные, полные внутренних творческих сил. Таким был Владимир Бельтов — один из самых ярких образов, созданных Герценом-беллетристом.

Бельтов в характеристике Герцена — жертва своего тяжелого времени, уродливых социальных условий, в бессильном отрицании которых он тщетно тратит лучшие порывы своего сердца и самые чистые побуждения незаурядного ума. Герцен подробно рассказывает о жизненном пути своего героя, раскрывает условия, которые формировали его отношение к действительности и в итоге привели Бельтова к глубокому внутреннему краху. В Бельтове отразился сложный процесс идейных исканий дворянской молодежи после разгрома декабрьского восстания. Путь Бельтова был отрицанием тягостного, разлагающего влияния пошлой помещичьей среды, духовной реакции и политического гнета двадцатых — тридцатых годов.

Мать Бельтова, на собственном опыте испытавшая тяжесть

жизни в обстановке крепостного хозяйства и морального падения дворянства, и гувернер-женевец направили все свои силы, чтобы изолировать юного Бельтова от действительности. «Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготовляют Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтоб он не понимал действительности; они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы» (IV, 272). Бельтов вырос неподготовленным для жизни, далеким и чужим ей: «блестящие идеалы» его поколения не имели ничего общего с реальной действительностью. «Не прошло и месяца после водворения Бельтова в NN,— пишет Герцен,— как он успел уже приобрести ненависть всего помещичьего круга, что не мешало, впрочем, и чиновникам, с своей стороны, его ненавидеть» (IV, 299).

В этом отчуждении Бельтова от дворянско-чиновничьего общества состояла сила и слабость героя романа. Писатель хорошо вскрывает духовное превосходство Бельтова над его окружением, но в его образе ощутима романтическая поэтизация героя. «Бедная жертва века, полного сомнением, не в NN тебе сыскать покой!» (IV, 296). Бельтов стал выше среды, и Герцен в этом видит оправдание его неудачной жизни. Между тем именно пассивное противопоставление себя пошлой жизни обитателей NN — и всей крепостнической империи — приводит Бельтова к внутреннему бессилию, обрекает его «уморить в себе страшное богатство сил и страшную ширь понимания» (IV, 332). Внутренний мир Бельтова богаче мира Онегина или даже Печорина, его стремления возвышеннее, он полон жажды деятельности, но еще не пришел к той мысли, что для воплощения своих идеалов нужно не уходить от жизни, а смело идти навстречу ей. «Бельтов знал многое и обо всем имел общие понятия,— писал Белинский,— но совершенно не знал той общественной среды, *в которой одной мог бы действовать с пользою*» [46].

Интересную характеристику образа Бельтова дал Огарев, перечитав «Кто виноват?» после отъезда своего друга за границу — «чтобы оживить в памяти Герцена». Оговорившись, что или он «по пристрастию» ставит роман «слишком высоко», или «это не есть *только* беллетристическое произведение, как отзывались журналы», Огарев в то же время считает Бельтова «больным лицом, сколько он высоко ни поставлен». «Зрелость взгляда отрицания ради — не полная зрелость,— продолжает далее Огарев,— ибо невольно перебрасывает человека в

---

[46] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 807 (курсив наш.— *В. П.*).

романтическое отвращение от деятельности. Внутри нас должен совершиться еще переход в положительную деятельность при всех скорбных задатках отрицания» [47].

Независимо от Белинского Огарев из анализа образа Бельтова приходил к тому же выводу о необходимости активного, действенного отношения к жизни для передовой молодежи своего времени. В написанном тогда же письме к Герцену, недавно обнаруженном среди материалов «Пражской коллекции» Герцена — Огарева, он также указывал, что Бельтов «ложное лицо» и «больной человек», «хотя все-таки высокий человек». «*Иначе*,— писал Огарев,— *он бы рассчитывал свою силу и объект деятельности и нашел бы среду, где бы мог развернуть ее*». В Бельтове Огарев усматривал проявление «последнего фазиса романтизма», «романтического брожения» [48].

Герцен показывает два пути — Чичикова и Бельтова. «Приезжай в NN советник из RR, он в неделю был бы деятельный и уважаемый член и собрат; приезжай уважаемый друг наш, Павел Иванович Чичиков, и полицмейстер сделал бы для него попойку, и другие пошли бы плясать около него и стали бы его называть «мамочкой»...» (IV, 299). Но развитие действия романа говорило читателю о возможности третьего пути — пути борьбы, которым пошел сам Герцен, Огарев, все «лучшие люди из дворян» (Ленин) и на пороге которого остановился Бельтов, оставив, однако, далеко за собой других «лишних людей» своего времени.

Для понимания образа Бельтова важное значение имеют слова Герцена из письма к сыну, написанные полтора десятилетия спустя. «Что общего в твоем существовании и положении Бельтова? — спрашивал сына Герцен (очевидно, тот в не дошедшем до нас письме проводил такую аналогию).— Бельтов оттого бросался из угла в угол, что его социальная деятельность, к которой он стремился, находила *внешнее* препятствие. Это — пчела, которой не позволяют ни делать ячейки, ни отлагать мед...» (XV, 208). Трагедия Бельтова, таким образом, рассматривалась Герценом исключительно в плане его конфликта с окружающей средой («внешним препятствием»). Белинский еще в сороковых годах справедливо поправлял писателя: «Мы думаем, что при этом автор мог бы еще указать слегка и на натуру своего героя, нисколько не практическую и, кроме воспитания, порядочно испорченную еще и богатством... Натура его была чрезвычайно богата и многостороння, но в этом бо-

[47] «Помощь голодающим», М., 1892, стр. 522, письмо к Е. Ф. Коршу от 28 июня 1847 г.

[48] Письмо к Герцену от 27 июня (9 июля) 1847 г. Цитируется по публикации Ю. Красовского, печатающейся в «Литературном наследстве», № 61 (курсив наш.— *В. П.*).

гатстве и многосторонности ничто не имело прочного корня.. У него много ума, но ума созерцательного, теоретического, который не столько углублялся в предметы, сколько скользил по ним. Он способен был понимать многое, почти все, но эта-то многосторонность сочувствия и понимания и мешает таким людям сосредоточить все свои силы на одном предмете, устремить на него всю свою волю. Такие люди вечно порываются к деятельности, пытаясь найти свою дорогу, и, разумеется, не находят ее» [49].

Писателю явно дорог этот образ. Он наделяет его некоторыми автобиографическими чертами, он ищет оправдания его «бесполезности» для общества в той свинцовой тяжести, с которой давил на мыслящую Россию «Голиаф» николаевской реакции. Герцен воспринимает Бельтова как человека своего поколения: недаром через несколько лет он будет писать о «поколении Онегиных, Чацких и нас всех» (VII, 463).

Если для Белинского источник поражения Бельтова таился в значительной мере в «натуре» самого героя и поэтому критик более требователен и строг к нему, то Герцен, в силу своей близости — в ту пору — к дворянской интеллигенции, пытается примирить читателя с одним из лучших ее представителей. Образ Бельтова приобретает сложный, порою противоречивый характер. Герцен старательно подчеркивает в нем стремление к общественной, «социальной» деятельности, и в то же время — Бельтов фактически самоустраняется из жизни, отказывается от борьбы. «Моя жизнь не удалась,— по боку ее. Я, точно герой наших народных сказок... ходил по всем распутьям и кричал: «есть ли в поле жив-человек?» Но жив-человек не откликался.. мое несчастие!.. а один в поле не ратник... Я и ушел с поля...» (IV, 337).

Эта идея покорности перед жизнью, перед «средой» была чужда революционному демократу Белинскому, который чувствовал себя в мире бойцом, даже оставаясь «один в поле».

Одно из писем Герцена к Огареву, написанное в Париже летом 1847 года, в ответ на цитировавшееся выше письмо своего друга, ярко показывает, что он уже в то время оценивал тип Бельтова как положительного героя с точки зрения потенциальных возможностей его развития. *«Цель не Бельтов,*— писал Герцен,— *а необходимость подобного воздействия* не на из рук вон сильного человека, но на прекрасного и способного человека» (V, 47; курсив наш.— *В. П.*). По мысли Герцена, в известных условиях, при определенном воздействии, Бельтовы могут стать «практическими» людьми (как он выразился в том

[49] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 807—808.

же письме); вспомним слова Белинского о «непрактической натуре» Бельтова), нужными и полезными обществу. «Какой бы человек мог из него выйти...»,— говорит писатель в романе устами Жозефа (IV, 325).

В воспитательном воздействии образа Бельтова Герцен видит свою цель писателя. Беда, а не вина Бельтовых, как бы говорит он, в том, что от платонического противопоставления себя обществу они оказались не в силах перейти к активной борьбе с ним. «Конечно, Бельтов во многом виноват»,— приводит Герцен возможный вывод читателя и добавляет: «Я совершенно с вами согласен; а другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты» (IV, 299). Не может быть сомнения, что Герцен был именно среди этих «других».

В идее Герцена об исторической прогрессивности Бельтовых была заключена немалая доля правды. Если в последующие десятилетия передовая молодежь нашла себе более широкое поле общественной деятельности, а затем и открытой революционной борьбы, то для своего времени бессильный протест Бельтовых имел в себе, несомненно, прогрессивное начало. Однако Белинский верно отметил на образе Бельтова некоторый налет исторически неоправданной идеализации.

Понять отношение Белинского к Бельтову можно только исходя из всей системы образов романа.

Исследователи романа Герцена неоднократно обращались к известной характеристике Бельтова Белинским как «самого неудачного лица во всем романе» [50]. Одни при этом полагали, что Белинский здесь недооценил типическую яркость образа, другие, напротив, объясняли заключение критика действительными, по их мнению, художественными недостатками романа, особенно во второй части, в которой якобы «преобладающей силой стала мысль», притом «не выраженная художественно, в поэтических картинах, а рассказанная автором» [51]. Между тем в этой резкой оценке Бельтова проявилась прежде всего исключительная социальная чуткость Белинского, который был, по определению В. И. Ленина, «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении... еще при крепостном праве» [52].

Обратим внимание, что те главы романа, в которых впервые появляется Бельтов [53], встретили горячее одобрение Белин-

---

[50] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр 806.

[51] См., например, Н. И. Пруцков. У истоков революционно-демократического реализма в русской литературе середины XIX века. Грозный, 1946, стр. 143—144.

[52] В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 223.

[53] Т. е. отрывок «Владимир Бельтов» в кн. IV «Отечественных записок», 1846 г.

ского. Именно в связи с этим «интермессо» к роману критик писал Герцену: «Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества»[54]. Именно «Владимир Бельтов» вызвал у Белинского знаменитую характеристику художественной «натуры» Герцена и пророческое предсказание: «Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, ты — большое имя в нашей литературе, и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина»[55]. Даже в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский признавал, что Бельтов интересен тогда, «когда мы читаем историю его превратного и ложного воспитания и потом историю его неудачных попыток найти свою дорогу в жизни»[56]. Однако дальнейшее развитие образа Бельтова Белинский признал ошибкой Герцена. «Во второй части романа,— писал критик в той же статье,— характер Бельтова произвольно изменен автором»[57]. Далее Белинский поясняет: «в последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшею, гениальною натурою, *для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща*... Это уже совсем не тот человек, с которым мы так хорошо познакомились прежде; это уже не Бельтов, а что-то вроде Печорина». Любопытно, что «прежнего Бельтова» Белинский считает «гораздо лучше»: «Сходство с Печориным для него крайне невыгодно»[58]. Бельтов рассматривается Белинским как еще не установившийся характер, он находится в развитии, но Герцен, по мнению критика, ошибочно понимает внутреннюю тенденцию образа. Однако главным и решающим обстоятельством, определившим оценку этого образа критиком, явилось, на наш взгляд, герценовское решение конфликта Бельтова — Круциферского, абсолютно неприемлемое для разночинца Белинского.

Сила Бельтова ярко раскрывалась в его антагонизме с чиновничье-помещичьей средой; Бельтов, по словам Герцена, был «протестом, каким-то обличением их жизни, каким-то возражением на весь порядок ее» (IV, 299). Но Бельтов, поставленный в конце романа выше разночинца Круциферского, оказывался в противоречии с объективным ходом развития

---

[54] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 109, письмо от 6 апреля 1846 г.
[55] Там же.
[56] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 812.
[57] Там же, стр. 807.
[58] Там же, стр. 808 (курсив наш.— *В. П.*).

общественной жизни, в которой дворянская интеллигенция уже начинала вытесняться разночинцами.

Герцен в условиях сороковых годов не смог правильно оценить историческую роль и значение разночинной интеллигенции. Его Круциферский полон «страха перед будущим» (IV, 306), он беспомощен в жизненной борьбе и выглядит мелким и жалким в сравнении с Бельтовым [59]. Писатель сочувствует своему герою-разночинцу, но это сочувствие полно снисхождения. Позднее, в «Былом и думах», упомянув случайно о своей «старой повести», Герцен сравнит «благородную искренность» Бельтова со «слезливым самоотвержением» Круциферского («БиД», 486). Автор «Кто виноват?» не видит в плебее Круциферском новой, активной социальной силы: «Кроткий от природы, он и не думал вступить в борьбу с действительностью,— он отступал от ее напора, он просил только оставить его в покое» (IV, 329).

Круциферский прошел трудный путь. В главе, посвященной его биографии, Герцен рассказывает о безрадостном детстве Мити. Жизнь его отца, скромного, честного лекаря, «была огромным продолжительным геройским подвигом на неосвещенном поприще, награда — насущный хлеб в настоящем и надежда не иметь его в будущем» (IV, 216). Круциферский рано узнал, что значит «беспрерывная, тяжелая, мелкая оскорбительная борьба с нуждою, дума о завтрашнем дне...» (там же). Но испытания жизни не закалили его. «Глядя на его кроткое лицо,— пишет Герцен о молодом кандидате,— можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований,— существований тихих, благородных, счастливых в немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой ученопедагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу...» (IV, 220). Находясь на первом плане в начальных главах «Кто виноват?», Круциферский после женитьбы на Любоньке перестает интересовать Герцена, его образ отступает и бледнеет перед новыми лицами. Во второй части романа Герцен снова указывает, что «Круциферский далеко не принадлежал к тем сильным и настойчивым людям, которые создают около себя то, чего нет» (IV, 330). Он невольно покорился «энер-

[59] Любопытная деталь, тонко отмеченная Герценом: Бельтов, говорит Круциферский, *«оканчивал* курс (университета.— *В. П.*), когда я *вступил»* (IV, 308; курсив наш.— *В. П.*). Между тем они почти однолетки: Круциферскому во второй части 28 лет, Бельтову — примерно 29: он кончил университет 19 лет, затем прошло десять лет (см. IV, 282), или: показывая Круциферской свой портрет, на котором он изображен в четырнадцатилетнем возрасте (см. IV, 276 и 326), Бельтов говорит: «Много надобно храбрости, чтобы решиться самому для сличения принести женщине свой портрет, деланный более, нежели за пятнадцать лет...» (IV, 332; в тексте М. Лемке ошибочно напечатано — «хитрости»).

гической сущности» Бельтова (IV, 331), который, как тонко заметил Белинский, был «подле бедного Круциферского настоящим колоссом подле карлика»[60]. Если трагедия Бельтова, как понимал ее Герцен, объяснялась его духовной силой, обреченной на бездействие, то образ Круциферского от начала до конца выдержан в плане беспомощного примирения с жизнью. Для Белинского уже в сороковых годах была очевидна ложность подобного сопоставления дворянского героя и разночинца. Несомненна полемическая заостренность замечания критика: «Когда интересны в романе Круциферский и Любонька? — тогда, когда они живут в доме Негровых и страдают от всего их окружающего»[61].

Художественное воплощение «новых людей», революционных разночинцев, исполненных веры в свои силы и сознания, что будущее принадлежит им, русская литература обрела с романом Чернышевского «Что делать?».

Будучи не в состоянии увидеть в разночинцах сороковых годов тех самых «молодых штурманов будущей бури», о которых он с воодушевлением станет писать в шестидесятых годах, Герцен в то же время сознает историческую бесперспективность Бельтовых. Отсюда — пессимистический финал романа, в котором скептик Крупов — самое светлое пятно.

Большим художественным достижением Герцена в «Кто виноват?» явился образ Любоньки Круциферской. По словам Горького, это «первая женщина в русской литературе, поступающая как человек сильный и самостоятельный»[62]. Круциферская погибает в неравной борьбе за свое счастье, но сознание духовной силы этой женщины, ее превосходства не только над мужем, но и над Бельтовым, не оставляет читателя.

Характер Круциферской намечен автором при первом же знакомстве с ней читателя. «Она должна была понять,— замечает Герцен о судьбе маленькой Любоньки,— всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бель-этаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа...» (IV, 214). Белинский, находя, что Круциферская «гораздо интереснее в первой части романа, нежели в последней», ставил в заслугу Герцена, что им «резко было очерчено ее положение в доме Негрова. Там она хороша молча, без слов, без действий. Читатель угадывает ее, хотя не слышит от нее почти ни слова»[63]. Разви-

---

[60] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 808.
[61] Там же, стр. 812.
[62] М. Горький. История русской литературы, стр. 168.
[63] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 808.

тие образа показано Герценом меткими, четкими штрихами. Глубокая, серьезная натура Любоньки встает из записей ее дневника; «она бежала в самое себя,— объясняет Герцен возникновение «журнала»,— она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли...» (IV, 234). Читатель ждет от Любоньки решительных шагов, смелых и беззаветных действий, подвига. «Она тигренок, который еще не знает своей силы»,— говорит о ней Крупов (IV, 250).

Однако силы Круциферской не находят применения. Они наглухо заперты в условиях бесправия женщины, на которое обрекает ее несправедливый общественный строй. Встреча с Бельтовым создала иллюзорную надежду на выход из тупика. Именно потому Любонька переоценила Бельтова — ей хотелось, чтобы он был таким, каким описывала она его в своем дневнике: «Это такой сильный человек, что я не могу не любить его. Это человек, призванный на великое, необыкновенный человек; из его глаз светится гений» (IV, 350), «его огненная, деятельная натура, беспрестанно занятая, трогает все внутренние струны, касается всех сторон бытия» (IV, 353). Но в действительности Бельтов бессилен. Добролюбов справедливо заметил, что Круциферская даже «выше Бельтова»[64]. Последний сам признается Крупову: «Изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо! Как это сделалось в ней, что те результаты, за которые я пожертвовал полжизнью, до которых добился трудами и мучениями и которые так новы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто выработанное, были для нее простыми, само собою понятными истинами; они ей казались обыкновенны» (IV, 369—370).

В идейном комплексе романа это превосходство Круциферской над Бельтовым имеет немаловажное значение как свидетельство поисков Герценом подлинно положительного героя в направлении, наиболее близком революционным разночинцам. Любонька — предвестница женских образов Чернышевского, Слепцова и других писателей-демократов. Дочь крепостной (быть может, также для этой переклички с сыном бывшей крепостной Бельтовым Герцену была важна история Софи), Любонька ближе к народной жизни, чем кто-либо другой из героев романа. Она записывает в своем дневнике: «Видно, крестьянская кровь моей матери осталась в моих жилах!.. Не могу никак понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей, которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их, а ведь те

---

[64] Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. II, стр. 25.

учились и все — помещики, чиновники, а такие все противные...» (IV, 233).

Для Герцена сороковых годов образ Любоньки еще не мог стать источником социального оптимизма, но именно здесь намечалось преодоление писателем мрачного взгляда на передовые силы русского общества, от Бельтовых до Круциферских и даже Круповых. В этой связи будет уместно напомнить о забытой статье А. Шеллера ««Кто виноват?» (по поводу романа того же названия)», отразившей несомненное влияние революционно-демократического понимания Герцена и его романа. «Если бы этот роман,— говорит Шеллер,— писался автором *в более близкое к нам время,* то я уверен, что *развязка его была бы совсем иная, более отрадная»* [65].

Богатство проблем и образов романа Герцена, контрасты его содержания определили художественное своеобразие произведения, выразившееся, в частности, в резких взаимопереходах различных стилевых приемов писателя. Сатирические страницы о Негровых (главы I и II) сменяются историей семьи Круциферских (гл. III), и Герцен, чья злая, острая ирония только что бичевала врага, находит теплые, проникновенные слова для серьезного, сочувственного рассказа о жизни бедных тружеников. Трогательна сцена прощания стариков Круциферских с Митей, уезжавшим в Москву. «Бедный отец прощается не так, как богатый; он говорит сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба; я более для тебя ничего не могу сделать; пролагай свою дорогу и вспоминай нас!» И увидятся ли они, найдет ли он себе хлеб,— все покрыто черной, тяжкой завесой... Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности; он десять раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать — сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего не достает, и знает, что негде взять... Эти сцены, неизвестные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце! Хорошо, что они скрыты!» (IV, 219—220).

Сатира и тонкий лиризм сочетаются в романе часто в пределах одной и той же главы. Так построена, например, глава «Житье-бытье». «О, ненависть, тебя пою!» — восклицает Герцен (IV, 235). Описание дня Негровых пронизано этой ненавистью, проступающей из-за внешней насмешливости и

---

[65] «Русское слово», 1865, XII, отд. II, стр. 10 (курсив наш.— *В. П.*). «Сочувствие к Герцену» в статье Шеллера раздраженно отмечал в письме к Тургеневу Гончаров, в то время — член Совета по делам книгопечатания (см. сб. «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев». П., 1923, стр. 44, письмо от 27 февраля (10 марта) 1866 г.).

вереницы легких, блестящих острот. Но Герцен переходит к истории любви Круциферского, и весь тон рассказа меняется, становится задумчивым, сдержанным. Стремясь противопоставить духовный мир Любоньки и Круциферского «тучной жизни» Негровых, автор в характеристике своих молодых героев использует романтические приемы. Насквозь романтична сцена объяснения в любви за чтением баллад Жуковского. Романтическая взволнованность становится присущей авторской речи: «Пришедши к себе в комнату, он схватил лист бумаги; сердце его билось; он восторженно, увлекательно изливал свои чувства; это было письмо, поэма, молитва; он плакал, был счастлив, словом, писавши, он испытал мгновения полного блаженства. Эти мгновения, обыкновенно реющие, как молния,— лучшее, прекраснейшее достояние нашей жизни...» и т. д. (IV, 236). Ярко романтичен образ женевца Жозефа; выше мы отмечали романтическую поэтизацию Бельтова, особенно выпукло отразившуюся в дневнике Круциферской, и т. д. Но те же романтические приемы пародируются автором в применении, например, к Глафире Львовне; достаточно напомнить сцену на балконе или рассказ Элизы Августовны «о том, как одна,— разумеется, княгиня,— *интересовалась* одним молодым человеком, как у нее (т. е. у Элизы Августовны) сердце изныло, видя, что ангел-княгиня сохнет, страдает; как княгиня, наконец, пала на грудь к ней, как к единственному другу, и живописала ей свои сомнения, прося ее совета; как она разрешила ее сомнения, дала советы, как потом княгиня перестала сохнуть и страдать, напротив, начала толстеть и веселиться» и т. д. (IV, 238).

Смелое новаторство Герцена с особой яркостью проступает в языке произведения. Реакционная критика подвергла язык романа «Кто виноват?» ожесточенному обстрелу за «нарушение» литературных норм. В действительности же Герцен обогащал русский литературный язык. Он вводит в роман многие народные выражения, создает неологизмы, обильно использует литературные цитаты и намеки, например: «чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек»[66] (IV, 227), или «Софья Алексеевна поступила с почтмейстером точно так, как знаменитый актер Офрень с Тераменовым рассказом...» (IV, 289). В неожиданно сниженном, прозаическом значении вводятся библейские образы: «Ситец был превосход-

[66] Намек на стихи из поэмы Данте «Божественная комедия» («Рай», глава XVII), известные Герцену, вероятно, по переводу А. С. Норова («Литературный листок», 1824, IV, стр. 175):

«Ты должен испытать средь многих злоключений,
Сколь горек хлеб чужой, как тяжело стопам
Всходить и нисходить чужих домов ступени...».

ный; на диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сара грозилась; на креслах с правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сары, а с левой — их головы» (IV, 216). Яркое впечатление оставляет неожиданное употребление слов: «сестра, оседлая и довольно богатая» (IV, 210), «саранча босых, полуголых и полусытых детей» (IV, 225), глаза «помойного цвета» (IV, 262); встречаются непривычные сравнения, например: «Лишенные верхушек своих, липы, с торчащими к небу ветвями, сбивались на колодников, которым обрили полголовы в предупреждение побега» (IV, 341). Правда, порою у Герцена при этом брала верх его «страстишка беспрестанно острить», которую отмечал у автора «Кто виноват?» еще Белинский, оговаривая, впрочем, что в его повестях «такого рода выходки бывают удивительно хороши» [67]. Когда Герцен, например, пишет, что Глафира Львовна «сделалась Adansonia baobab [68] между бабами» (IV, 200), то это была малосодержательная игра слов, каламбур как самоцель. Или, рассказывая о трагической смерти мужа Элизы Августовны, актера французской труппы, Герцен снова, как он однажды выразился, не мог «расстаться с дурачествами иронии» (II, 147). Рассказ пересыпан остротами, по существу ничем не оправданными: «по несчастию,— пишет Герцен,— климат Петербурга оказался для него гибелен, особенно после того, как, оберегая с бо́льшим усердием, чем нужно женатому человеку, одну из артисток труппы, он был гвардейским сержантом выброшен из окна второго этажа на улицу. Вероятно, падая, он не взял достаточных предосторожностей от сырого воздуха, ибо с той минуты стал кашлять, кашлял месяца два, а потом перестал по очень простой причине,— потому что умер» (IV, 226—227). Впоследствии Герцен будет настойчиво освобождаться от внешнего острословия, добиваясь идейной выразительности каждого словесного образа.

Красочность и неповторимое своеобразие герценовского стиля казались реакционной критике «исчадием современной беллетристики». При этом критики типа Шевырева весьма откровенно признавались, чем были продиктованы их резкие оценки языка и стилевых особенностей романа. В «Очерках современной русской словесности», напечатанных в «Москвитянине», Шевырев писал: «Существа, которые выводит Искандер

---

[67] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 109, письмо от 6 апреля 1846 г. Ср. в письме И. С. Аксакова к отцу от 11 февраля 1847 г. о «болезненном желании» Герцена «всюду острить» в своем романе («И. С. Аксаков в его письмах», ч. 1, т. I, М., 1888, стр. 420).

[68] Название дерева с очень толстым стволом, растущего в тропических странах.

в своем романе «Кто виноват?» из черного мира жизни, безобразны». Писателей-реалистов сороковых годов критик «уличает» в «тайном сочувствии с той низкою действительностью», которую они изображают. «Это сочувствие выражается упадком самого же искусства, порчею во вкусе, искажением всех его благородных и прекрасных стремлений» [69].

Шевырев обвинял «современную личность», что она «из самой себя хочет... почерпнуть всю жизнь, все содержание, все воззрение на мир, даже самый язык... Искандер,— продолжал Шевырев,— развил свой слог до чистого голословного искандеризма, как выражения его собственной личности» [70]. Для пущего уличения ненавистного «исчадия» Шевырев в том же номере журнала начал печатать свой «Словарь солецизмов, варваризмов и всяких измов современной русской литературы», открывая его словарем «искандеризмов» [71]. Выпад «Москвитянина» подхватывает «Северная пчела»; Булгарин полностью разделяет «ученое» негодование Шевырева по поводу «217 нелепостей, безграмотностей, выражений, чуждых духу и грамматике русского языка» [72].

Для нового читателя герценовские неологизмы давно утратили свой необычный характер — лучшее доказательство, что они отнюдь не противоречили законам языка. Шевырев называет «искандеризмами» такие выражения и термины, как: «он унаследовал от отца удачу» (IV, 220), «попадья была непроходимо глупа» (IV, 226), «он занимался бессистемно» (IV, 298), «рыхлые объятия» (IV, 310), «требовательность» (IV, 346) и т. д. Даже самого придирчивого читателя вряд ли смутят сейчас подобные «вольности». И если отдельные обороты в языке герценовского романа были не совсем удачны [73],

---

[69] «Москвитянин», 1848, I, отд. «Критика», стр. 48.

[70] Там же, стр. 40, 41.

[71] См. там же, стр. 54—67, а также «Москвитянин», 1848, II, стр. 218—221 («Продолжение словаря различных измов. Еще искандеризмы»).

[72] Ф. Б<у л г а р и н>. Журнальная всякая всячина. «Северная пчела», 1848, № 36, стр. 143.

[73] В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский признавал, что «некоторые из... фраз и слов» романа «действительно могут быть подвергнуты осуждению» (Собр. соч., т. III, стр. 844). Ср. в его письме к В. П. Боткину 4 марта 1847 г.: «Он употребляет в повести семинарственно-гнусное слово *ячность* (эгоизм т. е.) (см. IV, 331: «надобно быть или очень ограниченным, или очень ячным, или совершенно бесхарактерным».— *В. П.*), герой его повести говорит любимой им женщине, что человек должен *довлеть самому себе!!* (см. IV, 333: «беда тому, кто не умеет сам себе довлеть».— *В. П.*)» («Письма», т. III, стр. 195). Интересно, что в издании романа «Кто виноват?» 1936 года (М., Гослитиздат) редактор «выправил» стиль Герцена и вместо «ячный» поставил «ясный» (стр. 191); см. также А. И. Г е р ц е н. «Кто виноват?». Саратовское обл. изд-во, 1949, (стр. 160).

то все же прав был Белинский, когда на последних страницах статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал, что «придираться к таким мелочам — значит обнаруживать больше нелюбви к противнику, нежели любви к русскому языку и литературе». «Не понимаем,— писал критик,— когда находит г. Шевырев время заниматься такими мелочами, достойными трудолюбия только известного блаженной памяти профессора элоквенции и хитростей пиитических!» [74].

* * *

Роман Герцена явился событием большого общественного значения. Ап. Григорьев писал о нем как о книге, «наделавшей чрезвычайно много шуму...» [75]. Сам Герцен спустя много лет признавался, что «Кто виноват?» произвел «большую сенсацию» [76]. «Явилась целая тьма новых писателей,— писал брату Достоевский вскоре после появления в «Отечественных записках» «Владимира Бельтова».—... из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров» [77]. Роман вызвал самые противоречивые оценки на страницах журналов и в литературных кругах, и это было лучшим доказательством жизненности и политической актуальности поставленных Герценом вопросов. Как писал тогда Иван Аксаков, «это произведение современное, 19-го века, болезням которого мы все более или менее сочувствуем» [78].

Мы уже видели, что Белинский одним из первых отозвался о «Кто виноват?» как о замечательном произведении большой художественной силы. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский очень тонко определил «Кто виноват?» как роман, «написанный в духе, который наиболее нравился Белинскому» [79].

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский значительное место уделил всесторонней характеристике романа. Анализ основных образов и художественных особенностей «Кто виноват?» позволил великому критику с поразительным проникновением в сущность и своеобразие

---

[74] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 844.

[75] «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 113, письмо к Н. В. Гоголю от 17 ноября 1848 г.

[76] «Звенья», 1933, II, стр. 370, письмо к Ш.-Э. Хоецкому от 15 августа 1861 г. (подлинник по-французски).

[77] Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, М.— Л., 1928, стр. 89, письмо от 1 апреля 1846 г.

[78] «И. С. Аксаков в его письмах», ч. 1, т. I, стр. 421, письмо к С. Т. Аксакову от 11 февраля 1847 г.

[79] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, стр. 233.

таланта Герцена-писателя определить ведущие черты и идейную направленность всего герценовского творчества. Оценки и суждения Белинского, вызванные повестями Герцена сороковых годов, оказались целиком приложимы и к его позднейшим произведениям. До наших дней страницы статей и писем Белинского, посвященные Герцену, остаются лучшими в критической литературе о писателе.

Белинский причислял Герцена к тем поэтам, для которых «важен не предмет, а смысл предмета». «Поэтому,— продолжал критик,— доступный их таланту мир жизни определяется их задушевной мыслию, их взглядом на жизнь» [80]. «Главную силу» таланта Герцена Белинский увидел в «могуществе мысли» [81]. «У Искандера,— пишет критик,— мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительной верностию сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд» [82].

Еще первые главы романа Герцена вызвали у Белинского замечательную и глубоко проницательную оценку всей беллетристики писателя: «*повести в твоем роде,*— писал он Герцену,— т. е. *с глубокою гуманною мыслью в основе,* при внешней веселости и легкости...» [83]. В статье «Русская литература в 1845 году» Белинский восхищался тем, как автор повести «Кто виноват?» «чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица, плоды своей наблюдательности — в действие, исполненное драматического движения» [84].

Следует помнить, что «могущество мысли» в беллетристических произведениях Герцена нередко истолковывалось как слабость его художественного дарования. Так, Вал. Майков в статье о «Петербургских вершинах» Я. Буткова, опубликованной в июльской книжке «Отечественных записок» за 1846 год, рассматривал беллетристику Герцена как «средство выражения его идей в самой популярной форме, возводимой иногда наблюдательностью до художественности». «В повестях своих,— пишет критик о Герцене,— он несравненно более поражает умом, чем художественностью» [85]. Это ложное представление, укоренившееся впоследствии в работах либеральных и реакционных историков литературы, ничего общего

---

[80] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 806.

[81] Там же, стр. 804.

[82] Там же, стр. 830.

[83] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 96, письмо от 26 января 1846 г. (курсив наш.— *В. П.*).

[84] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 23.

[85] Вал. Майков. Критические опыты (1845—1847). СПб., 1891, стр. 280.

не имеет с мыслью Белинского о роли и месте передовых идей в художественном творчестве Герцена.

Герцен был близок критику-демократу именно тем, что его творчество не замыкалось в узком кругу эстетических проблем, а было тесно связано с борьбой передового русского общества против самодержавно-крепостнического строя, социальной несправедливости, лживой морали.

Несмотря на цензурные препятствия, Белинский пытается определить характер этой высокой идейности, присущей творчеству Герцена. Он называет его «по преимуществу поэтом гуманности» и определяет «задушевную мысль Искандера» как «мысль о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, невежеством, и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным добровольным искажением самого себя (явный намек на Бельтова.— *В. П.*)» [86]. Характеристика Белинским этой демократической направленности, гуманности беллетристики Герцена содержала подлинную программу общественного поведения человека. «Гуманность нисколько не находится в противоречии с уважением к высоким общественным положениям и рангам, но она находится в решительном противоречии с презрением к кому бы то ни было, кроме негодяев и подлецов. Она охотно признает общественное первенство людей, но только смотрит на него не с одной внешней, но более с внутренней стороны. Гуманный человек обойдется с низшим себя и грубо развитым человеком с тою вежливостью, которая тому не может показаться странною или дикою, но он не допустит его унижать перед ним свое человеческое достоинство... Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважают в других человеческого достоинства, и еще более оскорбляется и страдает, когда человек сам в себе не уважает собственного достоинства... Вот это-то чувство гуманности,— заключает Белинский,— и составляет, так сказать, душу творений Искандера. Он ее проповедник, адвокат» [87].

Трудно было в подцензурной статье более четко и определенно передать демократический пафос романа.

Белинский ценил в Герцене-писателе «глубокое знание изображаемой им действительности» [88] и отмечал своеобразие его реализма: «Он может изображать верно только мир, подлежащий ведомству его задушевной мысли; его мастерские очерки основаны на врожденной наблюдательности и на изучении известной стороны действительности... выводимые им лица не суть чистые создания фантазии, это скорее мастерски

[86] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 806.
[87] Там же, стр. 811.
[88] Там же, стр. 830.

обделанные, а иногда и вовсе переделанные материалы, целиком взятые из действительности» [89].

Это было написано в связи с «Кто виноват?» и «Доктором Круповым» и задолго до первых глав «Былого и дум»!

Литературная деятельность Герцена вызвала озлобленную критику на страницах реакционной печати. Шевырев еще в 1846 году писал в «Москвитянине», в связи со статьей «Капризы и раздумье», опубликованной в «Петербургском сборнике», что мысль Герцена «зачалась в сфере чистого отвлечения» и «отреклась от жизни с самого начала своего рождения», «от нечего делать она будет бесплодно заботиться о том, как бы перестроить домашнюю жизнь людей, как будто бы эта жизнь может вытечь из какого-нибудь отвлеченного процесса, как будто бы она может быть разрешена, как философская тема» [90]. Тем самым Шевырев пытался убедить читателя в незыблемости крепостнического уклада, в бессилии революционных идей поколебать устои самодержавного строя. «Насилие,— писал он,— должно быть обезоружено и побеждено любовью страдания, ...не время уже в жертве возбуждать ненависть...» [91].

Шевырев, таким образом, отчетливо формулировал политический смысл литературного творчества Герцена как «возбуждение ненависти». Фаддей Булгарин, давно продавший свое перо III отделению, предпочел со своим «мнением» о романе «Кто виноват?» (точнее — о первом отрывке из романа) непосредственно обратиться к жандармам и в марте 1846 года лакейски доносил Дубельту: «Тут изображен отставной русский генерал величайшим скотом, невеждою и развратником... Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девкой — образцы добродетели» [92]. «Я нахожу всю повесть предосудительною»,— написал на доносе Булгарина Дубельт [93].

Реакционный журнал «Сын отечества» пытался «обезвредить» опасные и «предосудительные» идеи произведения. Роман «Кто виноват?» якобы понравился критику журнала; он называет его «прекрасным», хвалит Герцена за язык — «гибкий, светлый классический» и т. д., лицемерно прикрываясь своей «беспристрастностью»: «Голос наш, если он из *вражеского* стана раздается *в похвалу* сотруднику «Современника», то наверное беспристрастен...». Вся эта дымовая завеса

---

[89] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 813.

[90] «Москвитянин», 1846, II, стр. 187—189.

[91] Там же, стр. 189.

[92] См. Мих. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2, СПб., 1909, стр. 305.

[93] Там же.

славословия потребовалась журналу для того, чтобы под видимым расположением к роману и его автору чудовищно исказить идейный замысел Герцена. «Заглавие романа спрашивает: «Кто виноват?» — пишет журнал.— Тронутый до слез читатель отвечает: одна судьба!... Слава богу, что виноваты *не* люди, а судьба!»[94]. Убеждая читателя, что именно в этом состоит главная мысль романа, рецензент объявляет «лишним» все, что в какой-то мере противоречит его утверждению. Ему кажется, что Герцен «в этом романе... несколько ошибся в форме и ввел в него чуждые главной идее элементы». Так, «сколько *лишнего*,— восклицает он,— относительно главной идеи в «биографиях»» действующих лиц романа. «Есть даже излишние целые биографии, например, г-жи Негровой»; лишним оказалось и «все дубасовское семейство» и т. д. Под прикрытием лживых похвал, обильно расточаемых на протяжении всей статьи, журнал переходит в настоящее наступление на демократическую программу романа. Критик «не понимает» «ужасной идеи: всегда представлять быт провинциальных жителей только с грязной, низкой, отвратительной стороны». «Главная идея романа,— говорит «Сын отечества»,— решительно отстраняла от себя *такие* лица, которые имеют только право проситься в «Мертвые души»». «Если автор,— пишет далее журнал,— хотел дать более простору своему роману, поместить в нем широкую картину русского житья-бытья, то надлежало бы, по главной идее романа, выводить такие лица, которые бы не были похожи на героев «Мертвых душ»». Противопоставляя Герцена Гоголю, журнал уверяет «почтенного автора, что одна патетическая страница его романа стоит дюжины таких карикатурных сочинений, каковы «Мертвые души»». Однако даже «Сын отечества» не может не считаться с явной принадлежностью романа Герцена к гоголевской школе и горько сетует по сему случаю: «подражание Гоголю в иных местах есть важнейший грех книги... Из любви к изящному просим автора не подражать никому, всего менее Гоголю! Автор наш такой оригинальный, такой блистательный талант, который должен идти и развиваться своим собственным путем»[95].

Мы подробно остановились на этой злобной вылазке «Сына отечества», поскольку приемы анонимного критика журнала в борьбе с Герценом и передовым, демократическим направлением в русской литературе в дальнейшем получат широкое развитие в реакционной печати, на протяжении ряда десяти-

[94] Как бы отвечая «Сыну отечества», А. Шеллер в названной выше статье нарочито подчеркивал: «Виноваты люди, виновата среда» («Русское слово», 1865, XII, отд. II, стр. 10).

[95] «Сын отечества», 1847, IV, отд. VI, стр. 28—34.

летий отравлявшей сознание русского читателя лживыми легендами о великом демократе.

Борьба реакции с Герценом-беллетристом шла по всем линиям, от фальсификации идейного содержания романа и повестей писателя до злобных нападок на язык и стиль автора «Кто виноват?» в упоминавшейся выше статье Шевырева.

В статьях «Сына отечества», «Москвитянина», «Северной пчелы» реакционная критика начинала плести легенду о неполноценности художественного творчества Герцена, легенду, в основе которой лежала вражда ко всей деятельности крупнейшего представителя демократической литературы середины прошлого столетия.

Конечно, реакционные домыслы продажных журналистов не могли ослабить большого общественного влияния романа Герцена. Белинский метко писал в связи с этим о Шевыреве, что тот грозит «издалека своему противнику шпилькой или булавкой, когда нет возможности достать его копьем» [96].

Широкие круги русских читателей, вслед за Белинским, встретили роман Герцена с восторгом. Герцен, писал впоследствии (1860) Н. И. Сазонов, «стал одним из любимейших писателей молодежи» [97].

Огарев, который познакомился с началом романа «Кто виноват?» еще в дни своего приезда в Новгород (март 1842 г.) и, видимо, тогда не был полностью удовлетворен им, в январе 1846 года писал Герцену: «Несколько слов о повести: ведь я тебе говорил, что она исправима и может быть очень хороша» [98]. В письме от 27 июня (9 июля) 1847 г. он признавался другу: «Эта повесть на меня всегда производит сильное впечатление, она слишком близка...» [99]. Грановский отзывался о «Кто виноват?» как о «повести, исполненной ума, живости и метких замечаний» [100]. А. Галахов в статье о русской литературе 1847 года отметил у Герцена «глубокий взгляд на жизнь» и поставил роман Искандера «гораздо выше» «Обыкновенной истории» Гончарова [101].

Влияние «Отечественных записок» и в них — повестей Герцена, наряду с критикой Белинского, испытал в сороковых годах молодой Салтыков, о чем он сам писал в своей автобио-

---

[96] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 844.

[97] «Из литературного наследства Н. И. Сазонова». «Литературное наследство», № 41—42, 1941, стр. 198.

[98] «Из переписки недавних деятелей». «Русская мысль», 1891, VIII, стр. 23.

[99] Цитируется по публикации Ю. Красовского, печатающейся в «Литературном наследстве», № 61.

[100] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 422, письмо к Н. Г. Фролову, февраль 1846 г.

[101] «Отечественные записки», 1848, I, стр. 21.

графии 1878 года [102] (правда, имя Герцена было им зачеркнуто в рукописи, но поскольку автобиография предназначалась для печати, есть все основания предполагать, что писателем руководили при этом исключительно цензурные соображения). По наблюдению новейшего исследователя, повесть Салтыкова «Противоречия» (1847) продолжала темы «Кто виноват?» [103].

Упоминания о «Кто виноват?» мы встречаем в дневнике Чернышевского за 1848 год [104], в «Реестре прочтенных книг», сохранившемся в архиве Добролюбова [105]. Как и вся беллетристика Герцена, роман сохранил свою популярность и для читателей следующего десятилетия. Агент III отделения в середине пятидесятых годов доносил, что, по словам книгопродавцев, «решительно нельзя найти ни одного полного экземпляра (исключая разве в одних только частных домашних библиотеках) «Отечественных записок» и «Современника» вышеозначенных годов (т. е. 1845—1847 гг.— *В. П.*), где помещены повести Искандера... все они вырезаны и вырваны и ходят по рукам особенными книжками» [106].

Имеется немало других свидетельств, показывающих широкое распространение романа Герцена в пятидесятых и последующих годах, несмотря на долгое отсутствие новых изданий в России (лондонское издание романа 1859 года было доступно, разумеется, весьма ограниченным кругам русских читателей). Автор анонимной брошюры о Герцене, изданной в 1870 году (по предположению Б. П. Козьмина, это был В. А. Зайцев), писал: «В России имя Искандера, повторяемое шопотом, тем не менее не было забыто, и поколение, которое шло за людьми конца сороковых годов, все так же любило запрещенного автора. Трудно было достать полных нумеров «Отечественных записок» 1842—46 годов. Статьи с надписью И — р вырезались, покупались на вес золота, переплетались в драгоценный переплет, читались с чувством чуть ли не религиозным, переписывались друзьями счастливых обладателей этого «священного предания», цитировались при

---

[102] М. Е. Салтыков-Щедрин. Полн. собр. соч., т. I, М., 1941, стр. 82.

[103] См. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография. Изд. 2, доп., т. I, М., 1951, стр. 265.

[104] См. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I, М., 1939, стр. 104; запись от 1 сентября 1848 г.

[105] В записи от 4 июня 1850 г. указано: ««Отеч. Зап.», 1846, т. 45. «Кто виноват?». Вл. Бельтов, эпизод между 1-й и 2-й частями — Искандера». «Эпизод очень занимательный»,— добавляет при этом четырнадцатилетний Добролюбов. См. С. А. Рейсер. Добролюбов и Герцен. «Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук», 1936, № 1—2, стр. 172.

[106] «Царизм в борьбе с А. И. Герценом». «Красный архив», 1937, т. 2 (81), стр. 217—218.

случае и без особенного повода...»[107]. Среди этих статей «с надписью И — р», несомненно, находился и герценовский роман.

Роман «Кто виноват?» давал читать студентам Главного педагогического института Добролюбов[108]. Возможно, что это произведение было обнаружено среди «печатных и переписанных сочинений Герцена», оказавшихся у Добролюбова при обыске, о котором рассказывает в своих воспоминаниях его товарищ по Педагогическому институту М. И. Шемановский[109]. Летом 1858 года роман Герцена читал Писарев[110].

Любопытно, что в начале 1855 года прочел «Кто виноват?» такой далекий Герцену писатель, как А. К. Толстой, причем одолжил ему эту книгу... Б. М. Маркевич, впоследствии печально прославившийся своими «антинигилистическими» писаниями. Толстому понравился роман Герцена: «Это — замечательная повесть, прелестная, одно из тех произведений, которое останется навсегда и которое не может пройти незамеченным, так как оно все написано одним сердцем»[111]. Но, восторженно отзываясь о романе, он в то же время пытается противопоставить его другим произведениям критического реализма сороковых годов: «Все эти писатели *натуральной школы* скучны и утомительны сравнительно с этой книгой!»[112]. Подлинное значение «Кто виноват?» как одного из самых значительных достижений гоголевского направления в русской литературе в целом оставалось А. К. Толстым непонятым. Отсюда вытекали его нападки на стиль романа, по мнению Толстого, «очень плохой (в смысле синтаксиса)», потому что «на всякой странице встречаются qui pro quo — смешные двусмысленности...»[113]. Тем не менее самый факт бытования романа Герцена в середине пятидесятых годов в далеких от демократического движения литературных кругах весьма характерен. Недаром журнал «Книжник» в шестидесятых годах, в заметке, специально посвященной «Кто виноват?» в связи с новым изданием романа, признавал, что содержание его «известно давно уже большинству читающей публики»[114]. Правда, содержание романа было

---

[107] «А. И. Герцен. Несколько слов от русского к русским». «Литературное наследство», № 41—42, стр. 167.

[108] См. его письмо к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г. («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», т. I, М., 1890, стр. 316).

[109] См. «Литературное наследство», № 25—26, 1936, стр. 286.

[110] См. его письмо к Л. Н. Майкову, конец июня — начало июля 1858 г. («Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению». М.— Л., 1940, стр. 143).

[111] «Из переписки гр. А. К. Толстого, 1851—1875 гг.». «Вестник Европы», 1897, апрель, стр. 618, письмо от 8 января 1855 г.

[112] Там же.

[113] Там же.

[114] «Книжник», 1866, № 2, стр. 116.

сведено в заметке к семейной драме Круциферских, «оптическому обману» семейного счастья [115]. Нет сомнения, что русская «читающая публика» в действительности значительно глубже и острее воспринимала идеи герценовского романа. Сочувственные упоминания о «Кто виноват?» многократно встречаются в русской журналистике второй половины пятидесятых — шестидесятых годов. Так, например, «Иллюстрация», говоря о «Тысяче душ» Писемского в редакционной заметке, посвященной русским журналам, неожиданно вспомнила и о романе Герцена, подчеркнув его «общечеловеческое, гуманное значение» [116]. Мы уже упоминали о статье А. Шеллера в «Русском слове», в которой роман Герцена характеризовался, как превосходный, и т. д.

Наиболее красноречивым свидетельством непрекращавшегося интереса к роману «Кто виноват?» в среде русских читателей следует считать постоянное обращение в литературно-критических статьях, публиковавшихся в журналах той поры, к образу Бельтова. Правда, оценки Бельтова в условиях сурового цензурного режима и запрета имени Герцена для печати были почти единственной легальной возможностью русской критики высказать свое суждение о творчестве Герцена, что имело особенно большое значение для революционно-демократической критики пятидесятых — шестидесятых годов. Однако для дальнейшей судьбы романа показательно это настойчивое возвращение к его главному герою, предполагавшее несомненное знакомство широких кругов читателей с фактически запрещенным произведением.

Особенно остро тема Бельтова всплыла на страницах русских журналов в связи с полемикой вокруг так называемых «лишних людей», вызванной романом Гончарова «Обломов» (1859). Но еще раньше в первой книжке «Отечественных записок» за 1857 год, Дудышкин в статье о повестях и рассказах Тургенева рассматривал Бельтова как предшественника Рудина [117]. Тем самым герценовский герой был отнесен к определенной группе литературных образов, без какого-либо намека на своеобразие и отличительные качества Бельтова в веренице «лишних людей» — намека, который, как мы видели, уже содержался в высказываниях Белинского и который получил дальнейшее развитие в передовой критике второй половины XIX века.

В февральской книжке «Современника» за 1857 год, в заметках о журналах, Чернышевский, сравнивая Бельтова

---

[115] «Книжник», 1866, № 2, стр. 117.
[116] «Иллюстрация», № 29, 24 июля 1858 г., стр. 63.
[117] См. «Отечественные записки», 1857, I, отд. II, стр. 15.

с Печориным и Онегиным, отвечал Дудышкину: «Надобно ли говорить, что Бельтов совершенно не таков, что личные интересы имеют для него второстепенную важность? Но Бельтов еще не находит никакого сочувствия себе в обществе и мучится тем, что ему совершенно нет поля для деятельности»[118]. Чернышевский подчеркивал разницу между Рудиным и Бельтовым. Через несколько лет, в середине шестидесятых годов, Писарев, в свою очередь, будет категорически утверждать, что «Бельтов так же далек от Онегина, как творец Бельтова далек от Пушкина». «Бельтов не истратил своей молодости на обольщение записных кокеток; Бельтов не был способен убить друга из низкой трусости; Бельтов никогда не мечтал о приятности иметь в груди пулю и никогда не завидовал ни тульскому заседателю, ни бедному откупщику»[119]. Бельтов, по мысли Писарева, изображает собою «мучительное пробуждение русского самосознания. Это люди мысли и горячей любви»[120].

Такое отношение к образу Бельтова особенно показательно на фоне резкого осуждения, которому подвергся самый тип «лишнего человека», как воплощение русского либерала, со стороны передовой русской критики конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, прежде всего в статье Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» и в статье Добролюбова «Что такое обломовщина?».

В интересном «Письме к редактору» «Отечественных записок» по поводу романа «Обломов», опубликованном в журнале одновременно со статьей Добролюбова в «Современнике», некий Н. Соколовский из Симбирска характеризовал Обломова как «продолжение Бельтова, Рудина», как «последний исход их неудачной жизни»[121]. В статье Добролюбова, при видимом сходстве мыслей, тема Бельтова была поставлена несравнимо глубже.

Вслед за Белинским, впервые обратившим внимание, что Бельтов лучшими своими чертами отличается от Печорина, Добролюбов выделяет героя «Кто виноват?» в галлерее «лишних людей» как «гуманнейшего между ними»[122]. Характеризуя Бельтова как человека «с стремлениями, действительно высокими и благородными», но который не только не мог «проникнуться необходимостью», но даже не мог

---

[118] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, М., 1948, стр. 699.

[119] Намек на известные строки из «Путешествия Онегина»: «Питая горьки размышленья...» и т. д.

[120] Д. И. Писарев. Избр. соч., т. II. М., 1935, стр. 237.

[121] «Отечественные записки», 1859, V, отд. III, стр. 73.

[122] Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. II, стр. 20.

«представить себе близкой возможности страшной, смертельной борьбы с обстоятельствами», давившими его[123], Добролюбов продолжал оценку этого образа Белинским. Правда, при этом он все-таки рассматривал Бельтова преимущественно в ряду «обломовцев» и порой даже выражал недоверие герою «Кто виноват?» с целью сблизить «лишних людей» между собой, согласно общей программе статьи.

Горький, высказывая в своих каприйских лекциях мысль, что «Бельтов должен был или войти в кружок петрашевцев, или встать в ряды эмигрантов, только что начавших тогда поход на Европу»[124], развивал как раз то понимание образа Бельтова, которого придерживались в русской критике революционные демократы.

Интересно отметить противопоставление Горьким отношения к женщинам Печорина и Онегина, с одной стороны, и Бельтова — с другой: в то время как «Печорин и Онегин заняты исключительно вопросами о женщине как о любовнице», Бельтовы,— пишет Горький,— «смотрят на женщину уже не как только на источник наслаждения — они ищут в ней товарища на путях жизни, требуют от нее силы, ума, помощи»[125].

Высокая оценка романа Герцена революционными «шестидесятниками» находила косвенное отражение в непрекращавшейся борьбе против «Кто виноват?» со стороны царской цензуры. В 1866 году В. Ковалевскому удалось издать роман в Петербурге, но предпринятое им в 1871 году переиздание было полностью конфисковано властями. Даже в девяностых годах уже упоминавшийся нами цензор Коссович рассматривал «Кто виноват?» как «знамя протеста»[126] и принимал все меры, чтобы не допустить новых изданий романа. Цензурные купюры в романе были сохранены в собрании сочинений Герцена, изданном Павленковым (1905).

В условиях советского социалистического строя замечательное произведение русской демократической литературы пережило подлинно «второе рождение» и стало достоянием народа. На книжную полку читателя поставлены новые многочисленные издания романа, советские дети изучают «Кто виноват?» на школьной скамье. Как никогда, возрос интерес нашего народа к художественным памятникам, как и ко всему драгоценному наследию передовой русской общественной мысли прошлого.

---

[123] Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. II, стр. 26.

[124] М. Горький. История русской литературы, стр. 170.

[125] Там же, стр. 166—167.

[126] «А. И. Герцен и цензура в 1890-х годах». «Красный архив», 1923, III, стр. 223.

III

ПОВЕСТИ «СОРОКА-ВОРОВКА» И «ДОКТОР КРУПОВ»

Повестями «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов» Герцен, как было сказано, собирался принять участие в альманахе Белинского. Опасения критика, что Герцен не успеет написать новую повесть, так как до выхода альманаха осталось слишком мало времени, оказались напрасными. К концу января была закончена «Сорока-воровка» (повесть датирована 26 января 1846 г.), а к 10 февраля Герцен завершает «Доктора Крупова». «Рад я несказанно,— писал ему Белинский 6 февраля 1846 г.,— что нет причины опасаться не получить от тебя ничего для альманаха, так как «Сорока-воровка» кончена и придет ко мне во-время» [1].

Повесть не обманула ожиданий Белинского: «Твоя «Сорока-воровка» отзывается анекдотом,— писал он 19 февраля 1846 г.,— но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор — прелесть, умно чертовски. Одного боюсь: всю запретят. Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды» [2].

Замысел альманаха вскоре, в силу разных причин, отпал, и «Сороке-воровке» было суждено два года ожидать возможности увидеть свет. Разумеется, решающим обстоятельством были трудности, которые вызывались любой попыткой провести повесть через цензуру. Заимствовав сюжет из устных рассказов великого русского артиста М. С. Щепкина (выведенного в повести в лице «известного художника» — рассказчика трагической истории талантливой крепостной актрисы), Герцен создал глубоко волнующее произведение о талантливости и внутренней духовной силе русского человека, о полном бесправии народа в условиях помещичьего произвола и

[1] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 97.
[2] Там же, стр. 102.

гнусных издевательствах, которым подвергается русское крестьянство со стороны крепостников.

«Сорока-воровка» была напечатана в февральской книжке «Современника» за 1848 год. В письме к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. Белинский сообщал, что, несмотря на цензурные изменения в повести, «мысль ярко выказывается» и «Сорока-воровка» «имела большой успех» [3].

Как показывает черновая рукопись повести (датирована 23 января 1846 г.), обнаруженная среди бумаг брата Герцена, Егора Ивановича, и ныне хранящаяся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР [4], публикация «Современника» не может быть признана канонической редакцией текста «Сороки-воровки». В ней оказались пропущенными крайне важные детали, имеющиеся в черновом автографе, причем совершенно бесспорен цензурный характер большей части этих купюр [5]. Изменения в тексте повести производились без участия Герцена, в результате отдельные места «Сороки-воровки» стали просто непонятными для читателя. Например, в рассказе актрисы говорится, что после смерти помещика, первого владельца труппы, «вскрыли бумаги, но в них ничего не нашлось. Новость эта оглушила нас...» (V, 200). О том, что же рассчитывали найти актеры крепостной труппы в бумагах помещика, можно только догадываться; в черновой же редакции было прямо указано: «вскрыли бумаги, но отпускные, написанные нам, затерялись» и т. д. Ряд недоумений возникает вследствие замены в «Современнике» князя в роли соблазнителя — одним из его «любимцев»; непонятно упоминание о «князевых словах» и т. д. Приходится удивляться, что до самого последнего времени «Сорока-воровка» печаталась по искаженному тексту своей первоначальной публикации, без учета тех существенных дополнений, которые позволяет внести черновая рукопись [6].

Повесть «Сорока-воровка» нередко рассматривалась исследователями в узком кругу произведений, в той или иной

---

[3] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 338.

[4] См. «Бюллетени рукописного отдела» Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, II, стр. 32, № 11.

[5] См. подробнее: А. Крестова. К истории текста повести Герцена «Сорока-воровка». «Литературное наследство», № 41—42, стр. 486—489, и К. Н. Григорьян. Повесть А. И. Герцена «Сорока-воровка» (к вопросу о каноническом тексте). «Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка», 1950, вып. 4, стр. 303—310. Черновая редакция повести была впервые напечатана Т. П. Пассек в «Русской старине», 1889, IV, стр. 59—84.

[6] См. К. Н. Григорьян. Указ. соч., и В. А. Путинцев. Новые издания Герцена. «Советская книга», 1950, № 8.

мере затрагивавших тему о крепостном интеллигенте, как, например, романтические повести «Художник» Тимофеева, «Именины» Н. Павлова и др. Между тем вопрос о жизни крепостной интеллигенции для Герцена неразрывно связан с судьбой всего крепостного крестьянства; подобно «Дмитрию Калинину» Белинского, «Сорока-воровка» была прежде всего посвящена проблеме крепостного права в целом.

Именно так оценивал ее Горький, когда в курсе лекций по истории русской литературы говорил: «Герцен первый в 40-х годах в своем рассказе «Сорока-воровка» смело высказался против крепостного права»[7]. В «потрясающей истории крепостной актрисы — затравленной и замученной барином»[8] — Горький справедливо увидел общую трагедию русского народа в условиях самодержавно-крепостнического строя.

Тот факт, что в основу «Сороки-воровки» был положен эпизод, действительно имевший место в труппе владельца крепостного театра в Орле графа С. М. Каменского[9], отнюдь не снижает громадной обобщающей силы повести. Развратный и жестокий крепостник под маской «просвещенного» мецената, князь Скалинский не хуже и не лучше других представителей своего класса. На эту типичность образа помещика в «Сороке-воровке», искусно и тонко обходя цензуру, впервые обратил внимание еще Белинский. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» он отмечал, что Герцен «изображает преступления, не подлежащие ведомству законов и понимаемые большинством, как действия разумные и нравственные». «Злодеев у него мало,— продолжает далее Белинский,— ... только в одной «Сороке-воровке» выведен злодей, да и то такой, которого и теперь многие готовы счесть *за самого добродетельного и нравственного человека*»[10]. Убийственная ирония критика разоблачала лицемерные понятия дворянского сословия о добродетели и нравственности, вместе с тем она подчеркивала типическое значение образа. Князь жестоко расправляется с «великой русской актрисой», потрясающей зрителей своей игрой,— только за то, что она, крепостная раба, осмелилась

---

[7] М. Горький. История русской литературы, стр. 206.

[8] Там же, стр. 183.

[9] А. Н. Плещеев, говоря в письме к Ф. М. Достоевскому от 14 марта 1849 г. о том, как Щепкин рассказывал ему «анекдот», использованный Герценом в «Сороке-воровке», писал: «У него слезы блистали на глазах, когда он говорил о свиданьи своем с этой актрисой, которой он мне и имя назвал, так же как и имена прочих лиц этой повести» («Дело петрашевцев», т. III. М.—Л., 1951, стр. 288).

[10] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 811—812 (курсив наш.— *В. П.*).

на протест против надругательства над ее достоинством женщины и элементарными человеческими правами. В черновой редакции повести он кричит: «Да ты знаешь ли кто я — я твой помещик. Я, дескать, актриса. Нет, ты не актриса — ты прежде всего то, что я захочу». Он бросает на месяц в «сибирку» актера за перехваченную записочку, оттуда несчастного Матюшку приводят на сцену — играть лордов... Видимо, в труппе князя это считается небольшим наказанием: «Да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку,— я тебя не так угощу: *забыли о Сеньке?»* (V, 197; курсив наш.— *В. П.*). Так раскрывается подлинное значение эпиграфа к повести о «ласковом душою хозяине»[11]. И оказывается, с точки зрения морали «многих», отмечает Белинский, князя вовсе не за что осуждать. Напротив, они, «многие», даже могут принимать его за образец поведения... С исключительной остротой критик показал на этом примере силу обличительного пафоса повести Герцена.

Интересно сопоставить с отзывом Белинского другой печатный отзыв о «Сороке-воровке» — П. В. Анненкова из его статьи «Заметки о русской литературе прошлого года», опубликованной в «Современнике» (без подписи автора). Анненков стремится представить повесть Герцена произведением, в котором «все резкое и угловатое» «осторожно обойдено». «С каким уважением к эстетическому чувству читателя,— пишет он,— рассказано происшествие, которое под другим пером *легко могло бы оскорбить его!»*[12]. Либерала

---

[11] В связи с эпиграфом к повести — отрывком из анонимной эклоги «Графу С. М. Каменскому», напечатанной в мартовской книжке «Украинского вестника» за 1816 год (ч. 1, стр. 343—348), возникает вопрос, каким образом этот малопопулярный журнал, выходивший в Харькове три десятилетия назад, стал известен Герцену. Обращает на себя внимание, что в черновой редакции повести эпиграф еще отсутствовал. Наиболее вероятным нам кажется предположение, что эпиграф был подсказан Герцену Белинским при разговоре о «Сороке-воровке», который, несомненно, имел место между ними во время приезда Белинского в Москву в конце апреля — первой половине мая 1846 года. Именно Белинский с его феноменальными познаниями в области русской литературы и журналистики мог запомнить в старом провинциальном журнале прославление знаменитого «сиятельного самодура», присланное в редакцию «Украинского вестника», как указано в примечании, ...самим Каменским. Кроме того, среди знакомых Белинского в начале сороковых годов был один из сотрудников «Украинского вестника» Д. Ф. Кодинец (1796—1857), с которым критик встречался на вечерах у П. А. Плетнева (см. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», СПб., 1896, т. I, стр. 224, т. II, стр. 38). Стихотворение Кодинца «Послание к А. И. Левшину» было напечатано в той же первой части «Украинского вестника» за 1816 год (стр. 230—232). Вполне вероятно, что общение с Кодинцом также могло привлечь внимание Белинского к забытому журналу.

[12] «Современник», 1849, I, отд. III, стр. 21 (курсив наш.— *В. П.*).

и критика-эстета Анненкова пугает одна возможность сделать темные стороны действительности предметом художественного рассказа. Если Белинский подчеркивал революционное значение повести, то Анненков, напротив, стремился ослабить те выводы, которые при всех цензурных искажениях напрашивались читателю «Сороки-воровки». В то же время Анненков понимал, что повесть Герцена в силу ее объективного содержания никак не может быть выдана за произведение «чистого искусства». Вот почему его «похвалы» Герцену завершались резким и неожиданным, на первый взгляд, выводом: «Если во всем этом нет чистого художества, то есть *художническая, так сказать, изворотливость*, всего лучше доказывающая всегдашнее присутствие мысли, беспрестанно отыскивающей для себя необходимый исток» [13].

Повесть Герцена проникнута безграничной верой писателя в неиссякаемые творческие силы и талантливость русского народа. Много лет спустя, в статье, посвященной памяти Щепкина, Герцен причислял его и Мочалова к «тем *намекам* на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России» («БиД», 774). Таким же «намеком», укреплявшим связи демократа Герцена с народными массами России, был трагический образ крепостной актрисы.

В ее протесте Герцен еще не видит исторически действенной, активной силы, горькая исповедь актрисы вызывает у рассказчика тягостное раздумье: «Бедная артистка!.. что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудил тебя? Затем только, чтобы сообщить весть [14] страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя...» (V, 203). Однако образ героини повести не оставляет впечатления слабости; это — гордый и мужественный характер, мятежная, бунтующая душа. «Я слабая женщина,— говорит сама актриса,— вы это сейчас видели, но уверяю, я могу быть и сильной женщиной». «Я и это видел»,— ответил ей рассказчик, «намекая на некоторые выражения» в ее исповеди (V, 201). Не случайно она с таким вдохновением играет несчастную Анету [15] в исторической мелодраме Кенье

---

[13] «Современник», 1849, I, отд. III, стр. 21 (курсив наш.— *В. П.*).

[14] В тексте М. Лемке ошибочно напечатано «вещь» (см. «Современник», 1848, II, стр. 145).

[15] Кстати сказать, отсюда вовсе не следует, что крепостную актрису также звали Анетой; если это имя приписывается ей многими авторами работ, содержащих упоминание или анализ «Сороки-воровки», то либо по недоразумению, либо как условное наименование героини повести.

и д'Обиньи «Сорока-воровка» [16],— образ Анеты на сцене как бы дополняет характеристику самой актрисы, глубже и полнее раскрывает ее [17]. Герцен заставляет своего рассказчика подробно говорить о спектакле: когда через несколько страниц читатель узнает тяжелую драму в жизни актрисы, в новом свете предстанет перед ним невинно осужденная дочь беглого солдата — ее «протест, раздирающий душу, обличающий много нелепого на свете», ее «вопль негодования, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю унижения, после потери всех надежд, развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности положения» (V, 194). Так образ актрисы в жизни и на сцене сливается воедино, утверждая моральную силу русского крепостного человека.

В знаменитом письме к Гоголю Белинский указывал на необходимость «пробуждения в народе чувства человеческого достоинства» [18]. Повесть Герцена в одно и то же время свидетельствовала о росте народного самосознания и призывала передовые силы русского общества всеми средствами способствовать ему.

Важнейшим звеном в идейном содержании повести следует считать разговор о театре и русской женщине-актрисе, которым начинается «Сорока-воровка». Спор между собеседниками ведется вокруг вопроса о возможности появления в России великой актрисы, «которая бы вполне удовлетворила всем... требованиям на искусство» (V, 190), но по существу

---

[16] Но не в опере Россини, как ошибочно указывается в некоторых изданиях повести (см., например: А. И. Герцен. Избр. произв., М., 1937, стр. 501; А. И. Герцен. Худож. произв., Л., 1937, стр. 607; А. И. Герцен. Повести и рассказы. Псков, 1949, стр. 292, и др.). Ср. в тексте самой повести: «Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», *хоть по россиниевской опере»* (V, 193; курсив наш.— *В. П.*). См. об этом А. Гербстман. Герцен об искусстве актера. «Театральный альманах. Сборник статей и материалов», кн. 7, М., 1948, стр. 195.

[17] Во всей литературе о театре С. М. Каменского в Орле нам не встретилось упоминания о постановке «Сороки-воровки» на его сцене (см., например, таблицы репертуара крепостных театров в книге: Т. Дынник. Крепостной театр. 1933, стр. 256—316). В Петербурге эта пьеса была впервые поставлена еще в октябре 1816 года (см. «Сорока-воровка, или Палезосская служанка». Историческая драма в трех действиях. Сочинение г.г. Кение и д'Обиньи. Перевод с французского г. Вальберха. СПб., 1816). Вполне возможно предположение, что в устном рассказе Щепкина упоминался совсем другой спектакль, однако Герцен для большей художественной цельности образа актрисы остановился именно на «Сороке-воровке». В связи с этим важно отметить, что при работе над повестью он, несомненно, обращался непосредственно к тексту пьесы: приводимые им слова Анеты и некоторые мизансцены представляют собою буквальные цитаты из указанного выше издания.

[18] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 708.

значение разговора гораздо шире. Речь идет о борьбе Герцена со взглядами западников и славянофилов на общие условия развития русской культуры и русского искусства. «Славянин» откровенно утверждает, что место славянской женщины — «дома, а не на позорище. Незамужняя — она дочь, дочь покорная, безгласная; замужем — она покорная жена. Это естественное положение женщины в семье, если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов» (V, 185—186). Космополит-«европеец» также считает, что на русской сцене не может быть актрисы, «которая была бы не хуже Марс, Рашель» (V, 195), но причину этого он видит в национальной ограниченности русской культуры: «если мы и перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтоб глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как сыграет русская актриса Деву Орлеанскую?» (V, 189).

Герцен, мысли которого в разговоре выражает «молодой человек, остриженный под гребенку», спорит и с тем и с другим, по существу одинаково отрицающими духовные богатства, стремление к независимости и сознание достоинства человеческой личности, таившиеся в русском народе. Для него неприемлемы и славянофильская проповедь патриархальной покорности и барское пренебрежение либерала-западника к русскому национальному искусству.

Тяжелые условия жизни русского народа под ярмом крепостников не дают ему возможности в полной мере развить свою внутреннюю одаренность — таков глубокий вывод, к которому приводит читателя рассказ «известного художника», ответ Герцена на поставленный в начале повести вопрос: «не без причины же это» (V, 185).

Герцен выступает в повести как убежденный реалист и демократ, сознательно устремляющий все художественные средства, которыми он располагает, на разрешение больших идейных задач, поставленных им в своем творчестве. Художественное своеобразие стиля Герцена получает в «Сороке-воровке» яркое выражение. Герцен уже в беллетристике сороковых годов не останавливается перед сочетанием публицистики с художественным повествованием. Он смело начинает повесть публицистическим по своему характеру разговором. Правда, на первых порах писатель не достигает необходимой цельности; рассказ художника выглядит иллюстрацией к заранее высказанному тезису, но само сочетание публицистического и художественного слова останется одним из основных положений всей эстетической системы Герцена.

«Сорока-воровка» — повесть резких социальных контрастов. На одном ее полюсе — князь и его окружение, носители того «царюющего зла», о котором писал в одном из своих стихотворений Добролюбов [19]. С первых же упоминаний об этом мире показного блеска и внутреннего ничтожества становится очевидным, что рассказчику он тяжел и неприятен. Ему запомнилось, как князь в своей конторе «раздавал билеты, с глубоким обсуживанием, достоин или нет и какого именно места достоин приславший за билетом» (V, 192). На спектакле художник, скучая, «смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же, на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе» (V, 193). После спектакля, когда рассказчик, пораженный игрой крепостной актрисы, устремился за сцену, его остановил один любитель театра: «Он кричал мне, выходя из своего ряда: «А ведь Анета-то недурна была, как вам? Очень недурна, немножко манеры тривиальны»». Художник не стал возражать ему: «его бы не убедил, а время терять не хотел» (V, 195). Видимо, он хорошо знал цену подобных «любителей» искусства. И все же художник даже не предполагает, какое насилие и произвол господствуют за кулисами крепостного театра, не догадывается об истинном лице этого аристократа, в труппу которого он собирается поступить. «Мы остались, кажется, довольны друг другом»,— говорит он о первой встрече с князем (V, 192). На спектакле рассказчик случайно взглянул на князя: «он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой! Он, верно, умел вполне ценить такую актрису, подумал я» (V, 194). Постепенно, от эпизода к эпизоду, у художника — а вместе с ним и у читателя — открываются глаза на подлинный смысл и значение событий. Он сталкивается с дикими порядками, установленными князем для своих актеров, случайно становится свидетелем расправы с крепостными артистами — «и желание идти в княжескую труппу начало остывать» (V, 197). Своего кульминационного пункта разоблачение князя достигает в рассказе актрисы, окончательно срывающем с крепостника его лживую маску. Так сложно, по многим пересекающимся линиям и направлениям, строится в небольшой повести Герцена образ князя. Крайне знаменательны заключительные слова рассказчика, обобщающие характеристику всего крепостного уклада жизни: «Через два часа

[19] Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. VI, М., 1939, стр. 252.

мы попрыгивали в кибитке. Мне было скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу; я пробовал и на дорогу смотреть, и по сторонам, и сигареты курить,— ничего не помогало. Да и, как на смех, небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями, все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы; оттого ли, что я видел их в обратном порядке, или отчего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господские дома с парками и оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными» (V, 204).

Светлым и чистым выступает на этом фоне образ героини повести — крепостной актрисы. Читатель знакомится с ним сначала через Анету в «Сороке-воровке», потом — непосредственно, но всюду рассказ о великой русской актрисе, ее трагической судьбе ведется Герценом в взволнованных, несколько торжественных тонах. Напомним портрет ее в передаче художника: «Я смотрел на нее сквозь слезы, смотрел, и грудь моя поднималась. Лицо ее, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказание: в каждой черте можно было прочесть ту исповедь, которая звучала в ее голосе вчера... Огромные черные глаза блистали не восточной негой, а как-то траурно, безнадежно: огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее». И далее: «Зачем тут не было Кановы или Торвальдсена? вот статуя страдания,— страдания внутреннего, глубокого! Что за благородная, богатая натура,— думал я,— которая так изящно гибнет, так страшно и так грациозно выражает несчастие!..» (V, 198—199). Портрет этот настолько выразителен, что, в сущности, заключает в себе весь образ; действительно, как говорит рассказчик, «к этим чертам, к этому лицу прибавлять много не было нужды: несколько собственных имен, несколько случайностей, чисел; остальное было высказано очень ясно» (V, 198). Впечатлениями художника от ее игры в спектакле и этим портретом читатель подготовлен к трагической исповеди актрисы; «скажу вам откровенно,— признается ей художник,— я бы мог вам рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого ни слова... Я ее знаю» (V, 199). Может показаться, что Герцен при такой композиции образа ослаблял значение самого рассказа героини, но в действительности именно теперь этот рассказ ожидается с наибольшим напряжением. История актрисы должна была оправдать тот образ, который уже сложился у читателя, и Герцен блестяще решает эту задачу. Рассказ актрисы, служивший, как было отмечено, важнейшим звеном в характеристике князя, стал идейным средоточием всей повести; неудивительно, что именно эти страницы «Сороки-воровки» подверглись особенно значительным цензурным искажениям.

Рассказ актрисы глубоко эмоционален. Страстная взволнованность отразилась в самом строе ее речи: «Итак, все кончено — и талант, и жизнь... прощай, искусство, прощайте, увлечения на сцене» (V, 202). Всего на нескольких страницах Герцен раскрывает мучительную драму женщины и большого таланта — жертвы крепостного строя.

«Сорока-воровка» — повесть огромного социального значения, свидетельство пристального изучения писателем-революционером русской действительности, выдающееся произведение критического реализма в русской классической литературе.

Две недели отделяют «Сороку-воровку» от другой повести Герцена — памфлетических записок доктора Крупова, создателя оригинальной теории о «родовом безумии человечества»[20]. Белинский торопил с присылкой повести, и Герцен, закончив «Сороку-воровку», тотчас принялся за «Крупова». Замысел повести, которым он поделился с критиком (письмо Герцена, к сожалению, не сохранилось), встретил горячее одобрение Белинского. «Мысль «Записок медика»,— писал он Герцену 19 февраля 1846 г.,— прекрасна, и я уверен, что ты мастерски воспользуешься ею»[21]. Повесть Герцена к тому времени была уже закончена.

Впервые «Доктор Крупов» был напечатан в «Современнике» в 1847 году (кн. IX) с цензурными сокращениями. Еще в октябре 1846 года Герцен писал жене, что ««Записки д-ра Крупова» пропущены с небольшими выпусками» (IV, 425); впоследствии, очевидно, повесть подверглась дополнительным искажениям, и Грановский, например, находил в «Современнике» уже «большие выпуски»[22].

В 1854 году Герцен включил повесть в свой лондонский сборник «Прерванные рассказы», оговорив в примечании, что в «Современнике» она была напечатана «со значительными пропусками, сделанными цензурой» (V, 83). Однако, по всей вероятности, Герцен уже не располагал тогда полным текстом цензурных сокращений.

---

[20] Отдельные высказывания, напоминавшие теорию Крупова, встречались и в ранних произведениях Герцена. В «Записках одного молодого человека», характеризуя малиновцев, он, например, писал, что «больные в доме умалишенных меньше бессмысленны» (II, 446—447). Ср. в «Сороке-воровке»: «образ несчастной служанки носился передо мною. То она стоит, осужденная, так просто, удивительно просто, кругом *сумасшедшие,— их называют судьи,*— и мне становилось горько; никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя быть виноватой» (V, 196; курсив наш.— *В. П.*). Быть может, именно потому, что идейный замысел повести давно отложился в сознании Герцена, он написал «Крупова» в такой короткий срок.

[21] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 102.

[22] См. «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 445, письмо к Герцену, 1847 г.

Записки доктора Крупова — яркая сатира писателя-просветителя на самодержавно-крепостнический строй. Старый врач-материалист Семен Иванович Крупов был знаком читателям еще по роману «Кто виноват?». Но и в главах первой части романа, написанных раньше «Доктора Крупова», и в их продолжении образ Крупова был выдержан преимущественно в бытовом плане. Скептицизм Крупова в романе не принимает формы законченного теоретического обобщения. Напротив, в повести старый доктор показан главным образом в связи с его теорией; исключение составляют лишь страницы, посвященные воспоминаниям о детских годах, но и они непосредственно примыкают к основному содержанию повести — изложению концепции Крупова. При этом образ Крупова отнюдь не стал отвлеченным выражением определенных взглядов, в полной мере сохранив свою реалистическую убедительность.

Из многолетнего опыта своей лечебной практики в маленьком провинциальном городке, из общих наблюдений над жизнью людей, над историей человеческого общества, Крупов делает заключение, что человечество больно безумием и его история — это «автобиография сумасшедшего». Крупов последовательно показывает признаки «безумия» в жизни различных социальных слоев.

Вот богатый помещик — скряга и стяжатель; тем не менее наступали «поэтические минуты его жизни», когда проезжий «высокий сановник» изволил «откушать» у него: «Он бросался в рыбные ряды, покупал стерлядь, ростом с известного тамбур-мажора, и ее живую перевозили в подвижном озере к нему на двор, выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино. Он бегал из комнаты в комнату, бранился с женою, делал отеческие исправления дворецкому, грозился на всю жизнь сделать уродом и несчастным повара (для одобрения), звал человек двадцать гостей...» и т. д. (V, 103). Безумие это, отмечает Крупов, «всякий раз полярно переносилось с обратными признаками на гостя. Гость верил, что он по гроб одолжает хозяина тем, что прекрасно обедал» (там же).

«Особым специфическим поражением мозга» страдает чиновничество. «Однажды помещенные в канцелярию, писаря тотчас подвергались психической эпидемии, весьма быстро заражавшей все нормальное человеческое и еще быстрее развивавшей искаженные потребности, желания, стремления...» (V, 98).

«От чиновников я перешел к прочим жителям города, и в скором времени не осталось ни малейшего сомнения, что все они — поврежденные» (V, 99). «Отовсюду,— пишет Крупов,—

текли доказательства очевидные, не подлежащие сомнению моей основной мысли» (V, 103).

Герцен прозрачно намекает, что истоки «повального безумия» людей лежат в самом социальном строе, в общественном неравенстве людей. По словам Горького, Герцен в «Крупове» «едко обрисовал крепостное право»[23]. «В нашем городке считалось 5000 жителей: из них человек двести были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи семьсот человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые денно и нощно работали, не вырабатывали ничего, а те, которые ничего не делали, беспрерывно вырабатывали и очень много» (V, 99).

Примеры тяжкой душевной болезни Крупов в большом количестве находит в истории человеческого общества, начиная с древнего мира: «везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы» (V, 104). Сатира Герцена повертывается против капиталистического строя на Западе: буржуазная Европа обнаруживает «очень удовлетворительные симптомы» безумия — «и в ирландском вопросе, и в вопросе о пауперизме, и во многих других» (V, 105)[24].

Постепенно Крупов убеждается, что так называемые «сумасшедшие», быть может, самые нормальные люди в этом больном мире: они, «в сущности, и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже можно сказать — гениальнее тех» (V, 93—94). Люди, например, считают полоумным пономарева сына Левку, но Крупов рассказывает, сколько обаяния и непосредственности чувства в этом больном деревенском мальчике, каким преданным и самоотверженным выступает он в дружбе, как трогательно любит природу. «С .чего люди, окружающие его, воображают, что они лучше его? отчего считают себя в праве презирать, гнать это существо тихое, доброе, никому никогда не сделавшее вреда?» (V, 87—88). И рядом сопоставлений Крупов снова доказывает, что «все остальные — юродивые, только на свой лад, и сердятся, что Левка глуп по-своему, а не по их» (V, 88). Говорят, например, «зачем Левка не работает?» Но «все остальные на селе работают без всякой пользы, работают целый день, чтобы съесть кусок черствого хлеба, а хлеб едят для

[23] М. Горький. История русской литературы, стр. 183.

[24] Эти строки отсутствовали в тексте «Современника»; вероятно, они были дописаны Герценом при издании «Прерванных рассказов» на основе собственных впечатлений от жизни Западной Европы.

того, чтобы завтра работать, в твердой уверенности, что все выработанное не их. Здешний помещик Федор Григорьевич один ничего не делает, а пользы получает больше всех... Жизнь его, сколько я знаю, проходит в большей пустоте, нежели жизнь Левки...» (V, 88).

Важно заметить, что среди «повально поврежденных» у Герцена почти отсутствуют крепостные. Они — жертвы этого всеобщего безумия, и в их среде зреет протест против несправедливого устройства жизни. В одном из эпизодов повести Герцен глухо намекает, что крестьяне не всегда покорно терпят угнетение. Тот самый помещик, который добровольно переносит все унижения ради обеда в честь богатого гостя, почему-то предпочитает жить в городе: «не служит, процессов не имеет, деревня в 50-ти верстах, а живет в городе». Были, правда, слухи, рассказывает далее Крупов, «что *один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил: он так испугался его взгляда, что очень ласково отпустил мужика, а сам на другой день перебрался в город*» (V, 102; курсив наш.— *В. П.*).

Однако в революционном движении крестьянских масс Герцен в сороковых годах еще не видел «средства лечения» крепостнических порядков. Крупов называет другие меры: «Во-первых,— истина, во-вторых, — точка зрения, в-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только» (V, 107). Разумеется, цензурные условия принуждали Герцена быть предельно кратким и осторожным в этом вопросе. Но несомненно горячее убеждение писателя, что человечество неизбежно пойдет по пути прогресса, что рано или поздно передовое общественное движение (т. е. «истина», «точка зрения») как в России, так и на Западе «исцелит» этот мир насилия и несправедливости. Некоторые стороны мировоззрения Герцена, безусловно, отразились в пессимизме и скептических парадоксах Крупова [25], но Герцен шел дальше своего героя и никогда не терял веры в светлое будущее народа.

Художественный строй повести разнообразен. В нем сочетаются сатира и мягкий, задушевный юмор, публицистичность и тонкий лиризм. Зрелость художественного мастерства Герцена проявилась в композиции «Доктора Крупова». Если в «Сороке-воровке» он от логических рассуждений переходит к конкретному повествованию, то новая повесть построена

---

[25] Для Грановского, например, записки Крупова были «и художественным произведением и письмом» от Герцена. «Из них я опять,— писал он Герцену,— услышал твой голос, увидел твое лицо» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 446).

иначе: философская теория Крупова заключает его наблюдения над самой действительностью. Творческой удачей Герцена был образ Левки, с характеристики которого начинается повесть. Замысел Герцена был необычен — показать человеческие качества в их естественном развитии на примере больного, умственно отсталого мальчика. Несмотря на парадоксальный характер самого противопоставления Левки «повальному» безумию, писатель создал по-настоящему привлекательный, жизненно правдивый образ.

Картины провинциального быта передают ту реальную основу, на которой возникают первые очертания взглядов Крупова. Чем более утверждается Крупов в своем убеждении, тем резче и сатиричнее становятся его зарисовки, тем беспощаднее его выводы. Лирическая струя в повести, связанная с Левкой и детскими впечатлениями, исчезает, сменяется нарастающим протестом против уродливых общественных отношений. Последние страницы повести — это боевой публицистический памфлет Герцена, художественно подготовленный всем развитием действия.

Глубокий и проникновенный психологический анализ, философские обобщения и социальная заостренность повести делают ее подлинным образцом герценовского художественного творчества. Белинский при первом же знакомстве с повестью отозвался о ней, как о «превосходной вещи» [26], а в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал о «превосходном рассказе» Искандера: «В нем автор ни одною чертою, ни одним словом не вышел из сферы своего таланта, и оттого здесь его талант в большей определенности, нежели в других его сочинениях. Мысль его та же, но она приняла здесь исключительно тон иронии, для одних очень веселой и забавной, для других грустной и мучительной, и только в изображении косого Левки — фигуры, которая бы сделала честь любому художнику,— автор говорит серьезно. По мысли и по выполнению это решительно лучшее произведение прошлого года...» [27].

«Крупов восхитителен»,— писал Белинскому Тургенев 14/26 ноября 1847 г. [28]. Грановский, мнения которого Герцен высоко ценил, назвал «Доктора Крупова» «просто гениальной вещью. Давно я не испытывал такого наслаждения, какое он мне дал. Так шутил Вольтер, во время оно; и сколько теплоты и поэзии...» [29]. Отзыв Грановского, однако, односторонен,

[26] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 104, письмо к Герцену от 20 марта 1846 г.
[27] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 812.
[28] И. С. Тургенев. Собр. соч., т. XI, М., 1949, стр. 69.
[29] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 445.

сатирическая сила теории Крупова не была оценена им в должной мере. Восторгаясь повестью, Грановский оставляет в стороне ее глубокий революционный смысл. В связи с этим следует заметить, что либерал Галахов на страницах «Отечественных записок», в цитированной выше статье «Русская литература в 1847 году», также называл «Записки доктора Крупова» «великим произведением нашей литературы», но характеристика повести в статье Галахова была выдержана в столь расплывчатых и общих выражениях, что не раскрывала подлинного величия сатирического памфлета Герцена. «Это — злая сатира на искажение прав человеческой природы, на близорукое поведение обществ, на их уклонения от законов истинной нравственности,— писал Галахов.— Остроумная и вместе едкая ирония автора поражает не простые глупости и мелкие странности, которые только что смешны, но важные общественные и семейные пороки и заблуждения, которых влияние неизмеримо вредно»[30]. Неопределенная и малосодержательная оценка Галахова была крайне типична для либеральной критики в целом.

Образ Крупова впоследствии неоднократно использовался Герценом. Широкая популярность повести позволяла ему одним упоминанием своего героя высмеивать политических противников «Колокола». В статье, посвященной выступлению графа Панина, одного из руководителей подготовки крестьянской реформы, Герцен, например, писал: «Впрочем, хороши и мы,— забыли нашего старика Крупова. Какого же смысла доискиваемся в словах больного... О, Крупов, прими его, возьми его, облей его холодной водой... еще... еще и еще немного!» (X, 289)[31]. Недаром реакционные круги спустя много лет причисляли повесть Герцена к числу его наиболее революционных выступлений в сороковых годах. В гнусной «Заметке для издателя «Колокола»», открывшей озлобленный поход реакции против Герцена, Катков писал: «Он остался все тот же, каким был, когда с доктором Круповым исправлял мозги человечества»[32].

Своеобразным развитием «психиатрической теории д-ра Крупова» явилось одно из последних произведений Герцена –

---

[30] «Отечественные записки», 1848, I, стр. 21.

[31] Шутливые, иронические упоминания о Крупове встречаются также и в переписке Герцена и близких ему лиц — Белинского, Огарева и других. Ср. в письме Герцена к Огареву от 28 февраля 1864 г.: «И ты, Огарев, скажешь, что это — нормально-разумная жизнь? Крупов и тебе отвел бы один из лучших №» (XVII, 61). Белинский, вспоминая, как Герцен отдал продолжение «Кто виноват?» не в его альманах, а Краевскому, писал Боткину (ноябрь 1847 г.): «...вероятно, для подтверждения фактом теории доктора Крупова о повальном сумасшествии людей» («Письма», т. III, стр. 276).

[32] «Русский вестник», 1862, VI, стр. 837.

«Aphorismata», опубликованное в «Полярной звезде» на 1869 год (кн. VIII)[33]. «Сочинение прозектора и адъюнкт-профессора Тита Левиафанского» ставило своей целью теорией Крупова **оправдать** основанный на «повальном безумии» общественный строй. «Увлекательная теория» Крупова, признается Левиафанский, сначала «сильно подействовала на меня. Я долгое время был под ее влиянием, и сам везде, на практике, в житейских отношениях и в книге, приискивал новые факты и свидетельства в подтверждение главных положений ее. Так, например, я в одном английском авторе, Байроне, нашел замечательную по верности мысль, что если б из Бедлама выпустить больных, а здоровых, вне Бедлама находящихся, запереть, то значительной перемены не было бы заметно» (XXI, 216). Но впоследствии у автора «возникли некоторые сомнения — не в главном положении д-ра Крупова, однако же, в вещах очень важных» (там же). Блестяще пародируя тяжелую семинарски-претенциозную речь церковных «философов», Герцен заставляет Левиафанского полемизировать со своим учителем. Как Крупов мог усомниться в вечной необходимости безумия «для истории и прогресса»? «Без хронического, родового помешательства прекратилась бы всякая государственная деятельность... с излечением от него остановилась бы история» (XXI, 221). Оно есть незыблемый закон жизни: «все зовет к безумию, все жило и живет им»,— провозглашает Левиафанский (XXI, 223). В безумии он видит основу общественной жизни, единственно возможное объяснение ее законов. Памфлет Герцена тем самым разоблачал социальные отношения, основанные на несправедливости и насилии. Призывая круповскую теорию безумия на службу господствующему строю, «афоризмы» Левиафанского еще более усиливали остроту сатиры Герцена, написанной более двадцати лет назад.

Повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов» стали известны русскому читателю, когда Герцен уже находился за границей. Революционный патриотизм великого писателя и демократа привел его к необходимости покинуть Россию и в эмиграции продолжать борьбу за свободу родного народа.

---

[33] Очерк был напечатан также во французском издании «Kolokol'a» (№ 6, 1 апреля 1868 г.), «но русский текст лучше,— писал Герцен сыну 27 февраля 1868 г.,— потому что я весь его написал слогом старого педанта, что придает особую злость каждому слову» (XX, 181).

IV

ГЕРЦЕН НА ЗАПАДЕ.— «ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ» И «С ТОГО БЕРЕГА»

В январе 1847 года, в середине холодной, снежной зимы, Герцен уезжал из России. «Помните ли, друзья,— писал он спустя несколько лет,— как хорош был тот зимний день, солнечный, ясный, когда шесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи, когда мы там в последний раз сдвинули стаканы и рыдая расстались? ...Был уже вечер, возок заскрипел по снегу... Вы смотрели печально вслед, но не догадывались, что это были похороны и вечная разлука» («БиД», 358).

Осуществлялась давняя мечта Герцена: он вырывался из тисков николаевского самодержавного режима.

«Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная речь, я искал независимой арены, мне хотелось попробовать свои силы на воле...» (там же).

Запомнился «столб и на нем обсыпанный снегом *одноглавый* и худой орел с растопыренными крыльями» («и то хорошо — одной головой меньше»,— замечает Герцен; «БиД», 350). На границе прусские жандармы едва не затеряли паспорт, между тем скольких хлопот и волнений стоило получить его! Первый знакомый, случайный попутчик в кабриолете, оказался... шпионом, «зато он не был последний»,— горько шутит Герцен («БиД», 354).

«Берлин, Кельн, Бельгия,— все это быстро прореяло перед глазами» (там же). И, наконец, он в Париже. «Я в него въехал с трепетом в сердце, с робостью, как некогда въезжали в Иерусалим, Рим. И что же я нашел?..» (VI, 65).

Герцен приехал во Францию накануне больших революционных событий. Его первые встречи и первое знакомство с буржуазной цивилизацией Запада, с культурой и общественным укладом крупнейших европейских стран происходили в грозовые дни нарастания революционной волны 1848 года.

В серии «Писем из Avenue Marigny»[1], публиковавшихся в «Современнике» в 1847 году (кн. X и XI), Герцен поделился с русскими читателями своими тягостными впечатлениями от буржуазной действительности Запада.

Лучшая характеристика этих «Писем» оставлена самим Герценом в предисловии к их позднейшему изданию в книге «Письма из Франции и Италии» (Лондон, 1858)[2]. «В них первая встреча с Европой,— писал Герцен,— веселая сначала... да и как же было не веселиться, вырвавшись из николаевской России, после двух ссылок и *одного* полицейского надзора» (V, 109).

Поток парижской жизни, казалось, действительно, на время увлек его. Шутливо и непринужденно, сверкая своим неистощимым остроумием, Герцен рассказывает друзьям в России о своем пути на запад Европы, через Германию, о Париже и парижских театрах, рисует яркие бытовые сцены будничной жизни французской столицы. Однако читатель за комическими подробностями рассказа, легким юмором жанровых сцен постоянно ощущает тревожную, серьезную мысль автора, пытающегося разобраться в том, что происходит на его глазах. Два Парижа открылись перед русским писателем, он образно определяет их как «Париж, стоящий за *ценз*», и «Париж, стоящий за *цензом*» (V, 128). И в каждом событии, свидетелем которого он бывает, в каждой встрече и новом знакомстве Герцен видит столкновение буржуа и «блузника», вопиющие контрасты капиталистического строя. «Есть бедные, маленькие балы, куда по воскресеньям ходят за десять су работники, их жены, прачки, служанки; несколько фонарей освещает небольшую залу и садик: там танцуют под звуки двух-трех скрипок. Это не знаменитый «Mabille» и не «Ranelagh», не канканной памяти «Хижина», где освещение, деревья, трава,— все пропитано сладострастием, где пульс бьется как-то не по-людски, и где шалости иногда бы зашли далеко, если б... не угрызения совести, думаете вы?.. нет, если б не рука муниципала, готовая ежеминутно схватить за ворот... Нет, на этих бедных балах все идет благопристойно; поношенные блузы, полинялые платья из холстинки почувствовали, что тут канкан не на месте, что он оскорбит бедность,

[1] Улица в Париже, на которой жил Герцен.

[2] Первое издание «Писем из Франции и Италии» вышло в Лондоне в 1855 году. Несмотря на то, что текст «Писем из Avenue Marigny» в этих изданиях подвергся изменениям (Герцен сам писал, что «выбросил некоторые подробности, скучные теперь» — V, 108, предисловие к изданию 1855 года), в собрании М. Лемке, в однотомнике «Избранных сочинений» (М., 1937) и других изданиях цикл Герцена произвольно печатался по «Современнику».

отдаст ее на позор, отнимет последнее уважение, и они танцуют весело, но скромно, и правительство не поставило муниципала, в надежде на деликатность учеников слесарей и сапожников. Что, смешно? Очень смешно!» (V, 130—131). Даже из своих театральных впечатлений Герцен выносит сознание внутренней непримиримости Парижа: «Театры держатся теми, кто платит наибольше... театр всего более выражает потребности, интересы мещанства» (V, 131).

Внимательный и вдумчивый наблюдатель, Герцен не мог не увидеть за внешним обликом «прекрасной Франции» гнусное, отвратительное лицо торжествующей буржуазно-мещанской пошлости. Париж предстает перед ним, как он выразится позднее, «краем нравственного растления, душевной устали, пустоты, мелкости».

Тяжелые раздумья мелькают в «Письмах». Впоследствии, в том же предисловии 1858 года, Герцен писал: «Веселый тон писем скоро тускнеет,— начинается зловещее раздумье и патологический разбор. Пестрые декорации конституционной Франции ненадолго могли скрыть внутреннюю болезнь, глубоко разъедавшую ее. Чем пристальнее я всматривался, тем яснее видел, что Францию может воскресить только коренной экономический переворот — 93 год социализма. Но где силы на него?.. где люди?.. а пуще всего — где мозг?» (V, 109). «Письма» рисовали яркий и в значительной мере новый для читателя русских журналов образ «буржуа, проприетера, лавочника, рантье» (V, 131). В тех путевых очерках и заметках, которые печатались тогда на страницах журналов, тема зарубежной буржуазии большей частью решалась крайне поверхностно и односторонне, независимо от того, восторгался ли автор буржуазным Западом и его культурой, как в «Письмах об Испании» Боткина или «Парижских письмах» Анненкова, или предавал его неистовому и злобному поношению, как в путевых дневниках славянофилов. Герцен пытается оценить историческую роль и судьбы буржуазии. В знаменитом сравнении буржуа с Фигаро из комедии Бомарше он показывает, как господство буржуазии неминуемо самоотрицает себя. «Буржуазия явилась на сцену самым блестящим образом в лице хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цирюльника и дворецкого, словом, в лице Фигаро; а теперь она на сцене в виде чувствительного фабриканта, покровителя бедных и защитника притесненных. Во время Бомарше Фигаро был *вне закона,* в наше время Фигаро — *законодатель;* тогда он был беден, унижен, стягивал понемногу с барского стола и оттого сочувствовал голоду, и в смехе его скрывалось много злобы; теперь его бог благословил всеми дарами земными, он обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит

в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством» (V, 132). Так Фигаро «стал аристократом — граф Фигаро-Альмавива, канцлер Фигаро, герцог Фигаро, пэр Фигаро» (V, 134). И Герцен приходит к выводу, что «буржуазия не имеет великого прошедшего и никакой будущности. Она была минутно хороша, как отрицание, как переход, как противоположность, как отстаивание себя. Ее сил стало на борьбу и на победу, но сладить с победою она не могла...» (V, 133).

Блестящие страницы «Писем» посвящены развенчанию буржуазного искусства — театра, драматургии, буржуазной политической экономии, всей растленной культуры лавочников и рантье. В то же время Герцен с большим уважением говорит о лучших традициях передовой французской общественной мысли и литературы. Достаточно напомнить, с какой сосредоточенной серьезностью и даже волнением он рассказывает о расиновском спектакле на сцене «Théâtre Français»: «действительно, есть нечто поразительно величавое в стройной, спокойно развивающейся речи расиновских героев... чтоб понять это, надобно видеть Расина на сцене французского театра: там сохранились предания старого времени, предания о том, как созданы такие-то роли Тальмой, другие Офреном, Жорж...». И далее: «Входя в театр, когда дают Расина, вы должны знать, что с тем вместе вы входите в *иной* мир, имеющий свои пределы, свою ограниченность, но имеющий и свою силу, свою энергию и высокое изящество в своих пределах» (V, 150).

Суровое обличение на страницах «Писем» буржуазного строя, общественных порядков, европейской буржуазной культуры и прямое сочувствие писателя-демократа французскому пролетарию оттолкнули от Герцена русских либералов. Следует отметить, что «Письма», несмотря на то, что в них шла речь о Западе, вызвали пристальное внимание русской цензуры. Герцен, достаточно хорошо, по собственным воспоминаниям, представляя, какие трудности ожидают «Современник» при прохождении его «Писем» через цензуру, сознательно умалчивал о многом из того, что хотелось ему рассказать, а в других случаях прибегал к смутным намекам и иносказательным сравнениям. Тем не менее цензурные власти подвергли «Письма» «исправлениям», особенно существенным в последнем, четвертом письме. «Я решительно не знаю, что делать с этой статьей,— писал Некрасов к Никитенко 21 октября 1847 г.— Я имею письмо Герцена [3], в котором он пишет, что если его письма слишком обрежет цензура, то *не печатать их*. Рассердить Герцена нарушением его воли в таком деле мне не хотелось бы, нам лишиться такого сотрудника очень

[3] Письмо это до нас не дошло.

невыгодно, между тем жаль и не печатать это письмо»[4]. С пропусками и искажениями письмо все-таки появилось в «Современнике»,— цензура не пошла ни на какие уступки, но Герцен, разумеется, понимал бессилие Некрасова отстоять статью в ее первоначальном виде. Известно, что даже печатная редакция «Писем из Avenue Marigny» упоминалась в доносах в III отделение; один из таких осведомителей жандармов именно в связи с четвертым письмом находил у Герцена картину «неудач революций и намеки, что они возобновятся»[5].

Либеральный лагерь был единодушен в своем негодовании и злобе. Корш, Анненков, Боткин и другие не скрывали резко отрицательного отношения к «Письмам» Герцена. Боткин после первых же «Писем» заявил, что «Герцен не дал себе ясного отчета... в значении bourgeoisie, которую он так презирает», и упрекал его, что он «только скользит по вещам», что «главный недостаток» его «писем» — «в неопределенности точки зрения» и т. д.[6]. Галахов печатно, на страницах «Отечественных записок», признался: «Мы недовольны «Письмами из Avenue Marigny»». Он не находит в них ни «оригинальности» содержания, ни «личных впечатлений автора», «его собственного понимания французского общества, парижской жизни»[7]. «Взгляд его заимствованный,— писал Галахов.— Заимствовал же он его из мнений той котерии, которая в истории видит борьбу пролетариев с буржуазиею, бедного и богатого класса народа... Буржуазия создала силу Франции,— продолжал критик,— неужели русский путешественник XIX столетия не видит в ней ничего, кроме злоупотребления власти?»[8].

«Письма» Герцена, напугавшие русских либералов, нашли горячую поддержку Белинского. Великий критик, надо полагать, был знаком с ними раньше, чем «Современник» получил их от Герцена: он был в Париже именно в те дни, когда Герцен писал их. «Эти письма,— вспоминал потом Белинский,— особенно последнее, писались при мне, на моих глазах, вследствие тех ежедневных впечатлений, от которых краснели и потупляли голову честные французы, да и мошенники-то мигали не без замешательства»[9]. Белинский гневно обрушился на «москвичей», выступавших в своем отрицании «Писем»

---

[4] Некрасов. Неизданные стихотворения, варианты и письма. П., 1922, стр. 199.

[5] См. В. И. Семевский. Материалы по истории цензуры в России. «Голос минувшего», 1913, IV, стр. 211.

[6] «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 551—552, письмо к П. В. Анненкову от 12 октября 1847 г.

[7] «Отечественные записки», 1848, I, стр. 21—22.

[8] Там же, стр. 22.

[9] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 326, письмо к В. П. Боткину, декабрь 1847 г.

апологетами буржуазии. «Не знаю, господа,— обращался он в письме к Боткину ко всей группе либералов,— может быть, вы и правы, но я что-то слишком глуп, чтобы понять вас в вашей мудрости»[10]. Письмо Белинского к Боткину по поводу цикла Герцена явилось одной из вершин, на которую поднялась русская передовая мысль сороковых годов в критике буржуазного Запада. «Владычество капиталистов,— писал Белинский,— покрыло современную Францию вечным позором... Все в нем мелко, ничтожно, противоречиво; нет чувства национальной чести, национальной гордости. Взгляды на литературу — что это такое? Все, в чем блещут искры жизни и таланта, все это принадлежит к оппозиции — не к паршивой парламентской оппозиции, которая, конечно, несравненно ниже даже консервативной партии, а к той оппозиции, для которой bourgeoisie — сифилитическая рана на теле Франции»[11]. В более общей форме, в силу цензурных условий, Белинский повторил свой отзыв о «Письмах» Герцена в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»[12].

Знакомство Герцена с Западом предвещало тяжелую драму — крушение иллюзий, утрату веры в революционность буржуазной демократии. В мрачном состоянии, «с горьким сомнением и нерешенными вопросами» (V, 109), Герцен осенью 1847 года оставляет Париж, направляясь в Италию.

Период жизни Герцена в Риме и Неаполе (с декабря 1847 г. по апрель 1848 г.) нашел отражение в цикле писем, первоначальная редакция которого была названа им «Письмами с Via del Corso»[13]. Итальянские письма Герцена также предназначались для «Современника» и должны были служить продолжением «Писем из Avenue Marigny». Однако цензурный режим 1848 года скоро рассеял все надежды увидеть их в русской печати, и «Письма» впервые были изданы на немецком языке в Гамбурге (1850)[14]. Колорит рассказа Герцена в них резко меняется — яркая, бурная жизнь Рима

---

[10] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 326.

[11] Там же.

[12] См. В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 840.

[13] Списки первых трех «Писем с Via del Corso» рукою Н. А. Герцен с исправлениями и дополнениями писателя хранятся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (см. «Бюллетени рукописного отдела» Института, II, стр. 32, № 13); в издании М. Лемке опубликованы в комментариях к «Письмам из Франции и Италии» (VI, 564—613). Via del Corso — улица в Риме, на которой жил Герцен.

[14] В книге «Писем из Франции и Италии» цикл «Письма с Via del Corso» в переработанном виде составил V—VIII письма. Обращает на себя внимание, что текст «Писем из Франции и Италии» (за исключением «Писем из Avenue Marigny» — см. выше, примечание на стр. 101) М. Лемке без всяких оснований печатает по изданию 1855, а не 1858 года.

в «первые светлые дни... пробуждения» Италии (V, 109) производит сильное впечатление на писателя. Недавний свидетель всеобщего упадка и разложения — «смерти в литературе, смерти в театре, смерти в политике, смерти на трибуне» (VI, 1), Герцен оказывается в самой гуще итальянского национально-освободительного движения.

Уроки Парижа на время забываются Герценом: он снова во власти *«буржуазных иллюзий в социализме»* (Ленин). Если «Письма из Avenue Marigny» были отмечены трезвой реалистической мыслью, беспощадной — при всей внешней легкости рассказа — к любым убеждениям и верованиям писателя, то для итальянских писем характерно романтически-восторженное восприятие жизни. «Я обязан Италии,— писал Герцен,— обновлением веры в свои силы и силы других; многие упования снова воскресли в душе...» (VI, 9). Жанровые сцены Парижа сменяются красочной картиной народных празднеств, ликующей толпы: «Народу было, по крайней мере тысяч двадцать; ни хохоту, ни крику, никто не толпился, не давил; ни одного карабинера, ни одного полицейского не было видно (они вообще здесь где-то прячутся, особенно, когда есть демонстрация). Явилась чивика без ружей и стала в ряды народа. Порядок был удивителен; только по временам поднимался крик, который распространялся далее и далее, разрастаясь, как круг в воде от брошенного камня» (VI, 24). И далее: «Кто-то прокричал «Viva i Piemontesi» [15], народ подхватил; при этом вдруг продирается сквозь густую толпу седой, но здоровый старик и начинает благодарить римлян от имени Генуи; слов его я не расслышал, но по мимике можно было догадаться: лицо у него разгорелось, он плакал; в конце речи он закричал: «Viva la liberta» [16], бросил свою папаху вверх и сам бросился обнимать солдата национальной гвардии, потом другого, третьего. Это была сцена из первых дней французской революции» (там же).

Герцен всегда с большим волнением вспоминал о днях, проведенных в Италии, хотя сознание, что действительность не оправдала ожиданий и яркие краски Рима оказались обманом, вскоре овладело им. Рассказ о Риме тех дней в «Былом и думах» он выразительно назвал «Сон» («БиД», 358). К тому времени Герцен уже знал, как тяжело было для него пробуждение. «За дерзкий сон прибавили новый обруч»,— писал он в «Письмах из Франции и Италии» (V, 109).

Приближалось 24 февраля 1848 года. При первом известии о революции в Париже Герцен покидает Рим. «Мне казалось,— писал он в «Былом и думах»,— изменой всем моим

[15] «Да здравствуют пьемонтцы!» (*итал.*).
[16] «Да здравствует свобода!» (*итал.*).

убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика» («БиД», 355). «С каким восторгом летел я снова в Париж! — признавался Герцен в другом месте.— Как было не верить в событие, от которого потряслась вся Европа, в событие, на которое отвечали Вена, Берлин, Милан. Но Франция назначена всякий раз излечивать меня от надежд и заблуждений» (VI, 58).

В Париже Герцен стал свидетелем одной из самых трагических страниц европейской и мировой истории — торжества и дикого разгула буржуазной реакции, потопившей в крови восстание пролетариата.

Поражение революции 1848 года в Западной Европе глубоко потрясло его: «Горько, больно,— писал он друзьям в Россию в августе 1848 года,— я так еще не страдал никогда...» [17]. Герцен говорил, что он плакал на парижских баррикадах, еще теплых от крови, когда палачи генерала Кавеньяка праздновали свою жуткую победу над восставшим народом. «Сидеть у себя в комнате, сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режут, колют, что возле умирают,— от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжкой болезни» (V, 412).

Духовную драму великого демократа вызывало его разочарование в революционных возможностях буржуазной демократии и вместе с тем отсутствие веры в силы революционного пролетариата, непонимание его исторической роли. С необычайной прозорливостью Герцен разглядел непримиримые противоречия капиталистического строя, подвергнув жестокой критике устои буржуазного общества, этого, по выражению писателя, «людоедства в образованных формах» (VI, 99). Но Герцен не видел в пореволюционной Франции и других странах Западной Европы реальных сил и возможностей для продолжения борьбы.

Тяжелые и мучительные переживания, которые вызвало у писателя крушение «гениального вдохновения парижского народа» (VI, 63), как называл он баррикады памятного года, с большой силой отразились на страницах последнего, третьего цикла писем Герцена «Опять в Париже», впоследствии завершившего «Письма из Франции и Италии» [18], и в одной из наиболее любимых им своих книг — «С того берега».

---

[17] «А. И. Герцен. Новые материалы». М., 1927, стр. 47.

[18] Цикл «Опять в Париже» в переработанном виде составил письма IX—XIV «Писем из Франции и Италии». Списки рукою Н. А. Герцен и М. К. Эрн (с исправлениями и дополнениями Герцена) и частично авто-

Цикл «Опять в Париже» возвращает читателя во Францию, однако рассказ о жизни ее столицы звучит теперь совсем по-другому. В «Письмах из Франции и Италии» последовательно запечатлелись переживания и мысли Герцена на протяжении недолгих во времени, но исключительных по своему значению лет; «письма эти,— говорил Герцен,— врасплох остановленные и наскоро закрепленные впечатления времени...» (V, 109). Они были своего рода дневником Герцена, живым и непосредственным отголоском событий. Этим объясняется сложность стиля книги, разнообразие настроений в «письмах», богатство оттенков.

В цикле «Опять в Париже» мы не встретим жанровых картин парижского быта, в то же время из «писем» резко исчезает восторженность итальянских впечатлений. В новых «письмах» сильнее, чем когда-либо в творчестве Герцена раньше, проявилось его выдающееся мастерство публициста. В сущности, «письма» стали публицистическими статьями, сохранившими, однако, всю образность и эмоциональность художественной речи. В «Письмах из Франции и Италии» Герцен впервые создает излюбленную им впоследствии художественную форму, сочетавшую острую публицистичность с художественно обобщенным выражением своих наблюдений. Наиболее полно эта своеобразная форма была воплощена им в «Былом и думах».

Крайне важно отметить, что публицистичность «писем» не только не привела к ослаблению психологической напряженности их содержания, но, напротив, значительно усилила непосредственное воздействие книги на читателя. Речь Герцена стала взволнованнее, чем раньше, последние страницы «писем» наполнены высокой публицистической патетикой: «Vive la mort [19], друзья, и с новым годом! Теперь будем последовательны, не изменим собственной мысли, не испугаемся осуществления того, что мы предвидели, не отречемся от знания, до которого дошли скорбным путем. Теперь будем сильны и постоим за наши убеждения» (VI, 125—126). Книга оканчивается страстным и в то же время скорбным призывом:

«Вам жаль цивилизации.

Жаль ее и мне.

Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения.

граф ранней редакции писем хранятся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (см. «Бюллетени рукописного отдела» Института, II, стр. 32, № 14) и в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина (см. «Описание рукописей А. И. Герцена», стр. 17, № 45); опубликованы в издании М. Лемке (VI, 613—668) и в кн. «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 113—127.

[19] Да здравствует смерть (*франц.*).

Смирение перед неотвратимыми судьбами,— и гордым шагом взойдем в новый год!» (VI, 131).

Книга «С того берега» писалась одновременно с «Письмами из Франции и Италии» и во многом перекликается с ними как своей идейной направленностью, так и художественным своеобразием[20]. «Я люблю эту книгу, как памятник борьбы, в которой я пожертвовал многим, но не отвагой знания»,— писал Герцен в посвящении сыну (V, 382). И действительно, в очерках этой книги воплотилась одна из самых волнующих страниц духовной биографии Герцена — его идейный крах, глубокий скептицизм и пессимизм после поражения революции 1848 года. А. В. Луначарский справедливо отмечал, что эта «изумительная книга, ...книга великих и тяжелых мыслей», «останется вечным памятником... мучительной внутренней трагедии» Герцена[21].

Гениальная ленинская формула, определившая духовную драму Герцена как крах *«буржуазных иллюзий* в социализме»[22], глубоко раскрывает ее идейные истоки. Книга Герцена полна пессимизма, но исторический скептицизм писателя воспринимается как болезнь духовного выздоровления и обогащения. На уроках 1848 года Герцен освобождался от заблуждений, которые преграждали ему путь к пониманию подлинных законов исторического развития; дальнейшая идейная эволюция великого писателя и революционера показала плодотворность и значительность тех тяжелых испытаний, о которых рассказано было в очерках «С того берега». Как писал Н. И. Сазонов, товарищ Герцена еще по кружку Московского университета и один из первых русских эмигрантов, пессимизм Герцена в этой книге свидетельствовал о кризисе, «но кризисе в могучем организме, где неизбежно должно победить здоровое начало»[23].

Как и «Письма из Франции и Италии», очерки «С того берега» полны отрицания буржуазного строя, власти капитала

[20] Очерки, составившие книгу «С того берега», создавались в 1848—1850 годах, за исключением очерка «Перед грозой», написанного в конце 1847 года. Впервые были напечатаны отдельным изданием на немецком языке в 1850 году. На русском языке книга была издана в Лондоне в 1855 году (второе издание — 1858 г.) в значительно измененном виде.

Отрывок из рукописи «С того берега» (глава VIII) хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (см. «Бюллетени рукописного отдела» Института, II, стр. 32, № 15); списки некоторых других отрывков, частично с исправлениями Герцена, имеются в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина (см. «Описание рукописей А. И. Герцена», стр. 18, № 52—54).

[21] А. В. Луначарский. Литературные силуэты. М., 1923, стр. 14.

[22] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 10.

[23] «Из литературного наследства Н. И. Сазонова». «Литературное наследство», № 41—42, стр. 199—200.

над трудом. Глубоко обнажая хищную, человеконенавистническую натуру буржуа-предпринимателя, особенно ярко проявившуюся в дни кровавого террора, Герцен дает убийственную оценку буржуазному «царству социальной антропофагии»: «Каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменения одного и того же людоедства» (V, 424). Но торжество «каннибалов» стояло перед ним совершившимся фактом. В центральной главе книги «После грозы» Герцен с острой болью рассказал о кровавой июньской бойне, похоронившей дорогие для него надежды на революционное обновление Европы. «Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Националя» над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают»,— сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощает такие минуты!*» (V, 413).

Поиски путей дальнейшей борьбы составляют большую заслугу Герцена в его книге. Он не смирился перед реакцией, отчаяние не подавило в нем страстного желания борьбы. «Несмотря на все колебания, сомнения и пессимизм Герцена,— пишет Я. Эльсберг в своей монографии о Герцене,— мы чувствуем в «С того берега», как неустанно бьется его мысль, как неутомимо ищет она такого ответа на мучащие ее вопросы, который указал бы пути научного познания общественной жизни и пути победоносной революционной борьбы» [24].

Драматизм идейных исканий Герцена нашел в очерках «С того берега» глубокое художественное воплощение. Мыслитель и художник составили в книге органическое целое. Яркие картины революционного Парижа и последующего торжества реакции (в главе «После грозы»), над которыми плакал когда-то, по его собственному признанию, Некрасов [25], неразрывно связаны с философским осмыслением событий. Художественный рассказ Герцена вытекает из логических рассуждений автора и завершается его политическим обобщением. Однако этого мало: важнейшей особенностью стиля «С того берега» было искусство Герцена на языке художественных образов рассказывать о тончайших движениях мысли. «Самые искания своей мысли,— пишет Я. Эльсберг,— Герцен делает предметом художественного лирического рас-

[24] Я. Эльсберг. А. И. Герцен. Жизнь и творчество, стр. 242.

[25] См. Н. А. Некрасов. Собр. соч., т. V, стр. 123, письмо к И. С. Тургеневу от 12 сентября 1848 г. Отдельные главы книги Герцен присылал в рукописи друзьям в Россию.

сказа, соединяя его с прямыми философскими отступлениями»[26]. О чем бы ни говорил Герцен — о непосредственных впечатлениях от действительности или о своих попытках разобраться и оценить происходящие события,— его речи в равной степени присуща красочная образность. «Смерть современных форм гражданственности,— пишет он, например, в главе «Omnia mea mecum porto»[27],— скорее должна радовать, нежели тяготить душу. Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременную вдову. Между смертью одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения» (V, 470). Или в другом месте той же главы: «Корабль идет ко дну. Страшна была минута сомнения, когда рядом с опасностью были надежды; теперь положение ясно: корабль не может быть спасен, остается гибнуть или спасать себя. Долой с корабля! на лодки, бревна! — пусть каждый пытает свое счастье, пробует свои силы» (V, 471). Даже в откровенно публицистических местах книги мы не встретим сухих, логических формул,— язык «С того берега» в этом отношении служит прямым предвосхищением языка и стиля «Былого и дум». Отметим в связи с этим, что, как и в мемуарах, Герцен уделяет в очерках «С того берега» большое место диалогу. «Разговором на палубе» открывается книга (глава I, «Перед грозой»), его продолжение составляют диалоги главы «Vixerunt!»[28], в диалогической форме почти полностью написана глава «Consolatio»[29]. Герцен обращается к диалогу как к испытанному изобразительному средству; общение с собеседником позволяло ему полнее и, так сказать, ощутимее для читателя раскрыть свою мысль. Введение диалога в публицистическую канву рассказа приносило тем самым большой художественный эффект. Трудное философское содержание отдельных глав «С того берега» благодаря легко и непринужденно построенному диалогу становилось несравнимо доступнее и ярче. Язык Герцена — художника и публициста в образной, отточенной форме, с предельной простотой и ясностью доносил до читателя мысли великого демократа.

В историю русской и мировой литературы «Письма из Франции и Италии» и «С того берега» по праву вошли как блестящие образцы художественной публицистики; это книги, полные страстной ненависти к капиталистическому строю, которая характерна для всего развития передовой, демократической мысли нашего народа.

[26] Я. Эльсберг. Указ. соч., стр. 252.
[27] «Все свое ношу с собою» (*лат.*).
[28] «Умерли!» (*лат.*).
[29] «Утешение» (*лат.*).

V

«ПРЕРВАННЫЕ РАССКАЗЫ»

Герцен уезжал из России в расцвете своей славы писателя-беллетриста. «Доктор Крупов», только что вышедший полным изданием роман «Кто виноват?», еще не опубликованная, но получившая широкую известность в литературных кругах «Сорока-воровка» выдвинули его в число выдающихся русских писателей, имевших наибольший успех у передового читателя сороковых годов.

Работа над новыми беллетристическими произведениями, быть может, начатыми еще в России, не прекращалась Герценом и за границей — как во Франции, так и в Италии. Читатели «Современника» уже были извещены о «новом романе» Искандера, который будет помещен в журнале[1]. Действительно, в письмах Герцена конца 1847 — начала 1848 года неоднократно встречаются упоминания о его работе над повестью, предназначенной «Современнику». 31 декабря 1847 г. Герцен пишет В. П. Боткину из Рима: «Первая часть или пролог новой повести совсем готов... я, особенно началом, очень доволен. Отошлю, как только получу «Современник»»[2]. В письме к друзьям в Россию от 30 января 1848 г. Герцен сообщает, что «первый отдел повести» им уже послан в Петербург (V, 180). Несомненно, о той же повести говорится в «Литературных воспоминаниях» П. В. Анненкова: «Увлечение потоком развернувшейся перед ним (Герценом.— *В. П.*) жизни отражалось и на планах писательской его деятельности. Он начал повесть из французской революции 89 года с русским деятелем посреди ее и не усомнился послать рассказ в «Современник». Позднее Панаев говорил мне в Петербурге: «Герцен с ума сошел, посылает нам картины французской революции, точно она у нас

---

[1] См. «Современник», 1847, т. V, извещение редакторов журнала об издании «Современника» в 1848 году (стр. 9).

[2] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 41.

дело признанное и позабытое».— Повесть, разумеется, не попала в печать, а явилась за границей в особом сборнике»[3].

Долгое время свидетельства о повести Герцена, содержавшей «картины французской революции», приводили исследователей в недоумение. М. Лемке в комментариях к сочинениям Герцена прямо признавался, что ему эта повесть неизвестна, что трудно сказать, о какой повести говорит Герцен, что не удалось ему и установить, о каком сборнике говорит Анненков (см. V, 180, 184). Б. Эйхенбаум, редактор «Литературных воспоминаний» Анненкова, в примечании к цитированному выше отрывку, ссылаясь на Лемке, также уверял, что «повесть эта не найдена»[4].

Между тем повесть, или, вернее, начало повести, о которой идет речь, была напечатана в самом издании М. Лемке и не представляла никакого секрета для читателя. Повесть эта — «Долг прежде всего», впервые опубликованная в лондонском сборнике «Прерванных рассказов» Герцена, изданном в 1854 году[5].

Когда выяснилось, что в условиях жестокого цензурного режима, «сильнейшего припадка цензурной болезни» (VII, 453), как выразился Герцен, повесть, действительно, не может быть напечатана в России, писатель решил опубликовать «Долг прежде всего» за границей: «Запрещением своим лейб-цензурный аудиториат напомнил мне, что русским пора печатать вне России, что нам нечего сказать такого, что могла бы пропустить военно-судная цензура» (там же). В 1849 году, собираясь приступить к изданию русских книг за границей, Герцен намечал включить в сборник своих произведений начало повести в том самом виде, в каком когда-то посылал его в «Современник». В предисловии к сборнику он писал: «Я не могу теперь ее продолжать и вообще не знаю, когда возвращусь опять к ней. Другие занятия, другая жизнь отвлекли меня от чисто литературной деятельности»[6]. Революционные события в Западной Европе конца сороковых годов и вызванный ими духовный кризис Герцена направили творческие планы и замыслы писателя по новому руслу. Что касается «Долга прежде всего», то в новых условиях, как увидим, для Герцена потеряла свое актуальное значение сама тема задуманного им продолжения повести. Тем не менее он неоднократно предпринимал попытки напечатать законченный отрывок и долго не расставался с мыслью продолжить и завер-

[3] П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 494.

[4] Там же.

[5] См. «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 44.

[6] «Литературное наследство», № 39—40, стр. 170 (предисловие датировано 1 мая 1849 г.).

шить всю повесть. Как известно, издание вольных русских книг за границей в 1849 году не осуществилось: «гонимый из страны в страну, преследуемый рядом страшных бедствий», Герцен был вынужден отложить исполнение своего «предприятия» (VII, 187). Не был напечатан и «Долг прежде всего».

В 1851 году писатель обратился с просьбой издать повесть на немецком языке к журналисту и переводчику В. Вольфсону, с которым он познакомился еще в 1845 году в Москве[7]. Посылая ему текст первых глав, Герцен приписал к повести подробный план дальнейшего развития событий. «Позже, может быть, при иных обстоятельствах,— сообщал он,— я попробую, если не вполне, то хоть частью ее обработать, но не теперь» (VII, 525). В письме к друзьям от 19 июня 1851 г. Герцен писал: «Я хочу напечатать повесть, которую вы, кажется, читали, «Долг прежде всего»...»[8]. Но немецкое издание повести также не увидело тогда света (оно осуществилось в 1887 году)[9].

В начале 1853 года, приступая к «вольному русскому книгопечатанию в Лондоне», Герцен среди «ненапечатанных статей», с издания которых предполагает начинать работу типографии, вновь называет «первую часть романа «Долг прежде всего»» (см. обращение «Братьям на Руси» — VII, 187). Действительно, в 1854 году, в одном из первых же изданий Вольной русской типографии, повесть была опубликована[10].

Повесть «Долг прежде всего», написанная и изданная за границей, примыкает к беллетристическим произведениям Герцена сороковых годов, опубликованным в России. Картины разложения помещичьего быта, морального оскудения русского дворянства, жизнь крепостного крестьянства, забитого и бесправного, попрежнему горячо волнуют писателя.

Пять глав повести, законченных Герценом, излагали историю феодально-крепостнического рода Столыгиных, начиная с середины XVIII века. Они должны были служить своеобразным вступлением к рассказу о центральном персонаже — Анатоле; «для того, чтоб принять участие в сыне,— пишет Гер-

---

[7] См. Фр. Альтгауз. Герцен за границей. «Русская мысль», 1905, XI, стр. 113.

[8] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 74.

[9] Рукопись повести, в свое время направленная Вольфсону и содержащая ряд существенных отклонений от печатного текста (см. разночтения с немецким изданием 1887 года — VII, 499—525), была недавно обнаружена и публикуется в «Литературном наследстве», № 61.

[10] В 1857 году вышло второе издание «Прерванных рассказов», в котором текст повести был напечатан в значительно дополненном виде (в той части, которая содержала ее план «вместо продолжения»). «В первом издании,— писал в сноске Герцен,— тут были пропущены несколько страниц; мы их помещаем в том виде, в котором они были написаны в Ницце в 1851 году» (VII, 459).

цен,— надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных» (VII, 409—410). В хронике помещичьей династии Столыгиных писатель стремился раскрыть условия, под влиянием которых формировался его герой, подобно тому как в романе «Кто виноват?» Герцен для характеристики действующих лиц обращался к тщательно написанным биографическим очеркам.

Перед читателем проходит вереница страшных, отталкивающих образов помещиков-крепостников из различных поколений рода Столыгиных. Думается, цензурный запрет повести вызвали именно беспощадные сатирические зарисовки русского крепостнического уклада, а не напугавшие Панаева и Анненкова «картины французской революции», послужившие лишь фоном одного из эпизодов. Гневное и страстное обличение дикого произвола, разврата и морального падения усадебных самодуров, наполнявшее страницы повести Герцена, продолжало славную радищевскую традицию русской литературы.

Жанр дворянской «семейной хроники» приобретал у Герцена новое содержание, впервые наметившееся в пушкинской «Истории села Горюхина». Как и Пушкина, Герцена прежде всего интересует вопрос о социальных судьбах русского дворянства, но отнюдь не отдельные бытовые подробности усадебной жизни или психологические переживания обитателей дворянских гнезд. Однако Герцен шел дальше Пушкина; его сатира приводила к решительным революционным выводам. Рассказ о прошлом помещичьего рода устремлялся в будущее, утверждая неизбежность гибели того общественного строя, который всеми своими корнями уходил в звериный быт Столыгиных.

Когда-то юного Герцена, рассматривавшего огромную книгу, в богатом переплете, с дворянскими гербами и родословными, спросили, что это за книга. Мальчик, не задумавшись, ответил: «Зоология» [11]. Таким руководством по «зоологии» дворянских родов стала написанная им «семейная хроника» помещиков Столыгиных.

«Первым *ручным* представителем Столыгиных» был «дядюшка Лев Степанович», «несмотря на всю патриархальную дикость свою» (VII, 415). Закончив курс домашнего воспитания, т. е. научившись «читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии» (там же), он уехал в Петербург, служил лет десять в гвардии, затем перешел в гражданскую службу, был советником, впоследствии — президентом какой-то коллегии. Но успехи по службе не заглушили в Столыгине

[11] См. Т. П. Пассек. Из дальних лет, т. I, стр. 79.

тяги к своей родной среде: «ему захотелось покоя в почетном раздолье помещичьей жизни, захотелось пожить на своей воле», уехать «в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и испуганное село готово было его встретить с страхом и трепетом, поклониться ему в землю и подойти к ручке» (VII, 416). Первый опыт «приручения» оказался, таким образом, не совсем удачным и завершился возвращением героя к дикому состоянию.

Картины жизни Столыгина в деревне принадлежат к лучшим страницам повести. В ярких, красочных эпизодах, характеристиках, намеках Герцен обнажает крепостной быт помещичьей усадьбы, основанный на страхе перед сильным и жестоких расправах. Жизнь в Липовке пуста, бессмысленна, грязное существование помещика обрекло ее на застой и вырождение. «Дом его с селами и деревнями составлял какой-то особенный мир, разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенной генеральным межеванием. Даже «Московские Ведомости» не получались в Липовке. Войны раздирали Европу, миры заключались, троны падали,— в Липовке все шло нынче, как вчера: вечером игра в дурачки, утром сельские работы, та же жирная буженина подавалась за обедом. Тит все так же стоял у дверей с квасом, и никто не только не говорил, но и не знал и не желал знать всемирных событий, наполнявших собою весь свет» (VII, 423). Заметим, что эта характеристика усадебной жизни Столыгиных в какой-то мере повторяла обличение Малинова и малиновцев в «Записках одного молодого человека» [12]. Однако если в ранней повести Герцена затхлый, застойный быт русской провинции не связывался писателем непосредственно с крепостным правом, то повесть «Долг прежде всего» была посвящена главным образом разоблачению крепостничества как той почвы, на которой произрастали все уродства «темного царства» русской действительности. Лев Степанович — это прежде всего владелец двух с половиной тысяч душ, здесь источник его власти и силы, но в то же время именно неограниченный произвол над своими крепостными рабами приводит Столыгина к утрате человеческого облика, к его разложению как личности. «Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным» (VII, 417), даже фавориту и лазутчику барина, «грозе всей дворни», гордому и высокомерному Титу доставалось от него в эти «характерные» минуты: «побьет его, бывало, да и пошлет к барыне: «Поди, говорит, покажи ей свою рожу и скажи, вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов»» (VII, 417). Нелепы и жестоки забавы Столыгина над

[12] См. выше, стр. 36.

слепым и беспомощным дядею, контуженным во время турецкой кампании. Он откровенно издевается над женой, которая никак не даст ему «настоящего наследника». ««У меня жену бог даровал глупее таракана; что такое таракан? нечистота! а детей выводит». При этом видно было гордое сознание, что он, с своей стороны, себя в этом не винит, да и, в самом деле, без вопиющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей» (VII, 417—418).

У «дядюшки Льва Степановича» был «нежный братец», Степушка, другой достойный представитель рода Столыгиных. Степан Степанович избрал себе путь «буколико-эротического помещика» и до кончины своей был верен ему. О его веселой сельской жизни было известно во всем околотке. «В праздничные дни сгоняли после обедни крестьянских девок и баб на лужок перед домом для хороводов и песней. Степан Степанович, откушавши, выходил в сени, в халате нараспашку, окруженный горничными; тут он садился, горничные готовили чай и обмахивали мух павлиновыми перьями» (VII, 427). Но «нежное сердце» Степана Степановича жестоко подвело его: увидев у одного из соседей понравившуюся ему горничную Акулину, он не пожалел за нее трех тысяч рублей: «по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить пять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами и матерями» (VII, 428). «Сельская Брунегильда поняла, именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела своего господина в полнейшую покорность», затем женила его на себе — и окончательно «приняла бразды правления сильной рукой» (VII, 428—429).

В повести появляется новый Столыгин — их сын Михаил Степанович. После смерти отца, не предполагавшего, что «человеческое тело только до известной степени противодействует алкоголю», Миша жил у дядюшки в Липовке, потом поехал в Петербург, где рос и воспитывался вместе со своим троюродным братом — князем, служил в гвардии, совершил путешествие в Париж. Во французской столице троюродные братья и их бывший гувернер Дрейяк неожиданно стали свидетелями больших революционных событий, в том числе — взятия Бастилии. «Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкие разговоры, грозные возгласы и движения,— все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени...» (VII, 434). Несомненно, что в описании революционной Франции конца XVIII века отразились первые впечатления Герцена от Парижа сороковых годов.

Смертельно напуганный нападением толпы, принявшей его за аристократа, Дрейяк поспешил увезти своих воспитанников обратно в Россию. После дуэли с князем из-за «маленькой француженки» тетушка-княгиня приказала Столыгину оставить ее дом. «Таким образом, лет двадцати восьми отроду Столыгин очутился впервые на собственных ногах» (VII, 438).

Смерть Льва Степановича делает молодого Столыгина обладателем Липовки. Новый помещик вскоре заставляет крестьян пожалеть о смерти своего барина. «Что-то страшно угрюмое было в его существовании. Он ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не делал, был скуп до отвратительности и скрытно, прозаически, дешево развратен» (VII, 442). При всей своей скупости он имением серьезно не занимался, но дворню свою страшно теснил, «распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, брал во двор, обременял совершенно ненужными работами» (VII, 442). Эгоизм и деспотический, необузданный характер Столыгина делают невыносимой жизнь его жены и сына — героя задуманной Герценом повести, Анатоля, судьбе которого должно было быть посвящено дальнейшее развитие действия.

Обширным введением к основному содержанию повести — своего рода хроникой рода Столыгиных — Герцен совсем не собирался подчеркивать черты биологической наследственности в натуре Анатоля. Картины жизни различных поколений Столыгиных носят у него ярко выраженный социальный характер. Как подлинный писатель-демократ, Герцен никогда не забывает о судьбе народа под властью помещичьих династий. Он взволнованно рисует жизнь русского крепостного крестьянина, его бедность и бесправие. В первых же строках повести упоминается о «полуразвалившихся, кривых, худо крытых и подпертых шестами избах» (VII, 410). Образ народа неотступно следует далее за всем рассказом о Столыгиных. Дворник Ефимка, более полувека не расстающийся со своей метлой — так *прочно* устроил барин его судьбу (глава «За воротами»), няня Настасья, самоотверженно привязавшаяся к маленькому Анатолю, хотя рождение ребенка принесло ей только «лишение всего покоя», «вечный страх, вечную брань и вечное преследование», образы несчастных кормилиц, погибших в пути «от сильного мороза и слабых тулупов» (глава «Наследник»), и много других жертв помещичьего произвола остаются в памяти читателя. Но Герцен угадывает в мужике и способность к протесту, причем к более действенным формам протеста, чем стихийный бунт Митьки-цирюльника (глава «Дядюшка Лев Степанович»). Недаром Акулине Андреевне после смерти мужа «показалось безопаснее переехать в Москву» (VII, 429). Следует помнить при этом, что Герцен

тогда рассчитывал увидеть свою повесть в русской подцензурной печати и не мог о многом говорить полным голосом.

Но повесть даже в таком виде была запрещена. Герцен некоторое время откладывал ее продолжение, а потом, как было сказано, ограничился кратким конспектом дальнейших событий, признавшись: «Не находя силы продолжать повесть, я расскажу вам ее план» (VII, 453).

Трудно сказать, приводит ли Герцен план повести, действительно, в том виде, в каком он первоначально представлялся ему. Во всяком случае можно предположить, что отдельные детали в развертывании действия были опущены в пересказе. Образ Анатоля в плане мало связан с предшествующими главами. Правда, Герцен глухо намекает на «среду, в которой он развивался, нашу родную почву или, лучше, наше родное болото, утягивающее, морящее исподволь, заволакивающее непременно всякую личность...» (там же), упоминает о враждебном чувстве Анатоля к отцу, переламываемом им (так впервые возникает тема «долга»), появляются в плане и князь с «маленькой француженкой» и т. д., но в целом план в значительной мере воспринимается как новая повесть.

«Мне хотелось в Анатоле,— пишет Герцен,— представить человека, полного сил, энергии, способностей, жизнь которого тягостна, пуста, ложна и безотрадна от постоянного противоречия между его стремлениями и его долгом... Сила этого человека должна была потребиться без пользы для других, без отрады для него» (там же). Так еще раз, в новом свете, возникает в творчестве Герцена тема «лишнего человека». В отличие от Бельтова, Анатоль — внутренне активная, деятельная натура. Его своеобразие среди других «лишних людей», известных русской литературе, в том и состоит, что он, располагая большими внутренними возможностями, отнюдь не хоронит их в себе; однако энергия Анатоля направлена по ложному пути. «Он совершает героические акты самоотвержения и преданности, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того вялого, бесцветного состояния, в котором находится всякая посредственная и бездарная натура» (там же). Трагедия Анатоля — в отсутствии передового мировоззрения. Его силы уходят на усмирение своего протеста против жизни, на воплощение превратно понятой идеи «долга». Участие в подавлении польского восстания 1831 года обостряет в нем борьбу «воли и долга», он не может быть «палачом, слугой деспотизма» (VII, 460) и после ранения выходит в отставку, чтобы при случае первым протянуть руку поляку. «Наконец-то начинается казнь наших врагов,— говорит ему в ответ граф Ксаверий,— стан их распадается, и если русский офицер так говорит, как вы,— еще не все погибло!» (VII, 462).

Но сознание своего высшего «долга» не приводит Анатоля к борьбе с действительностью. «Он искал куда-нибудь прислониться, он стоял слишком одинок, слишком оставлен сам на себя, без определенной цели, без дела» (VII, 463).

Дальнейший путь для Анатоля Герцену подсказала судьба В. С. Печерина, московского профессора, от разочарования в революции ушедшего в католицизм. Религиозные убеждения польских иезуитов, с которыми Анатоля познакомил граф Ксаверий, поразили его. Анатоль становится монахом, но вскоре «новый ряд мучительных страданий начался для него». Религия не дала ему силы преодолеть «старого врага» — скептицизм. Повесть должна была закончиться тем, что наследник поместий Столыгиных отправлялся за океан — «проповедовать религию, в которую не верил, и умереть от желтой лихорадки» (VII, 464).

Герцен не осуществил своего плана — и прежде всего потому, что тема «лишнего человека», ее решение в повести скоро перестали интересовать его. Проблема «лишних людей» с каждым годом, полном бурных революционных событий, свидетелем которых был Герцен, утрачивала для него свое значение, становилась фактором исторического прошлого передовой русской интеллигенции. Революционная действительность конца сороковых — начала пятидесятых годов, борьба самого Герцена выдвигали перед ним совсем иные задачи. «Я не могу ее кончить,— писал Герцен о повести в 1851 году,— нет ни того настроения, ни того юмора, какой был в начале. События резко отделили 1847 год от 1851, и мне кажется невозможным связать, несмотря на промежуточные паузы, разорванную нить рассказа» (VII, 511). Можно сказать, однако, что если даже повесть была бы завершена, ее художественную ценность скорее определили бы первые главы, реалистически воплотившие весь крепостной строй жизни, чем рассказ об исканиях и заблуждениях русского интеллигента Анатоля Столыгина.

Повесть была последним созданием Герцена-беллетриста, с которым успел познакомиться Белинский: осенью 1847 года, в Париже, Герцен читал ему написанные главы. «Он был болен; чахотка, изнурявшая его грудь, уже положила тогда печать близкой смерти на его лицо. Это было,— вспоминает Герцен,— перед его и моим отъездом: он собирался в Петербург, а я в Рим» (VII, 525). Интересно свидетельство Герцена, что Белинский в тот вечер, когда он читал ему «Долг прежде всего», «был возбужден, говорил энергично, с увлечением, как редко говорил в последнее время» (там же). Можно предположить, что именно прочитанные Герценом страницы послужили поводом к возбужденному состоянию великого критика. Гер-

цен не приводит ни единого слова из его отзыва о повести, но совершенно очевидно, что антикрепостнический пафос «Долга прежде всего» был близок и дорог Белинскому.

Впечатления от прослушанной повести, как нам кажется, в какой-то степени отразились в той оценке романа «Кто виноват?» и всего творчества Герцена, которую содержит вскоре после этого написанная знаменитая статья Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Прежде всего обращают на себя внимание слова критика о «трех повестях» Герцена. «*доселе напечатанных*» (речь идет о «Кто виноват?», «Докторе Крупове» и «Сороке-воровке»)[13],— оговорка, в которой легко можно усмотреть намек на новые, известные Белинскому, но еще не напечатанные произведения писателя. Оценивая далее роман «Кто виноват?» как, по существу, «ряд биографий», Белинский отмечает, что «здесь автор *вполне в своей сфере*»[14]. Если вспомнить, что такой же галлереей биографий являлись знакомые Белинскому главы «Долга прежде всего», то можно достаточно определенно утверждать, что вывод критика о «сфере» таланта Герцена основывался не только на одном его романе. Известные рассуждения Белинского о «чувстве гуманности», составляющей, «так сказать, душу творений Искандера»[15], также содержали подробности, перекликавшиеся со страницами повести «Долг прежде всего». Гуманный человек, пишет Белинский, «не допустит... унижать перед ним свое человеческое достоинство,— не позволит... кланяться себе в ноги, *не станет называть его* («человека низшего сословия».— *В. П.*) *Ванькой или Ванюхой и тому подобными именами, похожими на собачьи клички...*»[16]. Невольно вспоминается при этом, как дворник Михаила Степановича Столыгина до глубокой старости «сберег от юности название Ефимки». А разговор Ефимки со своим барином, периодически повторявшийся каждое светлое воскресенье (см. VII, 411—412), хорошо иллюстрирует слова Белинского о том, что гуманный человек «не будет легонько трясти его (все того же «человека низшего сословия».— *В. П.*) за бороду, в знак своего милостивого к нему расположения, чтобы тот, подло ухмыляясь, говорил ему с подобострастием: «за что изволите жаловать?»»[17]

Но независимо от того, имел ли в виду Белинский в приведенных местах его статьи неопубликованную повесть

---

[13] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 811 (курсив наш.— *В. П.*).

[14] Там же, стр. 812 (курсив наш.— *В. П.*).

[15] Там же, стр. 811.

[16] Там же (курсив наш.— *В. П.*).

[17] Там же.

Герцена или в них отразилась цельность и единая сосредоточенность всей беллетристики писателя сороковых годов [18],— «Долг прежде всего» мы вправе рассматривать в кругу тех произведений, которые утверждали в русской литературе идеи гуманизма и демократизма. Правда, широкие круги русских читателей впервые познакомились с повестью Герцена лишь спустя полвека после ее первой публикации, к тому же по искаженному цензурными пропусками тексту: достаточно сказать, что в «Сочинениях» Герцена, изданных Павленковым, был целиком опущен раздел «Вместо продолжения». Однако, несмотря на безусловный полицейский запрет, долгие годы висевший над повестью, следы знакомства с нею сохранились в русской литературе. Исследователями творчества Герцена уже отмечалась известная близость «Долга прежде всего» к хроникам Салтыкова-Щедрина [19]. Действительно, яркое обличение помещичьих нравов в повести Герцена, стиль произведения (в написанных главах), самое построение образов можно рассматривать как несомненное предвосхищение щедринской сатиры. Как и Щедрин, Герцен беспощаден к своим героям. Выше мы отмечали, что в романе «Кто виноват?» писатель неоднократно намекал на возможности духовного развития, задавленные в Негровых окружающей средой, господствующим строем. В повести «Долг прежде всего» галлерея помещичьих типов давно и навсегда лишена каких-либо проблесков человеческих чувств, морально — это мертвые люди. Даже внешние предметы, составляющие мир, в котором живут Столыгины, свидетельствуют о духовной смерти обитателей усадьбы. В характеристике Льва Степановича Герцен превосходно использует такую деталь помещичьего быта, как... кислые щи, неизменно сопутствующие Столыгину в разные моменты жизни. С них начинался его день; после обеда, когда барин ложился отдохнуть, «Тит должен был стоять у дверей, и когда Лев Степанович ударит в ладоши, подать ему графин кислых щей» (VII, 421). «Запивши кислыми щами и ромашкой сон», помещик отправлялся бродить по полям и работам (там же), и т. д. И когда ко Льву Степановичу неожиданно пришла смерть, в повести вновь возникают те же кислые щи, как воплощение грязной и бесцельной жизни, прожитой помещиком: «Неумытный Тит... побежал к дверям с кислыми щами. В пять часов Марфа Петровна присылала узнать, проснулся ли барин; Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям. «Кажется,

[18] Белинский недаром писал, что «герой всех романов и повестей Искандера, сколько бы ни написал он их, всегда был и будет один и тот же...» и т. д. (Собр. соч., т. III, стр. 806).

[19] См., например, А. И. Герцен. Худож. произв. Л., 1937, стр. 35, вступительная статья Л. Плоткина «Беллетристика Герцена».

еще не изволили просыпаться»,— доложил Тит. Марфа Петровна тихо отворила дверь и так вскрикнула вдруг, что Тит опрокинул кувшин с кислыми щами. Закричать было немудрено: старый барин лежал, растянувшись, возле кровати, один глаз был прищурен, другой совершенно открыт с тупым и мутно стеклянным выражением; рот был перекошен, и несколько капель кровавой пены текло по губам» (VII, 424—425). Эта страшная картина отвратительной смерти Столыгина завершается резким штрихом: «молдаванка вбежала в комнату с каким-то неестественным хныканьем и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломила ногу» (VII, 425).

Биографии Столыгиных не раскрывают движения образов. Само понятие развития несовместимо с застоем родовых помещичьих гнезд. Светлые лучи проникают в это звериное логово только со стороны. Сильным и мужественным Герцен рисует образ матери Анатоля. Борьба за сына, с разлагающим влиянием самодура-отца меняет ее. «Марья Валериановна, до тех пор кроткая и самоотверженная, явилась женщиной с характером и с волей непреклонной. Она не только решилась защитить ребенка от очевидной порчи, но, уважая в себе его мать, она сама стала на другую ногу» (VII, 448). Именно ее сын, Анатоль, призван пойти против семейных традиций (вспомним крепостное происхождение других героев писателя — Бельтова, Любоньки Круциферской). Повторяем, не наследственные признаки при этом имели значение для Герцена, а те новые условия, под воздействием которых формировался молодой Столыгин. Одним из важнейших моментов этих новых отношений, окружавших в детстве Анатоля, Герцен показывает расположение к его матери и к самому Анатолю крепостных слуг — Настасьи, Ефимки и других.

Если приемы художественной типизации образов помещиков в повести Герцена, как можно предположить, оказали влияние на будущего автора «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины», то не менее характерно, что именно светлыми сторонами жизни, хотя и окрашенными в скорбные тона, «Долг прежде всего» привлек внимание Льва Толстого. По свидетельству Д. П. Маковицкого, Лев Толстой в июле 1905 года говорил о повести Герцена, что «ничего подобного нет в русской литературе» [20]. Особенно нравилась Толстому «превосходная, удивительная» первая глава («За воротами») [21], рассказывавшая о тайной встрече Анатоля с матерью

---

[20] См. Н. Гусев. Герцен и Толстой. «Литературное наследство», № 41—42, стр. 511.

[21] Там же. «Прерванные рассказы» Толстой читал (или перечитывал) по женевскому 10-томному изданию «Сочинений» Герцена (тт. III—IV, 1878), полученному им в том же 1905 году (см. там же, стр. 510).

и, несомненно, перекликавшаяся для Толстого с известными страницами «Анны Карениной».

Любил Толстой и несколько раз перечитывал другую повесть Герцена — «Поврежденный», также опубликованную в сборнике «Прерванные рассказы» и также находившуюся полвека под запретом в России.

Создавался «Поврежденный» вслед за повестью «Долг прежде всего», во второй половине 1851 года [22]. Наряду с воспоминаниями писателя о русской крепостнической действительности в повести отразились тяжелые переживания и раздумья Герцена в связи с поражением революции 1848 года. «Я по опыту писал в «Поврежденном»»,— признавался Герцен в «Былом и думах», цитируя несколько строк из лирического вступления, которым начиналась повесть («БиД», 404). В беллетристической форме Герцен рассматривает в повести тот же вопрос о будущем исторического развития Европы, который был поставлен им в книге «С того берега».

В образах случайно встреченных писателем на берегу Средиземного моря «старых знакомых»-соотечественников — лекаря Московского университета и самого «поврежденного» — воплощены два восприятия жизни, два отношения к большим историческим переменам, наблюдаемым ими в европейской действительности. Лекарь откровенно безразличен к общественным потрясениям своего времени, они не вызывают у него никаких тревог и размышлений. «Мне было досадно,— признается Герцен,— что он, так играя, скользит по жизни, досадно, а, может, и завидно...» (VII, 482). Лекарь никогда не ломал себе головы «ни над одним вопросом, который не был разрешен другими», но отлично знал «все разрешенные вопросы» (VII, 472). «Он вовсе не был глуп,— пишет Герцен,— но принадлежал к числу тех светлых, практических умов, умов подкожных, так сказать, которые дальше рассудочных категорий и общепринятых мнений не только не идут, но и не могут идти» (VII, 477). Неглубокая, малоподвижная натура лекаря не в состоянии понять подлинной внутренней трагедии «поврежденного». Подсмеиваясь над «добрым прозектором», осуждая его беззаботность в вопросах общественного развития, Герцен с нескрываемой симпатией относится к больному

[22] Сообщая друзьям в июне 1851 года об очередной попытке издать повесть «Долг прежде всего» (через Вольфсона), Герцен добавлял: «и думаю о другой... под заглавием «Межуев-fils» («А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 74—75). Под этим ироническим наименованием писатель, очевидно, подразумевал именно повесть «Поврежденный», законченную зимою того же года. «Ба,— подумал я,— читаем мы в тексте,— да это старые знакомые: это *Ноздрев и Межуев,* переложенные на новые нравы и едущие не в Заманиловку, а в Сен-Ремо» (VII, 471; курсив наш.— *В. П.*).

герою повести — Евгению Николаевичу. В наблюдениях и парадоксальных выводах «поврежденного», полных глубокого, безысходного пессимизма, его поражает «независимая отвага больного ума» (VII, 476). Земной шар, считает «поврежденный», «или неудавшаяся планета, или больная». «Так жить нельзя; ведь, это очевидно, надобно, чтобы что-нибудь да сделалось; лучше планете сызнова начать; настоящее развитие неудачно...» (VII, 474—475). Его взгляд на будущее развитие человеческого общества мрачен: «История сгубит человека, вы, что хотите, говорите, а увидите — сгубит» (VII, 475). «Болезнь исторического развития,— утверждает «поврежденный»,— идет из Европы. Как только люди коснутся этой проклятой земли, так их мозг и поражается болезнию...» (VII, 478). Герцен отмечает при этом, что представления больного были, действительно, верны и последовательны «тем произвольным началам, которые он брал за основу» (VII, 476). Так, отрицая разумность исторического процесса («равновесие потеряно,— говорит «поврежденный»,— планета мечется из стороны в сторону» — VII, 475), он неизбежно приходит к выводу о бесполезности и бессмысленности всякой борьбы за лучшее устройство общественной жизни людей: «полно строить и перестраивать вавилонскую башню общественного устройства; оставить ее — да и кончено, полно домогаться невозможных вещей» (VII, 480). «Поврежденный» зовет «к природе на покой», «пора домой на мягкое ложе, приготовленное природой, на свежий воздух, на дикую волю самоуправства, на могучую свободу безначалия» (там же).

Образ «поврежденного» далеко не случаен в творчестве Герцена: к крайностям его скептицизма, несомненно, пришел бы также Крупов после «бурь и утрат» 1848 года; во взглядах «поврежденного» легко узнаются читателем важнейшие черты мировоззрения «доктора» — центрального персонажа беллетристики писателя шестидесятых годов. Это давало основание ошибочно говорить о совпадениях и тождестве взглядов Герцена и его героев-скептиков. Например, по словам Льва Толстого, «в мыслях «поврежденного» Герцен высказывает свои мысли, которые он не берет на себя, чтобы прямо высказывать, а это так можно кидать необдуманно, смело»[23]. Но, как и в других случаях, вопрос об отношениях воззрений «поврежденного» и самого Герцена в действительности гораздо сложнее. Герцен, только «утешая» лекаря, говорил: «свой своему — поневоле брат» (VII, 477). На самом деле пессимизм больного неприемлем для него и глубоко чужд. Герцен «мог *иной раз* артистически наслаждаться разговорами Евгения

[23] Н. Гусев. Указ. соч., стр. 511.

Николаевича и брать его сторону» (VII, 477; курсив наш.— *В. П.*), он разделяет остро критическое отношение «поврежденного» к социальной действительности, его болезненное восприятие установившейся в мире несправедливости. «Толпе не дают жить так, как она хочет», «задавленное работой, изнуренное голодом» человечество в своей основной массе создает лишь условия для жизни «лучшего цвета цивилизации», как иронически говорит «поврежденный», «ее балованных детей, единственных людей, кой-как наслаждающихся» (VII, 479—480). «Кто же они?» — спрашивает себя больной — и отвечает: «Наши помещики средней руки и здешние лавочники» (VII, 480). Но выводы «поврежденного» о бесцельности борьбы за изменение мира решительно отвергаются Герценом. Он не вступает в повести в прямую полемику с ними, однако ироническое отношение к «странным, парадоксальным выходкам» больного постоянно ощущается читателем. «Вы так рассуждаете,— сказал я ему шутя и взяв его за обе руки,— что я нисколько не удивлюсь, если после вашего возвращения Николай Павлович сделает вас министром народного просвещения» (VII, 478—479).

Герцен писал свою повесть в трудные дни глубокого духовного кризиса, который вызвало у него поражение революции 1848 года. Он сам был тогда лишен ясного представления о дальнейшем историческом развитии Европы. Но свой скептицизм Герцен стремился преодолеть в борьбе; активное, действенное начало никогда не остывало в нем. Герцен утверждал не отказ от политической борьбы, а страстные поиски подлинно передовой общественной силы, правильной революционной теории,— вместо расстрелянных в июньские дни иллюзий.

Путь «поврежденного» был бегством от жизни. Своей повестью Герцен, сам себе уясняя это, навсегда закрывал этот путь как возможность мнимого разрешения мучивших писателя вопросов. Рассказ о «поврежденном», продолжая тем самым развивать круг проблем книги «С того берега», служил существенным дополнением к ее выводам. Нам становится понятным, почему Герцен в эту «очень тяжелую эпоху» своей жизни (VII, 468) оставался «демократом, революционером, социалистом» (Ленин) и спустя немногим более года нашел в себе силы для создания вольной русской прессы за границей. Полемику с «поврежденным», как выражением одной из возможных реакций буржуазно-демократических кругов на события 1848 года, он продолжил своей жизнью.

Через десять лет Герцен вновь обратится к образу своего «поврежденного». В одном из писем знаменитого цикла «Концы и начала» (1862) им описывается «новая встреча с одним старым знакомым». По словам лекаря, Евгений Ни-

колаевич за эти годы «ни на волос не переменился, только эдак солиднее прежнего заговаривается» (XV, 295). Он по-прежнему полагает, что «западные народы из сил выбились», что люди «все дальше и дальше несутся в болото»: «надоело беспрестанно перестраиваться, обстраиваться да и ломать друг другу дома» (XV, 297). Борьбу со злом и несправедливостью, активное вмешательство в жизнь «поврежденный» сравнивает с «кротовой работой» по «соотношению между усилиями и достигаемым» (XV, 300). Он предпочитает уехать из Европы за океан, в Техас... На этот раз Герцен не уклоняется от спора с больным: резко и прямо он спрашивает Евгения Николаевича: «И все-то это для того, чтобы дойти до голландского покоя, и за эту похлебку из чечевицы проститься с лучшими мечтами, с святейшими стремлениями?» (XV, 299). Важно отметить, что осуждение «поврежденного» в «Концах и началах» Герцен рассматривает как продолжение и развитие своего былого отношения к нему. Но если тогда, при первой встрече, взгляды «поврежденного» находили какие-то общие точки в растерянности представлений Герцена о судьбах революции в Европе, если тогда Герцен с тревогой смотрел на «поврежденного», преодолевая опасность влияния этой философии отчаяния и по сути дела пассивного примирения с жизнью, то теперь он отчетливо представляет пропасть, отделяющую его от скептицизма как самоуспокоения, от отрицания без утверждения или хотя бы поисков иного, побеждающего в жизни начала. В беллетристике шестидесятых годов — в очерках «Скуки ради» и повести «Доктор, умирающий и мертвые» — разоблачение бесплодности образа скептика, отражавшее этапы идейного развития самого Герцена, получит свое продолжение.

Повесть «Поврежденный» оканчивалась ярким эпизодом крепостного быта, который рассказывает автору слуга Евгения Николаевича, Спиридон. Горничная Ульяна, талантливая певица-самородок, горячо любила барина, но «ей и в голову не приходило», что она для него «в самом деле что-нибудь значит. Ведь все же он был барин, не могла же она его не бояться, быть его ровней, не могла эдак вольной дух иметь с ним...» (VII, 487). Ульяна изменяет барину с его камердинером. Случайно Евгений Николаевич узнает об этом.

История с Ульяной, по замыслу писателя, должна была служить тем «потрясением», которое привело героя повести к «надлому» и «повреждению». Однако органическое единство всего образа «поврежденного» с рассказом об одном из эпизодов его жизни Герценом не было достигнуто. Последняя глава повести оказалась художественно неоправданной, искусственной, как выразился о конце «Поврежденного»

Лев Толстой [24]. Вполне вероятно, что здесь проявилась незавершенность повести — Герцен недаром причислил ее к «прерванным рассказам», а в посвящении сборника писал, что «одна повесть («Долг прежде всего».— *В. П.*) едва начата, а другая (т. е. именно «Поврежденный».— *В. П.*) *не кончена...*» (VII, 409; курсив наш.— *В. П.*).

Известная обособленность рассказа Спиридона от общего развития действия повести вместе с тем отнюдь не лишает его самостоятельного художественного значения как правдивого отражения жизни русской крепостной усадьбы. Тематически рассказ Спиридона тесно связан с «Сорокой-воровкой». Однако в «Сороке-воровке», раскрывая глубокую драму героини, несомненно, типичную для крепостной действительности, Герцен рисовал образ редкой духовной силы, личность исключительную по своему таланту. В «Поврежденном» тема русского крепостного человека и, в частности, крепостной интеллигенции решается скорее в бытовом плане. Далее, если «Сорока-воровка» по своей композиции монографична, то в новой повести Герцен показывает судьбу крепостного крестьянства в различных вариациях. В своеобразной, сказовой форме, выразительно передающей особенности простонародной речи, он создает галлерею кратко очерченных, но запоминающихся образов жертв крепостного состояния.

Бесхитростный рассказ слуги оставляет трагическое впечатление. Глубоко несчастной чувствует себя Ульяна. Даже отвергнутая и оскорбленная, она попрежнему верна своему чувству: «Хоть бы взглянуть еще раз на него, прощенья бы попросить, руку бы поцеловать» (VII, 486—487). В униженной, поруганной любви крепостной рабы столько непосредственности и обаяния, что мелкий моральный ригоризм помещика, уязвленного в своих классовых предрассудках, выступает как отрицание настоящих человеческих чувств. «Мне ее жаль, несмотря ни на что»,— говорит о «бедной Ульяне» сам Герцен (VII, 488).

Трагична судьба Федьки-музыканта: по одному лишь подозрению в краже денег ни в чем не виноватого старика помещица отправила «во вторую адмиралтейскую» — полицейскую часть в Петербурге, где пороли крепостных крестьян. Когда же выяснилось, что деньги украл камердинер барина Архип, помещица приказала высеченного Федора «чаем напоить». «Только Федор слег в постель да месяца через два и помер... Наше крепостное дело, не приведи бог!» — заканчивает свой рассказ Спиридон (VII, 487).

---

[24] См. А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II, М., 1923, стр. 377.

Темы и образы крепостного быта придавали сборнику «Прерванных рассказов» Герцена единое идейное звучание. Это была, действительно, вольная русская книга, собрание повестей и отрывков, пронизанных страстным обличительным пафосом. Герцен напечатал в сборнике бесцензурный текст «Доктора Крупова»; легко можно предположить, что только отсутствие рукописи «Сороки-воровки» лишило его возможности включить в книгу полную редакцию и этой повести. В сборнике был опубликован небольшой отрывок «Мимоездом», написанный еще в Москве, в мае 1846 года, в период работы Герцена над второй частью «Кто виноват?» и тесно связанный с основной идеей романа. Отрывок представляет собою разговор Герцена с одним «товарищем председателя» в уголовной палате по поводу так называемых «облегчающих обстоятельств». Не любит этих «облегчающих причин» старый законник: «Ну, да эдак и всякого оправдаешь, коли дать волю мудрованиям. Я разве затем тут посажен?» (VII, 467). Он сознает, что люди совершают преступления, принуждаемые к этому тяжелыми, безвыходными обстоятельствами жизни: «да он от голоду украл, да мать больна, да отец умер, когда ему было три года, он по миру с тех пор ходил, привык бродяжничать... и конца нет... Ночью придет дело в голову, вникнешь, порассудишь: не виноват да и только...». Но оправдать нельзя: «оправдай этого, оправдай другого, а там третьего... На что же это похоже? Я себя на службе не замарал, честное имя хочу до могилы сохранить» (там же). Положение судьи трагикомично, но вопрос, поставленный Герценом, глубок и серьезен, он звучит тяжелым обвинением строю, который посылает «по Владимирской» несчастных людей — вместо того, чтобы облегчить их существование.

Целое десятилетие отделяет сборник «Прерванные рассказы» от следующего беллетристического создания Герцена. Жанры повествовательной прозы, с которыми были связаны первые успехи Герцена-писателя, на время перестают интересовать его. Герцен целиком отдается «Былому и думам» и напряженной публицистической деятельности на страницах изданий Вольной русской типографии.

VI

СОЗДАНИЕ ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ПРЕССЫ.— ГЕРЦЕН КАК ПУБЛИЦИСТ

В августе 1852 года Герцен приехал в Лондон. «Я не думал прожить в Лондоне больше месяца»,— вспоминал он в «Былом и думах» («БиД», 516). На этот раз Герцен ошибся: он прожил в столице Англии тринадцать лет. И трудно сказать, была ли когда-нибудь раньше жизнь Герцена такой напряженной и страстной, его революционная борьба столь кипучей и неутомимой, как именно в эти годы лондонской эмиграции.

Во всей своей зарубежной деятельности, свободной от цензурных цепей и притеснений самодержавной реакции, Герцен стремился быть «протестом России, ее криком освобождения и криком боли» (IX, 405). Основание русской типографии в Лондоне он считал «делом наиболее практически революционным, какое только может русский предпринять в ожидании исполнения иных, лучших дел» (VII, 234).

В создании вольной русской прессы за границей Ленин видел великую революционную заслугу Герцена[1]. После выпуска ряда брошюр и статей Герцен в 1855 году приступает к изданию альманаха «Полярная звезда». «Полярная звезда»,— отмечал В. И. Ленин,— «подняла традицию декабристов»[2]. Символические силуэты казненных декабристов и пушкинский девиз «Да здравствует разум!» недаром открывали каждую книжку альманаха. На страницах «Полярной звезды» впервые увидели свет многие революционные стихотворения декабристов и Пушкина, Лермонтова и Полежаева. Герцен собирает и печатает разнообразные мемуарные свидетельства декабристского движения — записки, письма и т. п. В герценовском альманахе впервые было опубликовано знаменитое письмо Белинского к Гоголю. В публицистических

[1] См. В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 12.
[2] Там же.

статьях Герцена, в главах «Былого и дум», переходивших из книги в книгу, в стихотворениях и поэмах Огарева мощно звучало вольное слово русской демократии — наследницы великих революционных традиций прошлого.

Но Герцен, не останавливаясь на этом, стремился к более широкой революционной агитации.

Знаменитая газета Герцена «Колокол» на протяжении ряда лет была подлинным, живым голосом передовой России. «Колокол» (1857—1867),— писал Ленин,— «встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено» [3].

«Колокол» жадно читали в России. Десятки людей в стране становились тайными корреспондентами Герцена. Вскоре начало выходить приложение к газете — листки с выразительным и многозначительным заголовком: «Под суд!» (1859—1862). Разоблачительных статей и заметок Герцена боялись русские помещики-крепостники, чиновники-взяточники и казнокрады, боялись правящие круги.

В одном из писем к Герцену И. С. Тургенев рассказывал, как в Москве «вздумали прижать» актеров, «отнять у них их собственные деньги; они решились отправить от себя депутатом старика Щепкина искать правды у Гедеонова (тогдашнего директора императорских театров.— *В. П.*)... Тот, разумеется, и слышать не хочет; «тогда,— говорит Щепкин,— придется пожаловаться министру».— Не смейте! — «В таком случае,— возразил Щепкин,— остается пожаловаться «Колоколу».— Гедеонов вспыхнул и кончил тем, что деньги возвратил актерам». «Вот, брат,— кончает Тургенев,— какие штуки выкидывает твой «Колокол»» [4]. Герцену очень запомнился этот эпизод, говоривший о страхе самодержавной реакции перед его газетой; несколько раз он вспоминал о нем в своих письмах и впоследствии рассказал в известном очерке, посвященном памяти Щепкина (см. XVI, 508—509). «Вы — *сила*, вы — *власть* в русском государстве»,— говорили Герцену даже его враги. Смело и открыто бичуя самодержавно-крепостнический строй и его приспешников, приводя подлинные факты, называя имена облеченных властью виновников множества злодеяний и преступлений перед народом, перед всей Россией, Герцен развернул действенную революционную агитацию. «Герцен,— писал Огарев,— разбудил самые спящие умы; все ринулись к одной мысли — народного освобождения» [5].

В борьбе с Россией царской за Россию народную «Колокол» активно искал сближения с русскими демократи-

---

[3] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 12.

[4] «Письма К. Дм. Кавелина и И. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену». Женева, 1892, стр. 116, письмо от 7 [illegible] 1858

[5] Н. Огарев. Памяти Герцена. «Колокол», [illegible] 3, 16 апреля 1870 г.

ческими кругами. Влияние «Колокола» и других изданий Вольной русской типографии испытали лучшие люди русской демократической интеллигенции пятидесятых — шестидесятых годов. Вместе с «молодой Россией» Герцен стремился «работать над отысканием путей русского развития, над разъяснением русских вопросов» (XVII, 300). Он сочувственно писал о растущей русской демократии, «крепко подкованной на трудный путь, закаленной в нужде, горе и, унижении, тесно связанной жизнью с народом...» (XVII, 298—299). Именно она, верил Герцен, призвана «спасти цивилизацию для народа» [6].

Правда, ограниченность дворянского революционера тяготела над Герценом. В ленинской статье «Памяти Герцена» были впервые вскрыты социальные корни некоторых политических и тактических расхождений между Герценом и молодой демократической интеллигенцией. В своей борьбе с крепостным правом и помещичьим произволом в России Герцен допускал либеральные колебания, особенно ярко сказавшиеся в его апелляции к «верхам» и прежде всего в обращениях «Колокола» к Александру II. Проявлением этих либеральных колебаний было нашумевшее выступление Герцена против «Современника» в статье «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!») (1859), подвергавшей решительному осуждению борьбу Чернышевского и Добролюбова с так называемой «обличительной» литературой русских либералов [7]. «Однако,— замечает Ленин, с гениальной глубиной определяя позицию Герцена в политической борьбе его времени,— справедливость требует сказать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх» [8].

Герцен был основоположником «русского» социализма, народничества. В общинном землевладении, в крестьянской идее «права на землю» Герцен, не уяснив действительной социальной природы крестьянской общины, ошибочно видел зерно социализма и, следовательно, спасение России от буржуазного строя. «На деле,— замечает Ленин,— в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве... нет *ни грана* социализма» [9]. Но даже в своих народнических заблуждениях Герцен оставался революционером и демократом. Свои социа-

---

[6] А. И. Герцен. Избр. соч., стр. 440 («Новая фаза русской литературы», 1864, подлинник по-французски; цитируется по данному изданию, поскольку в нем содержится исправленный перевод статьи).

[7] См. Б. П. Козьмин. Выступление Герцена против «Современника» в 1859 году. «Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка», 1952, вып. 4, стр. 366—384.

[8] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 12.

[9] Там же, стр. 11.

листические мечтания он с каждым годом все теснее связывал с революционными устремлениями народных масс, с признанием революционной борьбы народа единственно реальным средством для установления справедливого общественного порядка, подлинно демократического строя.

Вождь русской демократии шестидесятых годов Чернышевский неоднократно подчеркивал свою преемственную связь с революционным поколением Герцена — Огарева. В «Очерках гоголевского периода русской литературы», не называя по цензурным условиям имени Герцена, он глубоко раскрыл историческое значение его деятельности. С большим сочувствием писали о Герцене Добролюбов, Писарев и другие представители передовой русской интеллигенции.

Как известно, реакционная печать еще при жизни Герцена, в шестидесятых годах, объявила настоящий поход против «лондонских агитаторов». Цинично и грубо искажая исторический образ писателя, реакция всеми средствами стремилась парализовать его растущее влияние на революционно настроенную молодежь. Началось с широкого распространения в России клеветнических и лживых брошюр о Герцене, выходивших за границей под непосредственным наблюдением III отделения. Так, в 1859 году в Берлине чиновником особых поручений при Главном управлении цензуры Н. В. Елагиным была анонимно издана написанная им книга «Искандер — Герцен», в которой автор цинично сокрушался, что русская полиция не послала Герцена «куда-нибудь дальше Вятки и не отняла у него способов вредить другим и себе»[10]. Явно провокационный характер подобных брошюр вызывал негодование всей передовой России. Продажным писакам, обливавшим Герцена по указке правительства грязью позорной и лживой клеветы, блестяще ответил Писарев. В статье, предназначавшейся для тайной типографии, Писарев разоблачил издание одной из таких клеветнических брошюр о Герцене как «маневр нашего правительства», а ее автора, агента III отделения Ф. И. Фиркса, скрывшегося под псевдонимом Шедо-Ферроти,— как «наемного памфлетиста». Писарев писал: «Произведение Шедо-Ферроти впущено в Россию, а сочинения Герцена остаются запрещенными. Публика видит, что Герцена отделывают, а того она не видит, за что его отделывают. Конечно, и «Полярная звезда», и «Колокол», и «Голоса из России» и грозное «Под суд!» известны нашей публике, но ведь все эти вещи провозятся и читаются вопреки воле правительства... Чернить человека, которого сочинения строжайше запрещены! Подло, глупо и бесполезно!».

---

10 «Искандер — Герцен». Берлин, 1859, стр. 239.

Гневная отповедь молодого критика «сыщику III отделения», «продажному памфлетисту», «умственному пигмею», осмелившемуся клеветать на дорогой ему образ Герцена, «талантливого и рыцарски честного человека», как печатно незадолго до этого Писарев назвал Герцена в статье «Схоластика XIX века» (1861) [11], завершалась открытым призывом к «низвержению благополучно царствующей династии Романовых и изменению политического и общественного строя» России: «То, что мертво и гнило, должно само собой свалиться в могилу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы» [12].

Писарев поплатился за свою статью заключением в Петропавловскую крепость, но задуманная правительством провокация позорно провалилась.

Вскоре молчание, на протяжении полутора десятилетия тяготевшее над именем Герцена в русской подцензурной печати, было с одобрения властей нарушено для откровенных яростных нападок на «Колокол» и его издателей. Во главе похода встал «Русский вестник» Каткова — идейного вдохновителя дворянско-помещичьей реакции шестидесятых годов, монархиста и злейшего обскуранта, редактора «Московских ведомостей» — прообраза погромной прессы будущих черносотенцев. В июньской книге «Русского вестника» за 1862 год Катков поместил свою «Заметку для издателя «Колокола»», пасквиль, полный грубой ругани по адресу Герцена. Вслед за тем имя Герцена было предано неистовому и злобному поношению на страницах «Северной пчелы», «Сына отечества», «Нашего времени», «Домашней беседы» и ряда других печатных органов реакции. Герцена обвиняли в подстрекательстве молодежи к поджогам; дикая травля писателя, к которой присоединились и либеральные круги, разгорелась в связи с поддержкой им польского восстания.

Герцен с честью противостоял этому шквалу ненависти, который бушевал вокруг его имени в лагере самодержавной реакции. «Когда вся орава русских либералов,— писал Ленин,— отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии» [13].

Передовая, революционная Россия, лишенная возможности громко выразить свое сочувствие Герцену, была полностью на его стороне.

[11] Д. И. Писарев. Избр. соч., т. I, М., 1934, стр. 45.
[12] Там же, стр. 322, 325—326.
[13] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 13.

Вдали от родины Герцен оказался ближе к жизни народной России, чем был в Москве или даже в годы ссылок. Трудно переоценить значение «Колокола» в идейном становлении Герцена как революционного демократа. Голос родного народа на страницах газеты, постоянная связь с русским читателем обогащали Герцена тем знанием русской жизни, без которого он, конечно, не смог бы увидеть революционный народ в России шестидесятых годов. Герцен с презрением писал в «Колоколе» о «книжниках», которые «почти всегда, везде держатся в стороне от треволнений житейских; не они делают историю, они ее только пишут и являются после битвы с своим фонарем осмотреть раны падших, сделать опись покинутого имущества и мудро рассудить, отчего побитые побиты, а победители взяли верх, будущим поколениям в научение, современным в назидание» (XV, 111).

«Колокол» Герцена, оказывая несомненное воздействие на общественную жизнь России, в известном смысле «делал историю». Недаром Герцен сам говорил о своей газете как о «настоящей серьезной пропаганде» [14].

Отдав дань либеральным надеждам на подготовлявшуюся царским правительством крестьянскую реформу, Герцен с большой силой разоблачал в «Колоколе» лицемерный характер «освобождения» крестьян, осуществлявшегося самими крепостниками. В газете была напечатана серия корреспонденций из России об усмирении крестьянских восстаний в Казанской, Пензенской, Херсонской и других губерниях. «Да, русская кровь льется рекой!...— писал Герцен в л. 98—99 «Колокола» от 15 мая 1861 г.— И есть пресные души, робкие умы, упрекающие нас в выстраданных нами словах проклятья и негодования!» (XI, 94). «Колокол» стал хроникой революционной борьбы в России, летописью роста крестьянского движения и подъема демократической общественной мысли; тем самым он активно участвовал в великой освободительной борьбе русского народа.

* * *

Путь Герцена к революционному демократизму ярко отразился в публицистике писателя.

Деятельности Герцена, при всем многообразии ее форм и проявлений, была присуща единая революционная целеустремленность. «У меня вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами»,— записал Герцен в своем дневнике в 1843 году (III, 96). Социальные вопросы всегда стояли

---

[14] «Звенья», 1933, II, стр. 371, письмо к Ш.-Э. Хоецкому от 15 августа 1861 г. (подлинник по-французски).

также в центре внимания Герцена-писателя, придавая его творчеству редкую идейную и художественную цельность.

В определенные исторические эпохи, учит В. И. Ленин, «слово тоже есть дело» [15]. В условиях самодержавно-крепостнического строя слово Герцена было делом большого общественного значения. Герцен утверждал, что «слово по той мере только и важно, по какой оно ведет к делу». «Враги наши,— писал он в письмах «К старому товарищу»,— никогда не отделяли *слово* и дело и казнили за *слово* не только одинаким образом, но часто свирепее, чем за дело» (XXI, 444).

Творчество Герцена в целом в силу этого глубоко публицистично. По образному выражению А. В. Луначарского, его беллетристика освещена «ярким огнем публицистики» [16]. Публицистика органически входила в художественную ткань мемуаров Герцена. Реакционная критика в свое время пыталась использовать публицистические элементы в «Кто виноват?» и «Сороке воровке», «Докторе Крупове» и «Былом и думах» для борьбы против художественного значения наследия Герцена. Либерально-дворянским и буржуазно-эстетствующим идеологам претил демократический пафос его творчества. В действительности в произведениях Герцена, быть может, впервые в русской литературе публицистика была доведена до подлинных высот художественного обобщения.

Передовая русская критика высоко ценила выдающийся талант Герцена-публициста. Белинский восхищался публицистическими статьями, очерками и фельетонами Герцена: «вот, как надо писать для журнала»,— восклицал он по поводу одной из философских работ Герцена — первой статьи цикла «Дилетантизм в науке» [17]. В своих высказываниях о литературных произведениях Герцена Белинский последовательно отстаивал право писателя на публицистическую заостренность художественного творчества.

Чернышевский незадолго до смерти, в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова», охарактеризовал Герцена как «одного из знаменитейших и действительно лучших деятелей русской литературы» [18]. С особым уважением он отзывался о публицистической деятельности Герцена. Признавая его «блестящий литературный талант», он говорил, что «по блеску

---

[15] В. И. Ленин. Соч., т. 9, стр. 53.

[16] А. В. Луначарский. Русская литература, стр. 41.

[17] В. Г. Белинский. Письма, т. II, стр. 334, письмо к В. П. Боткину от 6 февраля 1843 г.

[18] См. Вл. Путинцев. Чернышевский о Герцене. «Огонек», 1950, № 6, стр. 24.

таланта в Европе нет публициста, равного Герцену»[19]. Спустя более чем полвека Кропоткин писал о статьях Герцена в «Колоколе», что они написаны «с такой силой и теплотой» и отличаются «такой красотой формы, какие редко встречаются в политической литературе». «Я по крайней мере,— признавался Кропоткин,— не знаю публициста в западноевропейской литературе, которого можно бы было приравнять в этом отношении к Герцену»[20]. «Как политический публицист,— в те же годы говорил о Герцене Плеханов,— он до сих пор не имеет у нас себе равного»[21].

Гениальный ленинский анализ мировоззрения и исторической роли Герцена как «писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции»[22], с исключительной глубиной раскрыл исторические корни своеобразия художественно-публицистического творчества Герцена. Блестящие цитаты из «Колокола» в статье «Памяти Герцена» показывают, какое большое место в общем плане освоения наследия Герцена Ленин отводил публицистическим выступлениям писателя.

Изучение публицистического творчества Герцена, его наиболее характерных черт и особенностей возможно лишь на основе строгой исторической и хронологической последовательности идейной эволюции писателя, основные этапы которой с исчерпывающей точностью установлены в ленинской статье.

Цензурный режим сороковых годов затруднял деятельность Герцена-публициста, ограничивал ее предельно узкой тематикой, тесными рамками литературной полемики. Писатель был принужден либо прибегать к неясным намекам, либо вообще избегать «опасных» тем, постоянно имея в виду беспощадный цензорский карандаш. «Упрекают мои статьи в темноте; несправедливо, они намеренно затемнены.— Грустно!» — писал Герцен в дневнике в ноябре 1844 года (III, 361). Горькое сознание «невозможности писать то, что хочешь», и «неспособности писать то, что можно», проходит через многие дневниковые записи и письма Герцена этих лет. «У нас весь талант должен быть употреблен на то, чтоб закрыть свою мысль под рабски вымышленными, условными словами и оборотами... Ужасное, безвыходное состояние!» (III, 54).

В книге «О развитии революционных идей в России» Герцен иронически писал, что цензура «сильно способствует

---

[19] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», т. I, стр. 319 (курсив наш.— *В. П.*).

[20] П. А. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, стр. 299.

[21] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 445.

[22] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 9.

развитию искусства слога и уменья обуздывать свою речь»[23]. Как часто бывает у Герцена, за этим парадоксальным положением следовала глубокая и вполне серьезная характеристика своеобразия публицистического стиля русской демократии: «Обузданная мысль сосредоточивает в себе больше смысла,— в ней больше остроты; говорить так, чтобы мысль была ясна, но чтобы слова находил сам читатель,— это лучший способ убеждать»[24].

Герцен успешно овладел трудным и не всегда безопасным мастерством убеждать читателя подцензурной печати в правильности и силе передовых идей. Ленинское положение о том, что Чернышевский своими подцензурными статьями воспитывал настоящих революционеров, отмечало своеобразную особенность русской демократической традиции в целом и в известном смысле может быть отнесено к подцензурной публицистике Герцена. «Литература у народа, политической свободы не имеющего,— говорил Герцен в книге «О развитии революционных идей в России»,— единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести»[25].

Герцен отчетливо сознавал революционное значение своих философских и публицистических статей, печатавшихся в сороковых годах в «Отечественных записках». После второй статьи из цикла «Дилетантизм в науке» он откровенно записывает в дневнике, что она может принести ему «третью ссылку» (III, 98), а после четвертой статьи признается: «Я со всяким днем нахожу вероятным, что над всеми нами опять разразится гром...» (III, 146). Впоследствии, уже в период эмиграции Герцена, цензурные власти приложили немало усилий, чтобы изъять из обращения комплекты «Отечественных записок» тех лет, когда там появлялись «крамольные» статьи Искандера.

Характер ранней публицистики Герцена показывает, в каких трудных условиях ему, как и Белинскому, приходилось отстаивать свои демократические убеждения от нападок реакционных кругов и в свою очередь подвергать сокрушительной, убийственной критике апологетов самодержавия, крепостничества, мракобесия. Вместо прямой политической борьбы с идейными противниками по важнейшим и принципиальным вопросам русской общественной жизни сороковых годов, Герцен принужден был сплошь и рядом разменивать блестящий талант полемиста на побочные, второстепенные темы, нарочито затемнять свои философские статьи,— настолько, что, по

[23] А. И. Герцен. Избр. соч., стр. 400 (подлинник по-французски).
[24] Там же, стр. 401.
[25] Там же, стр. 391.

признанию Белинского, у него от них «трещит голова иногда»[26],— и слушать упреки в отсутствии легкости изложения[27], ограничивать себя рамками журнальной дискуссии, литературной полемики. Так возник цикл сатирических памфлетов Герцена, направленных против «Москвитянина» и его издателей: ««Москвитянин» о Копернике», «Путевые записки г. Вёдрина» и «Ум — хорошо, а два — лучше» (1843), ««Москвитянин» и вселенная» (1845) и др. По свидетельству современников, например, Грановского, эти статьи «произвели эффект»[28], особенно знаменитая литературная пародия на Вёдрина — Погодина. Герцену блестяще удалось передать в отрывке «изрубленные в куски» (III, 466) фразы погодинского дорожного дневника, «его шероховатый, неметенный слог, грубую манеру бросать корноухие, обгрызанные отметки и нежеванные мысли» («БиД», 302). Но разве эти задачи — даже в узком плане борьбы с Погодиным — стояли тогда перед Герценом-демократом? В статье ««Москвитянин» о Копернике» Герцен всю силу своего остроумия направляет на незначительную, но крайне невежественную статейку в славянофильском органе, доказывавшую, например, что великий польский ученый Коперник, который жил, как известно, в конце XV — начале XVI века, шел по следам... Галилея и Кеплера (XVI—XVII вв.) и даже Ньютона (XVII—XVIII вв.), оставив их, оказывается, «далеко за собою»! Не могла принести ему глубокого удовлетворения и рецензия на первую книжку «обновленного» «Москвитянина» — ««Москвитянин» и вселенная», хотя беспощадная ирония Герцена и здесь без промаха разила противника.

Внутренняя логика деятельности Герцена на журналистском поприще привела его к мысли о том, что писать надо не только с оглядкой на цензора, не только то, что можно печатать. Традиции русской «потаенной», бесцензурной рукописной литературы, на которых в значительной мере был воспитан сам Герцен, получили в его творчестве сороковых годов дальнейшее развитие. В эмиграцию Герцен вез с собою ряд произведений, художественных и публицистических, которые в силу русских цензурных условий не могли быть тогда опубликованы, но тем не менее имели широкое распространение

---

[26] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 109, письмо к Герцену от 6 апреля 1846 г.

[27] См. статью А. С<тудитского> «Русские литературные журналы за март 1846 года» в «Москвитянине» (1846, IV, стр. 120). Имея в виду статью о Бэконе из цикла «Письма об изучении природы» (глава VII), А. С. далее писал: «Надобно прочесть статью два-три раза, чтоб понять мысли автора и связь их» (там же).

[28] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 459, письмо к Н. Х. Кетчеру от 15 ноября 1843 г.

среди передовых читательских кругов России. Эта сторона деятельности Герцена сороковых годов до сих пор получила недостаточное отражение в литературе о писателе, между тем она имеет существенное значение. Публикуя в 1857 году в «Колоколе» свою сатирическую параллель Москвы и Петербурга — очерк, написанный еще в 1842 году, Герцен замечал, что в рукописных копиях эта статья «обошла всю Россию» (III, 8). Известно, например, что очерк, действительно, читался на вечерах петрашевцев[29]. «Само собой разумеется,— писал Герцен,— что нечего было и думать, чтобы цензура пропустила резкие места, а они-то и составляют все достоинство этой шутки» (там же). Действительно, в статье «Москва и Петербург», одном из ранних публицистических произведений Герцена, особенности его стиля как публициста-сатирика получили более полное выражение, чем в ряде позднейших печатных выступлений. Остроумные, блестящие по форме, лаконичные и четкие характеристики и сравнения таили в себе глубокий идейный смысл. Рассказывая, например, о своих петербургских встречах, Герцен перечисляет различные слои жителей столицы, и каким богатством содержания отмечены его предельно сжатые характеристики: «людей, беспрерывно пишущих, т. е. чиновников; людей, почти никогда не пишущих, т. е. русских литераторов; людей, не только никогда не пишуших, но и никогда не читающих, т. е. лейбгвардии штаб- и обер-офицеров» и т. д.; в Петербурге, пишет Герцен, он «видел поэтов в III Отделении собственной канцелярии и III Отделение собственной канцелярии, занимающееся поэтами...» (III, 9). Разумеется, подобные намеки не могли быть тогда напечатаны, как не могли увидеть свет и слова Герцена, находившегося в то время в ссылке в Новгороде, о «фатуме, который за нас избирает место жительства» (III, 15). Герцен выступал в статье против общих, типических явлений, присущих русскому самодержавию, и это предопределило успех статьи у передового читателя.

Широкое распространение в рукописных списках получила статья Герцена «Ум — хорошо, а два — лучше», написанная в 1843 году, но опубликованная почти два десятилетия спустя, в третьем томе лондонского издания «Былого и дум». Статья эта, содержащая ядовитую характеристику «двух литературных браков» — Булгарина и Греча, Шевырева и Погодина,— была полна совершенно явных для современников намеков на связи реакционной журналистики с III отделением. О популярности статьи среди русских читателей сороковых — пяти-

---

[29] См. «Дело петрашевцев», т. I. М.— Л., 1937, стр. 388—389; т. III, 1951, стр. 60, 204 и др.

десятых годов можно судить по следующему, весьма примечательному факту. В рецензии Добролюбова, относящейся к 1859 году и посвященной лекциям по истории русской словесности Шевырева, т. е. одного из «персонажей» герценовской статьи, оказалась точная цитата из «Ум — хорошо, а два — лучше»[30]. Рецензия Добролюбова свидетельствовала о том, что свыше пятнадцати лет нигде не напечатанная герценовская статья продолжала бытовать в читательском обиходе передовых людей России.

Опубликованные впоследствии в изданиях Вольной русской типографии запретные страницы произведений Герцена представляют большой интерес, показывая силу социального протеста в творчестве крупнейшего демократического писателя России тех лет.

Каждый новый год жизни в эмиграции открывал перед Герценом-публицистом новые, широкие возможности. Заметим, что, вопреки распространенному мнению, публицистические выступления Герцена в русской печати продолжались — и не только в первое время после его отъезда за границу, но в пятидесятых и даже в шестидесятых годах (разумеется, авторство этих статей тщательно скрывалось от цензуры). Так, в «С.-Петербургских ведомостях» 26 апреля 1856 года была напечатана статья Герцена «Из писем путешественника во внутренности Англии», подписанная «В. Б.»[31]. Статья содержала яркую характеристику буржуазной Англии; показав подлинный облик внутренней жизни Британских островов, Герцен завершал статью «горьким, выстраданным стихом» Байрона из «Дон-Жуана»: «Вы — безнравственный народ, и вы это знаете» (VIII, 303). Любопытно, что даже статья о «внутренностях» далекой Англии не прошла безболезненно через цензуру, в ряде мест «подправившую» Герцена; впрочем, не исключено, что это было предварительно, во избежание недоразумений, проделано фактическим редактором газеты Краевским.

Герцен был готов продолжать свой рассказ об Англии, «если читатели того пожелают» (там же). Однако нового письма на страницах «С.-Петербургских ведомостей» не последовало. Зато 2 сентября в той же газете за той же подписью появился отрывок Герцена «Оба лучше». В этой, по

---

[30] См. Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. II, стр. 444, и А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. III, стр. 289.

[31] Подлинная рукопись, отрывок которой хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, подписана «В. Бельтов» (очевидно, редакция, опасаясь привлечь внимание цензуры, изменила столь прозрачный псевдоним на инициалы). См. «Бюллетени рукописного отдела» Института, II, стр. 32—33, № 16, а также А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. XXII, стр. 63—64.

словам Тургенева, «очень умной и тонкой вещице»[32] содержалась саркастическая зарисовка морального облика буржуазии, падения нравов в капиталистическом обществе.

Писать о жизни крепостной России в подцензурной русской печати Герцен, конечно, не мог. С тем большей силой эта тема звучала в его лондонских изданиях.

Однако главное здесь заключалось не в отсутствии цензурных ограничений, сковывавших его слово в России, и даже не в организации Вольной русской типографии, создавшей практически необходимые условия для дальнейшей успешной деятельности. Главное заключалось в идейном росте самого Герцена после поражения революции 1848 года и в период революционной ситуации в России в 1859—1861 годах. Только в условиях дальнейшего развития крестьянского движения в России и в значительной мере — на основе опыта революционной борьбы западноевропейского пролетариата Герцен смог безбоязненно встать на сторону революционной демократии против либерализма и поднять знамя революции.

Важнейшим этапом в развитии Герцена как публициста была его деятельность организатора, редактора и ведущего автора изданий Вольной русской типографии. Сила «Колокола» в большой мере опиралась на яркий публицистический талант Герцена, своеобразно окрасивший все издание. В Герцене могучая энергия революционера-организатора счастливо сочеталась с мастерством художника слова. Его обличительные заметки были полны революционного гнева и ненависти; его ирония с ростом демократических убеждений вырастала в грозное искусство меткого, целенаправленного сарказма.

Боевой агитационный стиль «Колокола» был большим завоеванием русской публицистики и впоследствии получил широкое развитие в революционной печати, подпольных листовках и брошюрах. Ленин называл общедемократическую бесцензурную печать «с «Колоколом» Герцена во главе ее» «предшественницей рабочей (пролетарски-демократической или социал-демократической) печати»[33]. Статьи, политические фельетоны и памфлеты Герцена в «Колоколе» могут служить классическими образцами публицистического стиля русской демократии, с его широтой охвата разнообразных явлений и проникновением в их сущность, с его умением в ярких афористических выводах обобщить свои наблюдения. Характерны в этом отношении самые заголовки герценовских статей и заметок в «Колоколе», лаконичные и хлесткие: «Поли-

[32] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 96, письмо от 8 января 1857 г.

[33] В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 223.

цейский разбой в Москве» (1857), «Секущее православие» (1858), «Постельная барщина продолжается» (1859), «Во Христе сапер Игнатий» (1859), «Розги долой!» (1860), «Они совсем сошли с ума» (1864), «Петербургская Агриппина» (1864), «Убили» (1865), «Скоты» (1867) и т. п.

Поразительно искусство, с которым Герцен среди многообразных явлений русской и зарубежной жизни умел находить наиболее острые и волнующие для читателей «Колокола» темы своих статей, фельетонов, мелких заметок. Герцен всегда смотрел на «Колокол», как на свободный разговор с русским читателем. Отсюда легкий, импровизационный тон его заметок и постоянное обращение к читателю с каким-либо вопросом или просьбой. Думается, Герцену при этом был важен не столько данный конкретный ответ, сколько контакт со своими читательскими кругами вообще. Поэтому он так настойчиво добивается, например, фамилии капитана, истязавшего мальчика: «Неужели его поступок находит или такое сочувствие, или такое равнодушие, что никто не дал себе труда исполнить нашу просьбу?» (XV, 39) [34]. Получив ожидаемое сообщение от одного из читателей, Герцен с удовлетворением писал: «Второй запрос наш не остался без ответа» (XV, 55) [35].

Сознанием тесного общения с читателем были продиктованы агитационные призывы статей Герцена, особенно начиная с шестидесятых годов, когда он, преодолев в себе либеральные иллюзии и колебания, пришел в лагерь революционной демократии. Начав деятельность Вольной русской типографии с обращения к «русскому дворянству» («Юрьев день! Юрьев день!», 1853), Герцен призывает теперь к действию широкие народные массы. «Проклятье вам, проклятье и, если возможно,— месть!» — заканчивает он гневную заметку в «Колоколе» о расправе самодержавия с Чернышевским (XVII, 261). Призыв к мести, к революционной активности масс неустанно звучит на страницах «Колокола» шестидесятых годов. Герцен не упускает малейшей возможности хотя бы краткой заметкой, всего в несколько строк, натолкнуть читателя на мысль об активном сопротивлении насилию. Как характерна для него, например, такая заметка в «Колоколе» от 15 февраля 1860 г.: «Правда ли, что академик Басин бьет учеников академии художеств? И правда ли (если это правда), что ученики его еще не поколотили?» (X, 212). И все. Но, наверное, мысль о возможности «поколотить» притеснителя эта заметка обронила не только в жертвах академика Басина.

В статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин цитирует заметку

[34] См. «Колокол», л. 119—120, 15 января 1862 г. и л. 121, 1 февраля 1862 г.

[35] См. там же, л. 122—123, 15 февраля 1862 г.

в «Колоколе» от 1 февраля 1860 г. о том, как в Тамбовской губернии крепостной убил своего помещика, вступившись за честь невесты. «И превосходно сделал»,— писал в ней Герцен, и здесь же, как бы обобщая этот факт расправы с крепостником-тираном, замечал: «Кстати, когда же нам напишут, что сделали с орловским помещиком Гутцейтом, насиловавшим детей? или его оставили тоже *до первого жениха*?» (X, 205).

Тема двух Россий, «России подлой» и «России народной», становится ведущей в публицистике Герцена. Одним из наиболее сильных обличений торжествующей реакции в России середины шестидесятых годов был блестящий публицистический памфлет Герцена «VII лет» (1864). «Мы не можем привыкнуть к этой страшной, кровавой, безобразной, бесчеловечной, наглой на язык России, к этой литературе фискалов, к этим мясникам в генеральских эполетах, к этим квартальным на университетских кафедрах, к этим робеспьеровским трикотезам Зимнего дворца, старым, седым, беззубым девкам и бабам, к этим Катковым в юбке и Аскоченским в кринолинах, с их просвирками, вынутыми за здравие Михаила Николаевича, безобразными образами, посланными ему в благословение, к этим волчицам без молока, без Ромула и Рема, которые перенесли ревность диких самок в любовь к отечеству.

Ненависть, отвращение поселяет в себе эта Россия. От нее горишь тем разлагающим, отравляющим стыдом, который чувствует любящий сын, встречая пьяную мать свою, кутящую в публичном доме» (XVII, 296—297).

После страстного, экспрессивного монолога, обращенного к России Катковых и Муравьевых, особенно резким и впечатляющим выглядит переход к судьбе забитого, угнетенного народа: «Зачем, Россия, зачем твоя история, шедшая темными несчастьями и глухою ночью, должна еще идти сточными трубами? Зачем на другой день после освобождения, когда мы могли миру в первый раз отроду, с радостно поднятой головой, показать, какое руно сохранила ты, бедная, под розгами помещика, под палкой полиции, под царским кнутом,— зачем ты дала себя стащить в эту канаву, в эту помойную яму? Терпи теперь, народ русский, на чужом пиру похмелье...» (XVII, 297). Далее Герцен с презрением и гневом вновь обращается к правящим кругам в стране — с тем, чтобы закончить статью прочувствованными словами о «новой России» и нерушимости своего союза с ней.

Сила этих контрастных сопоставлений, характеризующих статью-памфлет Герцена и весьма типичных для публицистики писателя в целом, исключительно велика. Само композиционное построение и стилевые особенности публицистиче-

ских произведений Герцена глубоко соответствовали их боевым призывам, пафосу борьбы двух миров и утверждению неизбежной победы революционного народа.

Замечательный талант Герцена-публициста позволял ему рассматривать отдельные конкретные факты помещичьего произвола и деспотизма, частные проявления бюрократической административной системы самодержавной России как типические явления, органически присущие всему самодержавно-крепостническому строю. Многие персонажи герценовских заметок становились в полном смысле слова нарицательными образами большой обобщающей силы. Таков, например, упомянутый выше орловский помещик-насильник Гутцейт: Герцен как бы олицетворяет в нем весь дикий произвол русских крепостников над своими рабами; из номера в номер «Колокола» он возвращается к этому образу [36]. Помещик Гутцейт, подобно губернатору Тюфяеву из «Былого и дум», настолько типично воплощал собою в живой, реальной действительности крепостнической России ее гнусные, отталкивающие черты, что мог без всякого авторского домысла служить предметом художественно-публицистического обобщения. В этом снова проявлялась характерная близость творческого метода Герцена как художника-мемуариста и как публициста.

Особенностью художественного наследия Герцена было творческое использование установившихся жанров. Наиболее полное выражение эта сторона его таланта нашла в «Былом и думах», но к художественному новаторству в мемуарах писатель был подготовлен всем ходом своего творческого развития и прежде всего опытом своей деятельности как публициста. Жанровые формы публицистического наследства Герцена крайне условны. Как правило, писатель не соблюдает строгой определенности жанра и легко переходит от одной формы к другой в пределах того же произведения. Весьма характерно, что одним из наиболее любимых жанров Герцена всегда были «письма» [37]. В «Письмах к будущему другу» он признавался, что ему «хотелось писать о всякой всячине... для этого форма письма самая широкая, она свободна, как женская блуза: нигде не шнурует и нигде не жмет» (XVII, 75). К такой широкой и свободной форме Герцен стремился и в беллетристике, и в мемуарах, и в публицистических статьях, мало считаясь с жанровыми ограничениями.

---

[36] См. «Колокол», л. 38, 15 марта 1859 г.; л. 80, 1 сентября 1860 г.; л. 85, 15 ноября 1860 г.; л. 93, 1 марта 1861 г., и др.

[37] См. «Письма об изучении природы», «Письма из Франции и Италии», цикл писем «Концы и начала» (1862), «Письма к будущему другу» (1864), «Письма к противнику» (1864), «Письма к путешественнику» (1865), цикл писем «К старому товарищу» (1869) и т. д.

Жанровая сложность того или иного произведения Герцена-публициста позволяла ему привлекать разнообразные стилевые средства для достижения наибольшего художественного эффекта, живости и образности рассказа как одного из условий воздействия на читателя.

Художественная образность была характерна для критических, историко-литературных и исторических работ писателя. Ранняя статья Герцена «Гофман» (1833—1834), по форме напоминающая скорее художественный очерк, уже содержала в себе многие отличительные черты его литературного стиля — сочетание сюжетных подробностей (например, в главе I) с попутными рассуждениями на общеполитические темы (начало главы II), непосредственное обращение автора к читателю (на последних страницах статьи), образный, метафорический язык. Правда, в «Гофмане» весьма сильно сказалась романтическая экзальтация молодого Герцена, отсюда вытекали, например, и его претенциозная красочность в характеристиках образов «Вильгельма Мейстера», и описание чисто субъективных впечатлений от чтения Гофмана, даже самый подбор цитат из произведений немецкого романтика. Более поздние критические статьи Герцена свободны от романтических воздействий, сохраняя, однако, яркую образность своего стиля. Своеобразие стиля Герцена как историка и литературного критика проявляется в смелом включении в статьи мемуарного и беллетристического рассказа. Так, в предисловии к немецкому изданию «Рыбаков» Григоровича «О романе из народной жизни в России» (1857) Герцен вспоминает: «Когда я покидал Россию, я был мало знаком с произведениями Григоровича. Он был тогда одним из молодых авторов, только что начинавших писать. В Неаполе, в 1848 году, я впервые прочел «Антона-Горемыку», простую историю крестьянина, которого преследует бурмистр за то, что он под диктовку других крестьян написал помещику прошение, направленное против этого бурмистра. Это «memento patriam»[38], было особенно тяжело в переживаемую Италией революционную пору, под сладким, ласкающим воздухом Средиземного моря. Я чувствовал угрызения совести; мне было стыдно находиться там, где я находился» (IX, 99; подлинник по-немецки). Этот эпизод мемуарного характера, неожиданно возникнув в статье Герцена, придавал ей эмоциональные тона и в то же время тесно связывал анализ произведений передовых русских писателей с общими задачами революционной борьбы в России, которым посвящены заключительные страницы предисловия. В статье «Император Александр I и В. Н. Каразин» (1862) Герцен обильно пользуется

[38] «Помни о родине» (*лат.*)

приемами исторического повествования; исходя из мемуарных свидетельств, он художественно дописывает и восстанавливает отдельные эпизоды рассказа — литературные вечера у Александра I (глава I), его беседы с Каразиным (глава III), диалоги действующих лиц. Публицистическая статья на историческую тему местами читается как исторический роман. Мысли Герцена постоянно иллюстрируются сюжетными сценами, иногда имеющими самостоятельное художественное значение. Приведем одну из таких иллюстраций — несомненно, фольклорного происхождения.

Однажды Пугачев проезжал усадьбой «одной известной степной старушки-барыни». «Струхнула старушка и вышла его величество звать хлеба-соли откушать.

«— А что, какова она у вас, православные? — спросил государь-казак мужиков.

«— Не хотим, ваше царское величество, греха на душу брать: мы барыней завсегда довольны,— мать нам родная.

«— Хорошо, старушка, пойду к тебе, выпью твоей водки, благо, народ хвалит.

«Старуха угостила, чем могла. Пугачев простился с ней и пошел садиться в сани. Народ его ждал. Лица были недовольны.

«— Али просьба какая? говори смелей!

«— Да что же, твое царское величество, при чем же мы-то... то есть останемся?

«— А что?

«— Да ведь вот ты, батюшка, был там-то — помещика-то повесил да и детенышей-то его, вот и там-то... ну, а мы-то как?

«— Да ведь вы же говорите, что больно хороша ваша старуха.

«— Оно точно, твое величество, она добрая женщина, да, ведь, все же, лучше порешить.

«— Ну, братцы, коли хотите, как хотите, пожалуй, и порешим.

«— Жаль-то жаль, но делать нечего,— говорили мужички, отправляясь за старушкой, спокойно убиравшей посуду на радостях, что царь ее простил, и, к крайнему ее удивлению, повесили ее на перекладине» (XV, 166—167).

Отправляясь от этого рассказа, Герцен создает яркую картину крепостного состояния народа, непримиримой ненависти крестьян к помещикам. «Дворянство потеряло всякий смысл гражданской доблести перед правительством и всякое чувство нравственного стыда в отношении крестьян. Две России окончательно перестали друг в друге понимать людей. Между ними не было ничего человеческого — ни сострадания,

ни справедливости, разная нравственность, разные святыни. Запуганный крестьянин жался в своей деревне, боялся исправника, боялся города, где всякий мог его бить...» и т. д. (XV, 167).

Выдающимся литературным памятником явилась написанная Герценом история русского освободительного движения — книга «О развитии революционных идей в России» («Du développement des idées révolutionnaires en Russie»). Несмотря на то, что книга эта написана на французском языке и предназначалась для иностранного читателя, она по праву стала не только замечательным фактором русской общественной мысли, но и настоящим событием в жизни русской литературы и литературной речи. Впервые историческое развитие передовой русской культуры было рассмотрено и оценено с идейных позиций демократической части русского общества, под углом зрения тех революционных задач, которые выдвигала перед нею русская действительность. Но для нашей темы особенно важно подчеркнуть, что этот обзор развития революционных идей в России был на чужом языке написан русским писателем, большим художником русского слова. Русским в этой книге был не только весь строй ее мысли — революционная страстность автора и его патриотический пафос, национальная гордость Герцена сокровищами родной культуры и его жгучая ненависть к самодержавному режиму. Герцен оставался в ней тем же русским писателем, которого знали и любили передовые общественные круги России; с поразительной верностью он сохранил в книге на иностранном языке все своеобразие своего литературного таланта. Рассказ о прошлом и настоящем освободительной борьбы в России написан Герценом художественно ярко, его характеристики выразительны, язык меток и точен; многие положения и оценки книги стали классическими. Определяя, например, значение поэзии Пушкина в последекабрьскую эпоху, Герцен пишет: «Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее»[39]. Не менее ярки образная характеристика Веневитинова как «чистой поэтической души, задушенной в двадцать два года грубыми лапами русской жизни»[40], или герценовское определение смеха и реализма Гоголя в «Ревизоре» и «Мертвых душах»: «С московским небом все становится мрачно, пасмурно, враждебно. Он все смеется,— он смеется даже

---

[39] А. И. Герцен. Избр. соч., стр. 399 (подлинник по-французски).
[40] Там же, стр. 395.

больше, чем прежде,— но другим смехом, и только люди очень черствые или очень простодушные ошиблись в оценке этого смеха... Гоголь... сосредоточивается на двух своих самых заклятых врагах: на чиновнике и помещике. Никто никогда до него не читал такого полного патолого-анатомического курса о русском *чиновнике*. С хохотом на устах он без жалости проникает в самые сокровенные складки нечистой, злобной чиновнической души...»[41]. Успеху книги у зарубежного читателя, перед которым открылся новый, неведомый ранее мир высокой духовной жизни русского народа, способствовало не столько то обстоятельство, что книга писалась по-французски, сколько именно мастерство Герцена рассказывать о процессе развития литературы и общественной мысли, по существу, на языке художественных образов.

В творчестве Герцена художественное произведение и публицистика в собственном смысле слова взаимно пронизывают друг друга и образуют то органическое единство, которое во многом объясняет нам неповторимое своеобразие герценовского стиля. Вот как начинается у Герцена чисто публицистическая статья «Крещеная собственность» (1853): «С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, нежели распасться; слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали. С полей несет сытным дымом овинов, свежим сеном, из лесу веет смолистой хвоей, и скрипит запущенный колодезь, опуская бадью, и гремит по мосту порожняя телега, подгоняемая молодецким окриком...» (VII, 266). Или начало другой статьи: «Слава Церере, Помоне и их родственникам! Я, наконец, не с вами, любезные друзья! — Я один в деревне. Мне смертельно хотелось отдохнуть поодаль от всех... Нельзя сказать, чтоб почтенные особы, которых я сейчас славословил, очень изубыточились для моего приема: дождь льет день и ночь, ветер рвет ставни, шагу нельзя сделать из комнаты, и,— странное дело! — при всем этом я ожил, поправился, веселее вздохнул,— нашел то, за чем ехал. Выйдешь под вечер на балкон: ничто не мешает взгляду; вдохнешь в себя влажно-живой, насыщенный дыханием леса и лугов воздух, прислушаешься к дубравному шуму,— и на душе легче, благороднее, светлее; какая-то благочестивая тишина кругом успокаивает, примиряет...» и т. д. (IV, 1—2)[42].

---

[41] А. И. Герцен. Избр. соч., стр. 406 (подлинник по-французски).

[42] Ср. аналогичное вступление к третьему письму цикла «Концы и начала» (XV, 259).

Мы привели эти строки, напоминающие лирическую запись в дневнике, из труднейшей философской работы — знаменитой статьи Герцена «Эмпирия и идеализм» в цикле «Писем об изучении природы». Меньше всего Герцен стремился при этом к «оживлению» отвлеченных философских рассуждений статьи, художественная образность отнюдь не служила для него, как философа и публициста, искусным литературным приемом. Необычайный зачин находился в полном соответствии со всем характером дальнейшего повествования — напряженно взволнованного, эмоционально окрашенного, полного глубокого внутреннего драматизма. Потому таким сильным и непосредственным было воздействие художественной публицистики Герцена на читателя.

Образность публицистической речи Герцена в отдельных случаях достигалась благодаря использованию ярких аллегорий и сравнений. В статье «Mortuos plango..»[43] (1861—1862) писатель в следующей притче выразил крушение либеральной легенды об Америке: «Была у гордого старика одна мечта, одна надежда... казалось, в самом деле, сбыточная. Он утешался, как король Лир, мыслью, что у него вдали есть дочь — богатая и вольная, которой он при жизни завещал свое лучшее достояние; она-то, думал он, исполнит его последнюю волю. И в те минуты, когда старику дома становилось тяжко, он мечтал об ней и собирался к ней перебраться.

Мы сами были увлечены и верили в нее.

Но не Корделией оказалась и эта дочь» (XV, 4—5).

В письме к Мишле «Русский народ и социализм» (1851) Герцен напоминает «очень распространенную в России сказку» о том, как «царь, подозревая жену в неверности, запер ее с сыном в бочку, потом велел засмолить бочку и бросить ее в море». Царевич «рос не по дням, а по часам»,— с каждым днем становилось ему в бочке все теснее и теснее, и решил он «протянуться в волюшку».

«— Светик мой, царевич,— отвечала мать,— не протягивайся. Бочка лопнет, и ты утонешь в соленой воде.

«Царевич смолк и, подумавши, сказал:

«— Протянусь, матушка; лучше раз протянуться в волюшку да умереть».

Свой пересказ русской народной сказки Герцен заключает глубоким обобщением, полным революционного смысла: «В этой сказке, м. г., вся наша история. Горе России, если в ней переведутся смелые люди, рискующие всем, чтобы хоть раз протянуться в волюшку.

Но этого бояться нечего...» (VI, 461).

---

[43] «Оплакиваю мертвых...» (*лат.*).

Насколько условным иной раз выглядит разграничение в Герцене художника и публициста, достаточно ярко показывают сопоставления некоторых так называемых «публицистических» фрагментов Герцена с его мемуарами, и наоборот.

«Жизнь моя сложилась рано, и я долго оставался молод. Воспоминания мои переходят за пределы николаевского времени; это им дает особый fond, они освещены вечерней зарей другого торжественного дня, полного надежд и стремлений. Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед... В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками... Я помню появление первых песен «Онегина» и первых сцен «Горя от ума»... Я помню, как, прерывая смех Грибоедова, ударял словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир... И вся эта передовая фаланга, несшаяся вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла...

В стране мятелей и снегов,
На берегах широкой Лены...

Я четырнадцатилетним мальчиком плакал об них и обрекал себя на то, чтоб отмстить их гибель» (XVII, 97).

Это — не «Былое и думы»; так писал Герцен в «Письмах к будущему другу», но разве вся стилевая манера приведенного отрывка не говорит о его органическом единстве со стилем художественных мемуаров Герцена? «Письмо» Чаадаева в «Былом и думах» Герцен образно называет «выстрелом, раздавшимся в темную ночь»: «тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет,— все равно, надобно было проснуться» («БиД», 287). Тот же образ возникает в известном месте из статьи «Новая фаза русской литературы»: ««Письмо» Чаадаева прогремело подобно выстрелу из пистолета в глубокую полночь. Что это: извещение о каком-то бедствии, призыв на помощь, знак пробуждения, вопль скорби? — Не важно. Несомненно лишь то, что после этого нельзя было больше спать» [44]. В этом совпадении образов заложен более глубокий смысл, чем в обычной автоцитате: Герцен смело черпает из мемуаров их яркую образность, поскольку для него стилистические и жанровые отличия историко-литературной статьи от записок не имеют большого значения. В высшей степени показательно, что большой отрывок из так называемого «рассказа о семейной драме», т. е.

[44] А. И. Герцен. Избр. соч., стр. 425 (подлинник по-французски).

самой интимной части «Былого и дум», им был впервые опубликован (с прямой ссылкой на мемуары) в пятом письме цикла «Концы и начала» (см. XV, 277—278). И это выглядело так же органично, как многочисленные цитаты из публицистических статей (не говоря уже о письмах и дневнике) на страницах «Былого и дум»[45]. Статья «Крещеная собственность» первоначально вообще мыслилась автору в составе «Былого и дум». В третий том лондонского издания мемуаров Герцен, как было указано, наряду с «Записками одного молодого человека», включил несколько полемических статей сороковых годов, «Капризы и раздумье» и т. д.,— писателю это казалось органическим дополнением к мемуарам.

«Несравненный художник-публицист», как писал об авторе «Былого и дум» А. В. Луначарский[46], Герцен заложил прочные основы для дальнейшего плодотворного развития русской революционной публицистики.

---

[45] Например, цитаты из некролога К. Аксакова в «Колоколе» (л. 90, 15 января 1861 г.) — в главе XXX «Былого и дум»; цитаты из «Писем из Франции и Италии» — в главе XXXIV; из книги «С того берега» — в главе XLIII и др.

[46] А. В. Луначарский. Литературные силуэты, стр. 13.

VII

«БЫЛОЕ И ДУМЫ»

Вершина художественного мастерства Герцена, «Былое и думы» являются крупнейшим памятником русской и мировой литературы. С огромной художественной силой, законченностью и полнотой мемуары запечатлели облик Герцена, все пережитое и передуманное им на жизненном пути, его искания и его борьбу. Вместе с тем «Былое и думы» стали величайшей художественной летописью общественной жизни и революционной борьбы в России и Западной Европе на протяжении нескольких десятилетий, от восстания декабристов и студенческих кружков тридцатых годов до кануна Парижской Коммуны.

Мемуары Герцена были одной из тех книг, по которым изучали русский язык Маркс и Энгельс [1]. Глубоко знаменательно, что В. И. Ленин для характеристики Герцена обращается не только к его публицистическим статьям и философским работам, но и к «Былому и думам». В красочных картинах и образах «былого», в глубоких «раздумьях» писателя-философа перед нами проходит та сложная и противоречивая «духовная драма Герцена», в которой Ленин прозорливо увидел порождение и отражение целой всемирноисторической эпохи [2].

Горький писал о Герцене как о «правдивой мысли, коя на протяжении почти сорока лет отмечала и оценивала все разнообразные явления русской жизни» [3]. Именно поэтому задушевный, лирический рассказ Герцена, его своеобразная

---

[1] В письме к Энгельсу от 22 января 1870 г. Маркс, например, писал: «Итак, Герцен умер. Как раз в то время, когда я окончил главу *«Тюрьма»* и т. д.» (Соч., т. XXIV, стр. 281; слово «Тюрьма» написано Марксом по-русски). См. также «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. IV, 1929, стр. 360, 369.

[2] См. В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 10.

[3] М. Горький. История русской литературы, стр. 207.

исповедь, становится исторической хроникой, написанной со страстью и мастерством подлинного художника.

«Поэт и художник,— говорил Герцен,— в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера...» («БиД», 227). Мемуары Герцена в полной мере можно назвать книгой о русском народе, его жизни, его истории, его настоящем и будущем. Это — подлинная «энциклопедия русской жизни» середины прошлого столетия. Идейное содержание «Былого и дум» исключительно велико и многосторонне. Нет ни одного сколько-нибудь важного момента в развитии передовой русской мысли того времени, который не нашел бы своего отражения в мемуарах Герцена. Жизнь передового русского общества после поражения восстания декабристов, идейная борьба сороковых годов, поиски правильной революционной теории, появление в русском освободительном движении разночинной интеллигенции, ее место в общественно-политической борьбе шестидесятых годов — каждый из этих вопросов освещен в «Былом и думах» в тесной связи с рассказом о жизни и духовном развитии самого Герцена, о его неустанной борьбе с самодержавием, за счастье народа. Герцен, по словам Горького, воплощал в себе всю эпоху, и воплощал «поразительно полно, цельно, со всеми ее недостатками и со всем незабвенно хорошим» [4].

Горький называл Герцена «первым русским мыслителем», до которого «никто не смотрел так разносторонне и глубоко на русскую жизнь» [5]. Тем же глубоким, проницательным взглядом Герцен смотрел на жизнь Западной Европы «перед революцией и после нее», видел кровавую расправу реакции с восставшим народом, торжество сытого, ограниченного буржуа-мещанина, лицемерие буржуазной демократии, прикрываемое громкой либеральной фразой, и рост массового движения революционного пролетариата. «Былое и думы» ярко показывают жизнь и борьбу Герцена в огне революционных событий Запада, идейное развитие великого демократа в направлении к научному социализму.

Кипучая, страстная натура писателя-демократа и борца никогда не могла холодно, безучастно наблюдать многообразие общественно-политической борьбы как в России, так и на Западе. Всегда и везде — в пору «моровой полосы» николаевского деспотизма, среди революционного горения Европы, в дни призрачных «реформ» нового русского самодержца, в памятное время польского восстания — мы за-

[4] М. Горький. История русской литературы, стр. 200.
[5] Там же, стр. 206.

стаем Герцена в горниле событий, в вечном борении мысли и в новых исканиях.

Через свой личный жизненный опыт Герцен стремился познать закономерности исторического развития. Историзм искандеровских воспоминаний исходил из тонкого, необычайно глубокого понимания происходящих событий и всей эпохи. В социальной действительности своего времени Герцен пытливо ищет те силы, которые каждый раз обусловливали наблюдаемые им явления жизни.

Чувство глубокой любви к России пронизывает страницы «Былого и дум», согревает непередаваемым обаянием воспоминания великого патриота о далекой родине; невольно элегическая дымка сохраняется Герценом даже на рассказах о мрачных днях его русского прошлого. По словам писателя, в «Былом и думах» «при ненависти к деспотизму сквозь каждую строку видна любовь к народу» (VIII, 392).

Герцен говорил, что «чем кровнее, чем сильнее вживется художник в скорби и вопросы современности — тем сильнее они выразятся под его кистью» [6]. Активное участие Герцена в революционно-освободительном движении, в напряженных исканиях передовой русской общественной мысли явилось источником величайшей художественной силы его литературного творчества и прежде всего «Былого и дум».

Глубокий историзм «Былого и дум» был завоеванием жанра художественной автобиографии не только в русской, но и в мировой литературе. Картины и образы воспоминаний Герцена стали художественной хроникой эпохи, запечатлевшей как полувековой исторический путь русского общества, так и важнейшие моменты западноевропейского революционного движения того времени. Исторические конфликты и события в них перестали служить лишь фоном автобиографического рассказа. Своеобразие герценовских записок создавалось сочетанием в повествовании автобиографических воспоминаний с последовательным историческим рассказом.

Стремление пересказать свою жизнь, свои впечатления, мысли, чувства, как мы видели, всегда сопутствовало художественным замыслам и начинаниям Герцена. Еще в 1836 году он признавался, что в каждом сочинении хотел бы видеть «отдельную часть жизни» своей души, «совокупность их» должна была составить его «иероглифическую биографию» (I, 271). Но ранние очерки и наброски Герцена автобиографического характера не могли удовлетворить его — и не только потому, что из-за цензурных ограничений он был не в состоянии рассказать тогда о своем участии в революцион-

---

[6] «Звенья», 1936, VI, стр. 321—322, письмо к М. П. Боткину от 5 марта 1859 г.

но-освободительной борьбе передового русского общества. Узость и ограниченность социальной базы, на которую опирался самый опыт революционной деятельности Герцена как в тридцатые годы, непосредственно после разгрома декабристского движения, так и в сороковые, лишали его возможности рассматривать свою биографию в широком плане всенародной борьбы с деспотическим самодержавно-крепостническим строем. Автобиографические опыты молодого Герцена даже в лучших своих образцах неизбежно оставались в рамках художественной исповеди дворянского революционера. Больше того, перед Герценом-писателем не возникало тогда — и не могло возникнуть — проблемы выражения в рассказе о своей жизни освободительных устремлений народа, того «отражения истории», которое он сам впоследствии будет усматривать в «Былом и думах». Уровень развития революционного движения в России на его первом, дворянском этапе не позволял Герцену в борьбе передовых сил русского общества за освобождение народа в полной мере увидеть проявление освободительной борьбы самого народа. Только по мере перехода Герцена на идейные позиции революционной демократии им уяснялись историческое содержание и значение своей жизни и деятельности.

Сложная творческая история «Былого и дум», охватывающая более полутора десятилетий, ярко отразила противоречивый путь Герцена — мыслителя и революционера — в эти годы перелома его мировоззрения, завершившегося полной победой демократа над колебаниями к либерализму[7].

Тяжелые переживания, связанные с разочарованием Герцена в революционности европейской буржуазной демократии, совпали с крушением семейной жизни писателя. Осенью 1851 года во время кораблекрушения погибают мать и сын Герцена. 2 мая 1852 года в Ницце умирает его жена. «Все рухнуло: общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастие. Камня на камне не осталось от прежней жизни» («БиД», 358).

В лондонском одиночестве 1852 года Герцен начал писать свои мемуары. Он пишет их как «надгробный памятник и исповедь», они — его «биография и умозрение, события и мысли», все «слышанное и виденное, наболевшее и выстраданное» им, его «воспоминания и... еще воспоминания!» (VII, 263). Эпиграфом одного из ранних предисловий «Былого и

[7] Вопросам канонического текста мемуаров Герцена специально посвящена наша статья «Из творческой истории «Былого и дум»» (сб. «А. И. Герцен», М., 1946, стр. 120—158), поэтому мы касаемся дальше лишь основных моментов в работе Герцена над автобиографией, отразивших изменения в идейном замысле и характере «Былого и дум».

дум» («Братьям на Руси») Герцен поставил слова: «Под сими строками покоится прах сорокалетней жизни, окончившейся прежде смерти» («БиД», 5). Но случилось иначе: его мемуары стали не столько «надгробием» былому, сколько памятником борьбы и больших идейных побед великого писателя-демократа.

Признание пришло к Герцену-мемуаристу с первыми отрывочными публикациями «Записок Искандера». «Это прелесть,— писал Тургенев под впечатлением начальных глав мемуаров,—...ты непременно продолжай эти рассказы: в них есть какая-то мужественная безыскусственная правда, и сквозь печальные их звуки прорывается, как бы нехотя, веселость и свежесть. Мне все это чрезвычайно понравилось,— и я повторяю свою просьбу — непременно продолжать их, не стесняясь ничем» [8].

Тургенев не знал, что опубликованные тогда страницы были лишь незначительной частью рукописи, извлечением из большого повествования, охватывающего всю жизнь писателя, от ранних воспоминаний до страшных событий семейной драмы и переезда в Лондон. Но по мере того как на протяжении пятнадцати лет Герцен печатал мемуары, неустанно пополняя их новыми главами и частями, прояснялись подлинно величественные очертания его труда.

Поводом, первым толчком, побудившим Герцена оглянуться на свое «былое», явилась наболевшая потребность «рассказать страшную историю последних лет» его жизни («БиД», 5). Ранние замыслы записок ограничивались рамками трагических событий семейной жизни Герцена в 1849—1852 годах, завершившихся смертью жены писателя. Непосредственное обращение к работе, однако, сразу значительно расширило первые контуры мемуаров.

В конце первой недели работы перо писателя твердо выводит волнующий заголовок будущего труда — «Былое и думы». «Меня увлекло в такую даль, что я боюсь,— писал Герцен М. К. Рейхель 5 ноября 1852 года,— с одной стороны, жаль упустить эти воскреснувшие образы с такой подробностью, что в другой раз их не поймать... (VII, 157). Пробует Герцен «начать с отъезда из Москвы в чужие края» и ограничить мемуары годами эмиграции. «Положение русского революционера относительно басурман европейских стоит тоже отделать,— об этом никто еще не думал» (там же). Вскоре, однако, созревает твердое решение «писать и о первой части жизни», хотя бы «коротко» (VII, 160). Рассказ о семейной драме стал всего лишь эпизодом большого полотна.

[8] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 90, письмо от 22 сентября 1856 г.

Герцен начинает рассказ с воспоминаний детских лет, останавливается на бытовых картинах, не скупится на подробные характеристики даже второстепенных лиц, с которыми приходилось ему сталкиваться, сплошь и рядом допускает публицистические рассуждения и отступления, сглаживая ожидаемую психологическую напряженность и остроту мемуара. Интимная, узко личная сторона воспоминаний стушевывается в воскрешаемой памятью писателя широкой картине «былого».

Позднее Герцен вспоминал, как родились начальные страницы мемуаров: «Я решился писать; но одно воспоминание вызвало сотни других, все старое, полузабытое воскресало — отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освещая и укрепляя своими ударами молодую жизнь. Я не имел сил отогнать эти тени...» («БиД», 834).

Решившись «писать с начала», он раньше других создает те главы мемуаров, которые впоследствии составили первую часть «Былого и дум» — «Детскую и университет».

Мемуары захватили писателя. Несмотря на то, что работа над ними совпала с организацией Вольной русской типографии, требовавшей много времени и сил, Герцен настойчиво продолжал писать главу за главой. Весной 1853 года первая часть уже близилась к концу; одновременно писались отдельные эпизоды для будущей второй части.

В 1854 году отдельной книгой под названием, так и сохранившимся затем за второй частью мемуаров — «Тюрьма и ссылка», появились первые печатные страницы «Былого и дум». Книга имела выдающийся успех. В 1855 году почти одновременно вышли немецкое и английское издания, в следующем году ее переводят на датский язык, в 1861 году в Париже она появилась на французском.

В 1858 году Герцен вторично выпускает русское издание книги, причем вносит в него несколько дополнений, оставляя самый текст без значительных поправок. Более крупным изменениям «Тюрьма и ссылка» подверглась в отдельном издании «Былого и дум», где она вместе с первой частью, ранее опубликованной в «Полярной звезде» на 1856 год, составила первый том мемуаров (Лондон, 1861).

Таким образом, если учесть, что уже перед первыми публикациями Герцен во многом пересмотрел рукопись 1852— начала 1853 года, то текст отдельного издания представляет собою третью редакцию первых двух частей, законно канонизированную последующими изданиями «Былого и дум».

Постоянное возвращение Герцена к работе над старыми, даже опубликованными, вариантами отдельных глав мемуаров не может быть объяснено общим стремлением совершенствовать язык и стиль своего произведения. В результате дальнейшей работы менялся самый характер мемуаров, давалось другое освещение тех или иных эпизодов, лиц. Писателя не удовлетворяло прежде всего то, что замыкалось в узкие пределы семейных или личных, интимных воспоминаний. Первоначальная, самая ранняя рукопись первых частей мемуаров (т. е. рукопись 1852—1853 гг.) затерялась, но мы знаем, что далеко не все написанное тогда увидело свет: так, например, были опущены — и никогда не восстановлены — страницы об «уединенном, печальном существовании» брата Герцена, Егора Ивановича[9]. Напротив, дополнения текста в последующих изданиях почти во всех случаях расширяли картину жизни н а р о д а, вносили новые черты в характеристику бесправия и рабского состояния крепостной массы, еще более резко и остро рисовали нравы правящих кругов русского общества. Для примера отметим, что такие блестящие страницы «Тюрьмы и ссылки», как встреча с Цехановичем или история владимирского старосты, были впервые введены в текст «Былого и дум» лишь в 1858 году, при втором издании книги.

Работа писателя над мемуарами становилась еще упорнее и напряженнее по мере приближения к важнейшим и самым драматическим моментам его биографии.

Главы третьей части «Былого и дум» (владимирские воспоминания) Герцен сам датировал потом 1853 годом. Письма Герцена рассказывают об устойчивых и долгих колебаниях писателя относительно самой возможности предавать эти главы гласности. «У меня есть еще целый том записок — гораздо интимнейший, нежели все, что напечатано,— сообщал он Тургеневу 26 сентября 1856 г.— Я многими местами доволен, потому что помню, как больно многое было отдирать от сердца. Эта готовая часть (1837—1842), кажется мне, *должна еще лет десять пролежать не напечатанной.* Там слишком внутренности наружу, а ведь не все охотники до анатомии» (VIII, 340; курсив наш.— *В. П.*).

Пожалуй, никогда раньше, да и позднее, ни одно его произведение, законченное или в отрывке, столь не тревожило писателя, как эта часть «Былого и дум». В сознании

[9] См. «Полярная звезда» на 1856 г., кн. II, стр. 55 («БиД», 13). Небольшой отрывок из рассказа Герцена о Егоре Ивановиче, опущенного в «Полярной звезде», публикуется нами по материалам «Пражской коллекции» Герцена — Огарева в «Литературном наследстве», № 61.

Герцена далекие владимирские годы, этот «чуть ли не самый чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности» («БиД», 3), неразрывно связаны с воспоминаниями о семейной трагедии. «Зачем... воспоминание... обо всех светлых днях моего былого напоминает так много страшного?..» — спрашивал он еще в «Тюрьме и ссылке».— «Все прошло!» («БиД», 116) — и в свете трагического финала Герцену особенно дороги страницы былого счастья. «Часть эта мне много стоила и очень дорога»,— писал он Тургеневу в ноябре 1856 года (VIII, 357).

Однако общественная значимость владимирских глав вызывала большие сомнения писателя; недаром он признавался, что «эта часть не похожа на прежние» (VIII, 379). Эти колебания снова очень характерны: ведь всего три-четыре года назад Герцен приступил к работе над мемуарами, и тогда ему казалось, что именно интимные главы определят общий характер его записок. Теперь же, в примечании к журнальному тексту, он напишет, что печатаемая часть «интимнее прежних; *именно потому она имеет меньше интереса, меньше фактов...*» [10]. Не может быть сомнения, что третья часть в рукописи 1853 года самым существенным образом отличалась от печатного варианта; Герцен сам признавал, что впоследствии он «многое прибавил и дополнил» [11]. Но даже в переработанном виде он долго не решается ее публиковать.

Письма друзей придали Герцену решимости: «том своих записок печатать решился,— пишет он Тургеневу 8 ноября 1856 г.— Что будет, то будет» (VIII, 355). И через несколько дней повторяет: «Я окончательно решился печатать еще часть «Записок»; буду с истинным страхом ждать вашего суда» (VIII, 357).

Когда «Полярная звезда» с главами третьей части (правда, с некоторыми пропусками) вышла в свет, Герцен писал Тургеневу: «Ну, смотри же, мнение основательное и без пощады» (VIII, 389).

Через несколько дней Тургенев отвечал: «Третьего дня получил я твои «Записки» и тотчас прочел их. Впечатление было сильное и хорошее: в этих главах чрезвычайно много поэзии и юности; лицо твоей жены... привлекательно и живо, отрывки из ее писем дают понятие о замечательной натуре. Последняя глава мне очень понравилась и возбудит негодование только тех людей, которых одно твое имя сердит» [12].

---

[10] «Полярная звезда» на 1857 г., кн. III, стр. 70 (курсив наш.— *В. П.*)
[11] Там же, стр. 69.
[12] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 104—105, письмо от 16 января 1857 г.

По словам Тургенева, «в восхищении от последнего отрывка» мемуаров остался также Некрасов[13].

Успех третьей части в «Полярной звезде» повлиял на ее окончательную редакцию во втором томе отдельного лондонского издания. Она смелее и откровеннее первого печатного варианта, хотя Герцен снова далеко не полностью опубликовал интимные «листки» этих глав. Пропущенные страницы были восстановлены в тексте мемуаров только в издании М. Лемке.

Первоначально третья часть мемуаров охватывала весь период жизни Герцена с января 1838 года до отъезда из России. Рукопись 1853 года, таким образом, не заканчивалась главой «13 июня 1839 года», продолжением ее служил рассказ о возвращении в Москву, переезде в Петербург, новой ссылке и всех последующих событиях, кончая хлопотами о заграничном паспорте. Интересно, что продолжение это увидело свет раньше начальных глав части, долго казавшихся Герцену, как мы видели, слишком «домашними» для печати. Оно было опубликовано в первой же книжке «Полярной звезды» (1855).

Приступая к изданию своих записок, Герцен не случайно, вслед за «Тюрьмой и ссылкой», остановил на этих страницах свое внимание. Они заключали в себе рассказ о крупнейших идейно-политических событиях в среде русской интеллигенции сороковых годов, тех событий, в которых ярко выразилась растущая дифференциация русского общества. Герцен не мог не знать и не видеть, как велико общественное звучание его воспоминаний о кружках сороковых годов, их разногласиях и борьбе. Мемуары здесь сразу же при появлении в печати играли роль исторических документов. Так смотрел на них уже Чернышевский, воспользовавшийся записками Герцена для своих «Очерков гоголевского периода русской литературы» (1856).

Между тем, затерянные в рукописи 1853 года среди личных, интимных воспоминаний, они носили отрывочный характер, многое недосказывали и далеко не исчерпывали обширного круга вопросов, связанных с идейной жизнью Москвы и Петербурга тех лет.

На рубеже 1856—1857 годов Герцен возвращается к работе над последней «русской» частью записок. «Я теперь пишу прибавочную главу к московской жизни и, кажется, хорошо, — сообщает Герцен Тургеневу в первых числах января 1857 года.— Вот ее содержание: (1843—1847)

---

[13] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену». стр. 106, письмо от 16/28 февраля 1857 г.

Грановский и молодые профессора, Киреевские и Хомяков, общество в Москве и на Западе. Теоретическое разъединение в 1846 году. Первым отделом, «Грановский», Огарев доволен очень, вторым — я. Желаю, чтоб тебе понравились оба. Но... печатать я еще боюсь; как вы думаете?» (VIII, 389—390).

Через несколько дней, в новом письме Тургеневу, Герцен снова возвращается к «главе о Грановском» и пишет, что она, в самом деле, «горячо удалась» ему (VIII, 392).

Только спустя год новые, дополнительные отрывки из будущей четвертой части «Былого и дум» появятся в «Полярной звезде» (кн. IV, 1858). Незадолго до этого Герцен рассказывал в одном из писем к М. К. Рейхель, какого тяжелого напряжения и труда они ему стоили.

«Да, писать «Записки», как я их пишу, — дело страшное, но они только и могут провести черту по сердцу читающих, потому что их страшно писать... Сто раз переписывал главу... о размолвке (с Грановским. — *В. П.*), я смотрел на каждое слово, — каждое просочилось сквозь кровь и слезы. Я год обдумывал, начать или не начинать труд такой интимный и такой страстный, что начавши, трудно было остановиться. Весь вопрос состоял: «исповедуешься ли ты перед своей совестью, что ты чувствуешь в себе силу и твердость сказать всю истину?» Из этого не следует, что все в моих записках— само по себе *истина,* но истина для меня, я мог *ошибиться,* но уже не мог не говорить правды. Вот... отгадка, почему и те, которые нападают на все писанное мною, в восхищении от «Былого и дум»,— пахнет живым мясом» (IX, 81).

В ряду автокомментариев Герцена к «Былому и думам» приведенным строкам принадлежит значительное место; помимо того, что они останавливаются на самом творческом процессе создания мемуаров («год обдумывал», «сто раз переписывал», «каждое слово просочилось сквозь кровь и слезы»), признания Герцена интересны также тем, что их вызвали именно главы об общественной и литературной жизни сороковых годов, а не о Владимире и не о семейной драме, хотя они в равной степени отражают весь стиль работы писателя над записями. Для Герцена центр его внимания в мемуарах переместился. Личное жизнеописание все настойчивее заслоняется исповедью общественной жизни мемуариста. Напряженная, порою кропотливая работа над главами о сороковых годах (снова доходившая до трех редакций текста!) хорошо передает сознание большой ответственности писателя за свои показания.

Но главное — поправки в мемуары вносила сама жизнь. В свете дальнейшего развития событий в России Герцену к 1856—1857 годам многое открылось для лучшего понимания

идейной борьбы сороковых годов. Со смертью Грановского и переездом Огарева в Лондон оборвались последние дружеские нити с «братьями на Руси», в своем большинстве примкнувшими к чуждому, враждебному лагерю. Естественно, что совсем еще недавние воспоминания о «юной Москве» потребовали дополнений и пересмотра. Для примера остановимся на работе Герцена над главой о Кетчере. Мы не знаем, какое место занимали воспоминания о Кетчере в затерянной рукописи 1853 года; даже публикуя в книге IV «Полярной звезды» новую редакцию глав четвертой части, Герцен выпустил страницы, посвященные Кетчеру, сохранив лишь в подзаголовках главы V прозрачный намек на его «неравный брак» («Mesalliance»). Но очевидно, что эта часть главы тогда же (т. е. в 1857 году) была переработана в специальный очерк о Кетчере, опубликованный только после смерти писателя [14]. В характеристике Кетчера Герцен резко разоблачал измены российского либерализма, тем не менее в очерке ясно ощущалась некая снисходительность в оценке былого друга, как известно, сыгравшего большую роль в личной жизни Герцена тридцатых годов. Через несколько лет Герцен дополнил свой очерк новыми подробностями, в которых выпукло и уже без всяких оговорок показал реакционную позицию Кетчера конца пятидесятых — шестидесятых годов. «Кетчер остался верен реакции, он стал тем же громовым голосом, с тем же негодованием и, вероятно, с тою же искренностью кричать против нас, как кричал против Николая, Дубельта, Булгарина...» («БиД», 343). Наконец, в 1865 году, заново пересмотрев весь очерк (как о том говорит пометка на рукописи), Герцен дописывает к нему «Эпилог». Примерно тогда же, в декабре 1865 года, он писал М. К. Рейхель о «знакомых» в России: «все они сделались врагами и большая часть дрянью... Кетчер во главе» (XVIII, 290).

На протяжении тринадцати лет Герцен по крайней мере пять раз возвращался к образу Кетчера в «Былом и думах». Эти наслоения различных лет в мемуарах Герцена постоянно следует иметь в виду при изучении «Былого и дум», как и при характеристике общего идейного пути писателя.

Нельзя, например, не обратить также внимания на двойственность и часто противоречивость герценовских оценок славянофилов в «Былом и думах». Воссоздавая яркие картины политической борьбы сороковых годов, Герцен переносил на страницы мемуаров весь пафос острых идейных схваток тех лет. Но временами, под влиянием либеральных колебаний,

---

[14] «Ничего для печати»,— написал Герцен на тетради, ныне хранящейся в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина (см. «Описание рукописей А. И. Герцена», стр. 7—8, № 3).

испытываемых Герценом в ту пору, ему казалось, что борьба между его лагерем и славянофилами «давно кончилась» и они «протянули друг другу руки!» («БиД», 284; заметим, что в ранней редакции главы — в «Полярной звезде» на 1858 год, кн. IV, этих слов не было), что его противники со своей реакционной проповедью отошли в прошлое и не представляют на новом этапе общественного развития России серьезной опасности. Тогда в окончательном тексте записок появлялись иные, примиряющие и спокойно-скорбные краски. Почти полностью на страницы отдельного издания «Былого и дум» было перенесено из «Колокола» (л. 90, 15 января 1861 г.) известное «надгробное слово» Герцена К. Аксакову. «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но не *одинакая*... И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как *сердце билось одно*» («БиД», 284) — это цитата из некролога была избрана Герценом в качестве эпиграфа к своему рассказу. Здесь наглядно отразился характер всей дальнейшей работы писателя над первоначальным вариантом главы: текст «Полярной звезды» был коренным образом перестроен и дополнен многими новыми страницами, прежде всего с целью, если не оправдать, то объяснить заблуждения славянофилов и подчеркнуть их внутреннюю искренность и честность, личное обаяние.

Возвращаясь к работе Герцена над текстом четвертой части «Былого и дум», следует вообще заметить, что для отдельного издания мемуаров (т. II, Лондон, 1861). Герцен не только заново переработал и перепланировал напечатанные в «Полярной звезде» (кн. I и кн. IV) главы, но дополнил их отрывками других публикаций, многие страницы были впервые написаны при подготовке издания к печати. «Теперь я издаю 2-ю часть (т. е. второй том.— *В. П.*) «Былого и дум»,— писал Герцен композитору В. Н. Кашперову в сентябре 1861 года,— *с большими дополнениями*» (XI, 238; курсив наш.— *В. П.*).

При всем том даже текст отдельного издания не давал полной редакции четвертой части. В него не вошли по разным причинам отрывки и целые главы, написанные и приготовленные Герценом к печати. Одни из них впоследствии затерялись, другие были восстановлены в тексте лишь позднейшими текстологическими изысканиями.

С выпуском в свет второго тома отдельного издания «Былого и дум» перед Герценом возникла задача огромной сложности и ответственности — собрать ранее опубликованные отрывки следующей, пятой части и, включив в них пропущенные страницы, в том числе — главы «рассказа о семейной драме», посвятить им новый том мемуаров. Решиться на это Герцену оказалось нелегко, и вышедший в 1862 году третий том

лондонского издания мемуаров стал «небольшой кладовой для старого добра», сборником различных статей, имевших «какое-нибудь отношение» к «Былому и думам». Герцен включил в него «Записки одного молодого человека», сценарий драматических отрывков «Лициний» и «Вильям Пен», несколько старых очерков и полемических статей — «во всей их *правде и кривде,* в костюме сороковых годов и во всей тогдашней односторонности» («БиД», 841).

Настоящим продолжением мемуаров явился четвертый том «Былого и дум», изданный уже в Женеве в 1866 году.

Подобно первым частям, новый том в значительной своей части публиковался раньше, в отдельных выпусках «Полярной звезды». В ноябре 1866 года Герцен извещал М. К. Рейхель: «Я имею вам послать новый том «Былого и дум», т. е. три четверти старого из «Пол‹ярной› Зв‹езды›», но есть и новое» (XIX, 100).

Первоначально Герцен открывал новую часть описанием событий, непосредственно предшествовавших семейной драме. В примечании к одной из ранних публикаций он писал: «Ни описания Европы, ни февральской революции, ни июньских дней в моих «Записках» не будет. Все *общее,* что я мог сказать, сказано мною в ряде статей «С того берега» и в «Письмах из Франции и Италии». Я, едва пометив несколько очерков, несколько частных воспоминаний, историю внутренней борьбы,— перехожу к 1850 году» [15].

Впоследствии «общие» главы пятой части, т. е. главы, посвященные европейскому революционному движению, наоборот, составили основное содержание четвертого тома, причем Герцен попрежнему считал, что «для пополнения этой части необходимы, особенно относительно 1848 года... «Письма из Франции и Италии»» и даже «хотел взять из них несколько отрывков» («БиД», 842).

Публикация пятой части началась во второй книге «Полярной звезды» так называемыми «Западными арабесками». По словам Герцена, эти небольшие отрывки создавались им «со скрежетом зубов»: «я ужасно за них стою,— писал он,— и думаю, что это — самое художественное из моих писаний и самое злое» (VIII, 266).

Несколько главок из «Западных арабесок» в первоначальной рукописи входило в «рассказ о семейной драме». Публикуя «Западные арабески», Герцен, в сущности, начинал печатать, отрывочно и неполно, этот «самый дорогой» («БиД», 842) для него том воспоминаний — памятник пережитой личной трагедии. Но продолжать его в новых книжках «Полярной звезды», наряду с другими отделами мемуаров, он не решался

[15] «Полярная звезда» на 1856 г., кн. II, стр. 171.

тогда — и не решился до конца жизни. «На этом пока и остановимся,— писал Герцен в «арабесках».— Когда-нибудь напечатаю я выпущенные главы и напишу другие, без которых рассказ мой останется непонятным, усеченным, может, ненужным, во всяком случае, будет не тем, чем я хотел,— но все это после, гораздо после...» [16]. Спустя десять лет, в издании 1866 года, он полностью сохранит эти строки в тексте нового издания мемуаров, а в послесловии снова скажет: «Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том...» («БиД», 842).

Одну из глав заветного «рассказа», «Oceano nox (1851)», Герцен все же включил в издание 1866 года. В примечании он объяснял: «Этот отрывок (никогда еще не печатавшийся) принадлежит к той части «Былого и дум», которая будет издана гораздо позже и для которой я писал все остальные» («БиД», 492). Второй раздел главы Герцен еще до отдельного издания опубликовал в «Полярной звезде» на 1859 год (кн. V), текст там многозначительно начинался тремя строками точек. По словам писателя, публикацию этого раздела у него вызвало «несколько строк о страшном происшествии, бывшем 16 ноября 1851 г. (т. е. гибели матери и сына Николая.— *В. П.*), в «Записках» Орсини, принимавшего самое горячее участие в несчастии...» (там же). Герцен писал тогда старшему сыну: «Печатая теперь страшные воспоминания о Коле, мне все Ницца перед глазами... и эта гора Эстрель и кладбище... над этими страницами я провел месяцы, на них следы слез... мне было почти жаль их печатать...» (IX, 530—531).

В 1862 году небольшой отрывок из «рассказа о семейной драме» был включен в пятое письмо цикла «Концы и начала». Остальные страницы целые десятилетия после смерти Герцена продолжали быть неизвестными читателю «Былого и дум». О них говорили, на них намекали разные главы и части мемуаров, но только в 1919 году, в первом советском издании сочинений Герцена (под редакцией М. Лемке), они впервые были напечатаны — по подлинной рукописи, сохранившейся в семье писателя.

В лондонском же издании текст перед «рассказом о семейной драме» обрывался. Далее шел раздел «Русские тени», по существу, начинавший совершенно самостоятельную часть мемуаров — серию очерков о русских общественных и политических деятелях. Кроме глав «Н. И. Сазонов» и «Энгельсоны», вошедших в четвертый том, при жизни писателя было опубликовано несколько других очерков его галлереи «русских

[16] «Полярная звезда» на 1856 г., кн. II, стр. 201.

портретов» («Pater V. Petcherine», «В. И. Кельсиев» и др.). История «Колокола» переплеталась в этих очерках с яркими художественными характеристиками современников, обрастала портретными зарисовками.

Писались эти очерки на протяжении всех шестидесятых годов. В то время Герцен еще смутно представлял себе, как войдут они в мемуары. Отводившуюся им ранее шестую часть «Былого и дум» он впоследствии решает посвятить «Лондону и эмигрантам не русским» (XIX, 316). В отрывках, опубликованных еще в конце пятидесятых годов в «Полярной звезде», он уже называл ее: «Англия (1852—1855)»[17]. Время затем раздвинуло рамки «английской» части почти на целое десятилетие: рассказ был доведен до событий середины шестидесятых годов.

Его составили художественные портреты «горных вершин» европейского освободительного движения и отдельные главы о жизни и борьбе лондонской эмиграции — пестрой «вольницы пятидесятых годов» («Польские выходцы», «Немцы в эмиграции» и т. д.).

Последнюю часть «Былого и дум», своеобразный «путевой дневник» Герцена, писатель называл «суплементином», т. е. «дополнением» ко всем мемуарам (XIX, 316).

«Труд этот,— говорил Герцен о «Былом и думах» еще в 1853 году,— может на всем остановиться, как наша жизнь; везде будет довольно и везде можно его продолжать» (VII, 263). Потому прерванные случайно, на полуслове, мемуары Искандера выглядят законченным художественным произведением и, в сущности, являются таковым, при всей отрывочности последних глав и при отсутствии последовательного логического конца.

Заключительные части «Былого и дум» отразили глубокий перелом, который произошел в мировоззрении Герцена в шестидесятых годах. Он увидал революционный народ в самой России и «безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма»[18]. Расставаясь с записками, Герцен сумел передать в них свое предчувствие новой исторической эпохи. Последние строки мемуаров писались незадолго до писем «К старому товарищу» (1869), обращенных к Бакунину, в которых «скептицизм» Герцена выразился особенно ярко, как форма «перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата»[19]. Известно, что идейное

---

[17] «Полярная звезда» на 1859 г., кн. V, стр. 160.
[18] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 14.
[19] Там же, стр. 11.

содержание «писем» подвергалось особенно злостному искажению в работах буржуазно-дворянских историков и литературоведов. Реакционная печать тенденциозным подбором цитат из этого произведения пыталась убедить читателя в том, что Герцен в последний период своей деятельности якобы отказался от революционной программы и революционных методов борьбы. Значения предсмертных «писем» Герцена для характеристики его идейного развития не понял Плеханов. Только в статье В. И. Ленина «Памяти Герцена» замечательный цикл писателя получил справедливо высокую оценку как свидетельство нового, высшего этапа в развитии мировоззрения Герцена.

Заключительные части и главы мемуаров ярко показывают идейное развитие Герцена в направлении к пониманию исторической роли западноевропейского рабочего класса. Кончая рассказ о «былом» и настоящем, Герцен смело заглянул в будущие судьбы России и всей Европы.

Все это обусловило особое, исключительно важное место, которое занимают последние части «Былого и дум» (т. е. части, написанные в шестидесятых годах) в общем комплексе идей и образов произведения.

Еще в 1866 году, в предисловии к четвертому, заключительному тому отдельного издания «Былого и дум», Герцен предельно четко формулировал свое понимание в основном уже написанных им мемуаров: ««Былое и думы» — не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге» («БиД», 842). Очень важно, что это классическое определение созрело в сознании Герцена в завершающий период его длительной работы над мемуарами. Разумеется, формула Герцена оценивала «Былое и думы» целиком, начиная с начальных глав воспоминаний, тем не менее сознательная установка писателя на «отражение истории» в своей биографии тесно связана главным образом с последними частями и главами мемуаров.

Содержанием заключительных фрагментов мемуаров, как было отмечено, явилась прежде всего и д е й н а я жизнь Герцена; это придало «Былому и думам» новые художественные качества. Начав еще в тридцатых годах с автобиографического рассказа «о себе», Герцен пришел к такой форме записок, которая почти полностью исключала интимные переживания и личные драмы писателя. Напомним, что это были годы его мучительного романа с Тучковой и вызванных им бесконечных семейных конфликтов, между тем даже имени Тучковой не появляется в мемуарах. Изменилось также самое соотношение в о с п о м и н а н и я и непосредственных отзвуков с е г о д н я ш н е г о д н я. Раньше Герцена-мемуариста от «детской и университета», «тюрьмы и ссылки» отделяли десяти-

летия жизни; в другом случае свою «семейную драму» он воскрешал под свежим, потрясшим его впечатлением трагического исхода. Теперь же «былое» в значительной степени сменяется в записках настоящим, воспоминания уступают место злободневным «думам» и размышлениям. Автобиографическое повествование в шестидесятых годах служило Герцену художественным дневником его революционной деятельности, политических и общественных волнений, споров, раздумий.

Только непониманием важнейшего ленинского положения о значении шестидесятых годов для идейного развития Герцена — революционного демократа можно объяснить тот недопустимый факт, что до сих пор сокращенные варианты «Былого и дум» издаются без многих глав и даже целых частей (!), написанных Герценом именно в шестидесятых годах[20]. Между тем эти части и главы содержат значительную переоценку ценностей по сравнению с первыми томами воспоминаний. Именно здесь особенно выпукло выступают связанные с духовным развитием Герцена внутренние противоречия как в характере и содержании «Былого и дум», так и в отдельных идейных положениях мемуаров.

Культ передовой дворянской интеллигенции, столь ярко отразившийся на страницах «Былого и дум», посвященных декабристам, или в главах о тридцатых-сороковых годах, уступает место пристальному и с каждым годом все более сочувственному вниманию к русской демократической молодежи, ее воззрениям на жизнь, ее быту, но главное — к ее роли в развитии русской революции. В седьмой части «Былого и дум» Герцен пишет о разночинной интеллигенции шестидесятых годов как о «молодых штурманах будущей бури» («БиД», 740); как известно, эта высокая оценка писателем нового революционного поколения цитируется Лениным в его статье «Памяти Герцена»[21]. При всех критических замечаниях по адресу «нигилистов» из «молодой эмиграции» Герцен не может не признать могучую силу, которую представляют революционеры-разночинцы шестидесятых годов в русском освободительном движении. Ему становится очевидным, что надежды, которые ранее связывались им с передовыми кругами русского дворянства, в значительной мере оказались несостоятельными. Можно предположить, что и рассказ о тех годах он сейчас вел бы в иных тонах; недаром в предисловии к четвертому тому мемуаров (1866) Герцен подчеркнуто

---

[20] См. А. И. Герцен. Былое и думы. Л., 1949, редакция текста и примечания Л. А. Плоткина.

[21] См. В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 15.

упоминает о «*тогдашней* истине» («БиД», 842). Следует учесть, что многие события последнего десятилетия жизни писателя, связанные с его отношением к революционно-демократическим кругам в самой России, не нашли в «Былом и думах» своего отражения. Будучи сам за пределами досягаемости русских властей, Герцен как превосходный конспиратор понимал, что его откровенный рассказ о русской революционной демократии неизбежно вызовет ее преследования со стороны царизма. Крайне скупо он мог касаться вопроса о своих русских связях и встречах, оставался в тени подлинный характер взаимоотношений «лондонских агитаторов», с ведущими деятелями революционно-освободительного движения в стране. Напротив, Герцен порою нарочито подчеркивал свою изоляцию от передовых кругов русского общества — обстоятельство, которое до сих пор недостаточно учитывается в нашей исследовательской литературе.

Тем не менее, несмотря на некоторую приглушенность, с какой революционно-демократические убеждения Герцена отразились в его воспоминаниях шестидесятых годов, эти главы достойно завершали рассказ о жизни и борьбе великого демократа, ближайшего наследника революционных традиций декабристов и одного из предшественников русской социал-демократии.

Для характеристики бурного идейного роста Герцена в шестидесятых годах и связанного с этим пересмотра многих устоявшихся положений и оценок, в частности в «Былом и думах», большой интерес представляет запоздалый портрет Бакунина в специально посвященном ему очерке конца 1865 года. О Бакунине Герцен достаточно много писал в своих мемуарах и раньше, но после польских событий 1863 года он почувствовал острую потребность вновь вернуться к его образу, чтобы во многом по-новому осветить его. В самом деле, в главе о Сазонове, написанной в 1863 году, Герцен рисовал Бакунина как человека, в котором «лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было запроса», «Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором, трибуном, проповедником, главой партии, секты, иересирахом, бойцом» («БиД», 672). В новом очерке, при внешней дружелюбности иронических зарисовок, отчетливо сквозит резкое неприятие всей деятельности Бакунина, утверждение бесплодности его начинаний, в частности в «польском деле». Не случайно Герцен не опубликовал этого очерка при жизни; впрочем, для Бакунина герценовские характеристики не были бы неожиданными; еще не читая очерка и писем «К старому товарищу», появившихся в конце 1870 года в «Сборнике посмертных статей», Бакунин писал Огареву: «Он (Герцен.— *В. П.*), говорят, мно-

го толкует, и, *разумеется с фальшивою недоброжелательностью, кисло-сладкою симпатиею* обо мне»[22]. Когда же Бакунин прочел эти страницы Герцена, то раздраженно определил их как пасквиль на себя[23].

Как и случай с характеристикой Кетчера в «Былом и думах», этот пример показывает, что Герцен в шестидесятых годах часто не мог удовлетвориться прежним освещением событий и, сохраняя мемуары в основном так, как они были написаны, впадал в противоречие и полемизировал сам с собой.

Такой скрытой полемикой большого идейного и политического значения были наполнены главы последней, восьмой части «Былого и дум». В свое время, в пятой части мемуаров Герцен, не поняв, по характеристике Ленина, буржуазно-демократической сущности всего движения 1848 года, с большой силой воплотил крах своих иллюзорных представлений о «надклассовом» буржуазном демократизме. «Былое и думы» с полным правом можно рассматривать, наряду с «Письмами из Франции и Италии» и книгой «С того берега», как памятник духовной драмы Герцена после поражения революции 1848 года. Но, в отличие от «Писем из Франции и Италии» и «С того берега», в «Былом и думах» ярко выявлена дальнейшая идейная эволюция Герцена. Если многие буржуазные демократы Западной Европы эпохи революции 1848 года затем пришли к умеренному, поверхностному либерализму, то Герцен под конец жизни сосредоточил свое внимание на революционной борьбе западноевропейского пролетариата, на деятельности I Интернационала.

В последних главах «Былого и дум», наряду с резкой критикой представителей западноевропейской буржуазно-демократической интеллигенции сороковых годов, которые «народа не знали», как и «народ их не знал» («БиД», 787), Герцен пересматривает свое прежнее понимание перспектив исторического развития Европы. Он оценивает отныне исторические судьбы всего человеческого общества взглядом, полным оптимизма и уверенности в будущем, поскольку с каждым днем все более убеждается в том, что эти судьбы находятся в руках «работников», т. е. класса пролетариев. Интерес к «работничьему населению» Италии, Франции, Швейцарии проходит через весь «путевой дневник» восьмой части «Былого и дум». В главе «Venezia la bella», написанной в марте 1867 года, Герцен решительно и, что важно отметить, без какого-либо трагизма

---

[22] «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Женева, 1896, стр. 324 (курсив наш.— *В. П.*).

[23] См. там же, стр. 325, письмо к Н. П. Огареву от 14 ноября 1871 г.

осуждает свои народнические воззрения. Он утверждает теперь, что через «представительную систему в ее континентальном развитии», т. е., по существу, буржуазный строй, «часть Европы прошла, другая пройдет, и мы, грешные, в том числе» («БиД», 804). И если в 1848 году воцарение буржуазных отношений ужасало его, то в конце шестидесятых годов Герцен вплотную подходит к мысли, впервые высказанной еще в «Коммунистическом манифесте», что само развитие капитализма создает условия для своего уничтожения и установления нового, социалистического строя. Герцен обращает свои взоры к Интернационалу, «который начал *«собирать полки»* пролетариата, объединять *«мир рабочий»,* «покидающий мир пользующихся без работы»!» [24].

* * *

Герцен всегда удивлял читателя и критику смелостью и новизной своего писательского дарования. Еще Белинский в статье «Русская литература в 1845 году» говорил о нем как о «необыкновенном таланте в *совершенно новом роде»* [25].

В свете общепринятых представлений о мемуарной литературе записки Герцена также явились необычным, не укладывающимся в традиционные понятия жанровых категорий произведением. Прежние, устоявшиеся рамки жанровой классификации мемуаров оказались тесными и непригодными для «Былого и дум».

Герцен как бы стирает в «Былом и думах» грани между мемуарами и беллетристическим повествованием: для него и то и другое — лишь разные формы рассказа человечества о самом себе. «В литературе,— писал он в статье «Западные книги» (1857),— действительно, все поглощено историей и социальным романом. Жизнь отдельных эпох, государств, лиц, с одной стороны, и с другой — как бы для сличения с былым, *исповедь современного человека под прозрачной маской романа или просто в форме воспоминаний, переписки»* (IX, 65—66; курсив наш.— *В. П.*).

Всякое художественное произведение, по Герцену, несет в себе значение мемуара, хотя далеко не всякие мемуары представляют собой художественное явление, несмотря на их высокую историческую ценность. Художественная автобиография, в понимании Герцена, должна была включать в себя жанр своеобразного исторического романа наряду с жанром романа

---

[24] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 11.

[25] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 23 (курсив наш.— *В. П.*).

личного. Традиционный мемуарный «историзм», понимаемый как правда фактических подробностей и отдельных событий, у Герцена сменяется художественным обобщением эпохи, широкой картиной исторического процесса. Тем самым Герцен существенно и принципиально дополняет значение автобиографии как исторического памятника и источника. Не снижая документальной точности и достоверности описания, он поднимает его до значения художественного исторического полотна большой впечатляющей силы.

«Былое и думы» завершили целую полосу в развитии автобиографических жанров.

Тяготение к автобиографизму в собственной творческой практике вызывало все нарастающий интерес писателя к мемуарным памятникам русского и европейского XVIII и начала XIX века, особенно — эпохи революции и наполеоновских войн, к биографии и запискам декабристов и их окружения, к воспоминаниям современников.

Обращение к историческим запискам и воспоминаниям отвечало творческим запросам писателя. Мемуарные свидетельства, часто без указания источника, широко использованы в публицистике Герцена. В «Былом и думах» они стали существенным компонентом всего повествования. Именно превосходное знание мемуаров допускало столь рискованный композиционный прием. Герцен смело касается событий, происходивших без личного участия рассказчика. Одно это значительно меняло традиционное понимание мемуара. Правда, мемуаристы обильно приводили побочные свидетельства и рассказы разных лиц, но эти последние всегда резко отделялись от собственных воспоминаний. У Герцена сюжетные эпизоды органически переплавлены в едином, цельном течении рассказа. Так построена, например, вся первая глава «Былого и дум»: рассказы Веры Артамоновны смешались с семейными преданиями, воспоминания отца — с обрывками собственных переживаний. Так строится образ Николая I: личные впечатления растворили в себе восприятие императора современниками.

Среди заметок Герцена — в письмах ли, статьях или в дневнике — о прочитанных или интересующих его книгах нас не должны удивлять поэтому бесконечные упоминания различных «Mémoires», «Confessions», «Memoiren» и русских «записок». Одни из них он находит интересными, другие ему скучны. Одно из писем к Кетчеру (1839) раскрывает герценовский критерий оценки. «Зачем ты мне второй раз присылаешь «Записки» Ларошфуко? — спрашивает он.— Право, я думаю, что христианин и титул<ярный> советн<ик> может прожить век, не зная, как Людовику XVIII меняли рубашку и как Карл X

любил узкие панталоны» (II, 240). В мемуарах политических деятелей Герцен ищет картины общественной жизни страны, хотя бы косвенных отголосков народных дум и волнений. Мемуары должны быть «отражением истории в человеке», типических черт эпохи, ее важнейших проявлений. «Жизнь сочинителя,— писал еще молодой Герцен в статье о Гофмане,— есть драгоценный комментарий к его сочинениям» (I, 138). Записки исторического лица для Герцена в большей степени явление исторического, чем литературного порядка. Его внимание принадлежит не столько общепризнанным образцам автобиографического жанра, сколько массовой мемуарной продукции.

Велики и бесспорны заслуги Вольной русской типографии в публикации и популяризации ценнейших мемуарных свидетельств, вырванных Герценом и его сотрудниками из тайников русских архивов.

Неустанно, при всяком удобном случае, Герцен подчеркивает необходимость широкого ознакомления русского читателя с памятниками мемуарной литературы. «У нас,— говорил он,— особенно полезно печатание современных записок. Благодаря цензуре мы не привыкли к публичности, всякая гласность нас пугает, останавливает, удивляет» («БиД», 841).

Еще в сороковых годах Герцен вместе с Белинским настойчиво убеждал М. С. Щепкина продолжать и хотя бы частично печатать свои «Записки крепостного актера», начальные строки которых Щепкину написал сам Пушкин. Отрывок щепкинских мемуаров появился тогда в «Современнике» (1847), что вернуло артиста к работе над воспоминаниями. Уже в молодом Герцене проявлял себя будущий издатель заповедных страниц сокровищницы русских мемуаров.

В 1859 году Герцен впервые печатает «Записки Екатерины II»; вслед за ними вышли «Записки кн. Е. Р. Дашковой», в 1860 году — мемуары известного масона И. В. Лопухина.

Герцен тонко ощущал историческую подлинность мемуарного памятника. П о д л и н н о с т ь записок для Герцена важнее д о с т о в е р н о с т и сообщаемых сведений или освещения событий: историческая правда, по его мысли, воссоздается под перекрестным огнем самых различных и противоречивых свидетельств. По словам писателя в «Письмах к будущему другу», ««Семейная хроника» С. Т. Аксакова, простодушные «Записки» честного Болотова и вовсе недобродушные рассказы Вигеля помогают нам сколько-нибудь узнать наше неизвестное прошедшее...» (XVII, 88).

Это не исключало отбора мемуаров. Герцен не мог смотреть на прошлое глазами Багрова-внука, Вигеля или «честного Болотова», потому что он подразумевал под ним не уз-

кий мир личных наблюдений и переживаний, не «семейные хроники» помещичьих династий, но революционное прошлое народа. Он не отказывался от показаний мемуаристов, которые, каждый по-своему, уточняли и дорисовывали исторические картины общественной жизни, но в основе последних для него всегда лежали памятники революционной мысли. Из потока мемуарных рассказов первых десятилетий XIX века Герцен раньше всего выделяет воспоминания декабристов.

В увлечении Герцена мемуарными памятниками декабристского движения ярко выразилось чувство благоговейного почитания им памяти «святой фаланги» 14 декабря. «Сказание о декабристах» для него было «торжественным прологом», от которого, по его словам, «все мы считаем нашу жизнь, нашу героическую генеалогию» (XV, 176). «Каждая подробность,— писал он,—...о великих мучениках и деятелях 14-го декабря бесконечно важна для нас» (XV, 182).

Неутомимой собирательской и издательской деятельности Герцена немало обязан историк революционного движения в России двадцатых годов. Герцена самого можно назвать первым историком декабризма. Через мемуары и часто, за отсутствием других документальных свидетельств, только благодаря им воскрешалась героическая летопись великих и памятных событий. Герцен печатал «потаенную» поэзию тех лет, собирал материалы политической мысли, интересовался эпистолярным наследием декабристов, но именно жанровое своеобразие мемуаров полнее всего удовлетворяло его как историка, публициста, писателя, как автора «Былого и дум». Он горячо отстаивал необходимость и свое право публиковать воспоминания предшествующего революционного поколения, неоднократно называя это «святым делом». «Для нас действующие лица великого пролога будущей России давно перестали быть людьми, принадлежащими чему-нибудь другому, кроме истории»,— писал Герцен, когда наследники декабриста Трубецкого выступили против печатания его записок в Лондоне. «Мы забыли,— продолжал он,— что у них есть наследники; мы имели дерзость считать себя наследниками их дела, хранителями их памяти, каждого следа их, их страдальческой жизни» (XVI, 235). Живая и непосредственная заинтересованность Герцена в судьбе историко-документальных и мемуарных памятников декабризма ярко отразилась на страницах «Полярной звезды» и других изданий Вольной русской типографии.

От памятников декабристского движения Герцен обращался к русским революционным традициям XVIII века. Он любил и помнил заветы великого столетия. Им посвящены первые главы его летописи русского гражданского

самосознания — книги «О развитии революционных идей в России».

В 1858 году Герцен впервые после 1790 года издает полный текст знаменитого памятника революционного движения в России — «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

Жанр всякого «путешествия» (столь излюбленный в русской литературе, начиная со времен сентиментализма), в сущности, представлял собою разновидность мемуаров. «Путешественник» Радищева во многом автобиографичен, хотя полного совпадения автора и героя не произошло. Герцен не оставил своих замечаний о литературной стороне своеобразного радищевского «мемуара», но можно предположить, что жанровые особенности «Путешествия...», несомненно, родственные и близкие Герцену-мемуаристу, им были оценены. Канонический тип «путешествия» как определенного литературного жанра предполагал преобладающее значение описания; Радищев заменяет его размышлением. «Путешественник» больше занят своими «думами», чем воспоминаниями или новыми впечатлениями; последние лишь наводят его на мысли, часто иллюстрируют их.

Радищев — художник и мемуарист в «Путешествии...» неотделим от философа-публициста. Это стало традицией революционных мемуаров. Герцен углубил ее, оставаясь мемуаристом-художником. Публицистика, исторический очерк, политический памфлет впервые стали существенными звеньями художественной автобиографии.

Влияние историко-мемуарной литературы, обусловленное направленностью самой герценовской автобиографии, в значительной степени определило особое место «Былого и дум» среди классических памятников художественных мемуаров и автобиографического романа. То было сознательное противопоставление нового понимания мемуаров жанровым традициям.

В негативном плане творческая самостоятельность будущего автора «Былого и дум» сказалась уже в тридцатых годах при чтении и оценке такого прославленного образца художественных мемуаров, как «Dichtung und Wahrheit» Гете. Мы видели, как устами «германского путешественника» в «Первой встрече» Герцен упрекал Гете, что он «не занимается *биографией человечества,* беспрерывно занимаясь *своею биографиею»* (I, 297; курсив наш.— *В. П.*). Автобиография немецкого писателя стала «огромной исповедью эгоизма», «его «я» поглощает все бытие» (I, 296). В более общей форме Герцен повторил свои наблюдения в «Записках одного молодого человека»: «жизнь германских поэтов и мыслителей чрез-

вычайно одностороння: я не знаю ни одной германской биографии, которая не была бы пропитана *филистерством»* (II, 467).

Гете, по словам Герцена (в «Письмах из Франции и Италии»), «был туг на ухо, когда дело шло о подслушивании народной жизни...» (VI, 31). Между тем «Былое и думы» должны были в личной судьбе запечатлеть историю народа.

Искусство Герцена пролагало новые пути художественных записок. Основные особенности жанра и стиля «Былого и дум» не находят себе литературных параллелей. Герценовское смешение жанров в мемуарном повествовании, включение своеобразного исторического романа и фельетонной публицистики в художественную автобиографию, пренебрежение жанровыми различиями внутри самих мемуаров — все это выглядело одинаково неожиданным и смелым на русском и западноевропейском литературном фоне. Давнишний, еще юношеский вопрос Герцена: «Можно ли в форме повести перемешать науку, каррикатуру, философию, религию, жизнь реальную, мистицизм?» (I, 338) получил, наконец, положительное творческое разрешение. В поисках ответа Герцен ссылался когда-то на «Вильгельма Мейстера» и Данте (см. там же). Его «Былое и думы» по жанровой сложности и оригинальности сами стали в ряд величайших памятников художественного новаторства.

«Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы»,— обронил как-то Лев Толстой и захотел проиллюстрировать свою мысль «всем лучшим в русской литературе». Среди других классических произведений с «совершенно оригинальной» формой им были названы тогда «Былое и думы»[26]. Если бы Толстой обратился к мировому художественному слову, он нашел бы немного примеров такой же яркости и убедительности.

«Былое и думы» оказали глубокое воздействие на будущие судьбы художественной автобиографии в русской литературе, а также революционной мемуаристики, характерной чертой которой становится сознательное стремление автора через свой личный опыт передать поступь всего революционного движения, не заслоняя собою, своим личным мировосприятием исторические сдвиги эпохи. Влияние Герцена, его «Былого и дум» признавал, например, Кропоткин. «Красота и сила творений Герцена,— писал он,— мощность размаха его мыслей, его глубокая любовь к России охватили меня. Я читал и перечитывал эти страницы, блещущие умом и проникнутые глубоким

---

[26] См. А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I. М., 1922, стр. 93.

чувством». «Былое и думы» были для Кропоткина «одним из лучших образчиков описательного искусства... не говоря уже об исторической ценности этих мемуаров» [27].

Герценовский историзм обогатил самые разнообразные мемуарные жанры, от хроникальных «записок» до автобиографического романа. Правда, многочисленные «записки» и «воспоминания», не поднимаясь до широких художественных обобщений «Былого и дум», оставались большей частью в пределах мемуарной литературы, лишь изредка касаясь граней литературы художественной. Но вместе с тем на тех же традициях «Былого и дум», продолжая и углубляя их, создавались такие крупнейшие памятники русских художественных мемуаров, как автобиографическая трилогия Горького.

* * *

Мемуарный характер «Былого и дум», как и других классических памятников художественных автобиографий, отнюдь не означал, что писатель пассивно изображал действительность, что в его творчестве не было той художественной типизации, которую мы находим в повествовательных жанрах.

Понятие художественной автобиографии предполагает творческое обобщение исторически подлинных событий и лиц. Но мемуарист приходит к этому обобщенному значению своих картин и образов иначе, чем художник-беллетрист. Получая характеры в готовом виде, он не вправе их произвольно изменять и дополнять новыми чертами, заимствованными у других лиц, но за ним сохраняется возможность выбора в явлениях самой действительности между случайным и исторически закономерным, типичным. «...Типично не только то,— указывает Г. М. Маленков,— что наиболее часто встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью выражает сущность данной социальной силы» [28].

Портрет Тюфяева, вятского сатрапа, сподвижника Аракчеева и Клейнмихеля, у Герцена вырастает в яркий художественный образ, равный по силе собирательным типам Гоголя и Щедрина. Тюфяев годится на любую историческую картину как законченное, предельно сконцентрированное выражение самодержавно-крепостнического произвола. Старик Яковлев с неменьшей характерностью воплощал собою эпоху старого русского барства. Между тем это — реальные исторические лица. Художественный талант Герцена сказался не только в

[27] П. А. Кропоткин. Записки революционера. «Академия», 1933, стр. 87; Идеалы и действительность в русской литературе, стр. 298.

[28] Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). Госполитиздат, 1952, стр. 73.

мастерстве, с которым нарисованы портреты, но в самой фиксации творческого внимания именно на Тюфяеве, который сам по себе служил обобщающим типом николаевской России, родственным и гоголевскому городничему и «помпадурам» Щедрина.

Типичность «героев» «Былого и дум» была обусловлена именно тем, что в них выразительно раскрывалась «сущность данного социально-исторического явления» [29].

Герцен при этом не ограничивался реально существующими типами. Так, из мелких черт, присущих различным персонажам, им создается, например, собирательный образ европейского буржуа. Разрозненные наблюдения над крепостной средой в совокупности дают трагический образ самобытной, талантливой натуры, обреченной полурабским состоянием на безвременную гибель. Однако основным приемом характеристики Герцену служило в мемуарах непосредственное обращение к живому прототипу.

То же можно сказать об описании отдельных событий в записках. Из огромного запаса жизненных впечатлений и наблюдений Герцен выбирает наиболее типические моменты. При этом он не всегда стремится к достижению той законченности, которую мы требуем от рассказа. Не имея возможности домыслить, «дописать» образ или какую-нибудь сюжетную коллизию, мемуарист показывает их в отрывочных, но важнейших, наиболее характерных чертах. Так излагает Герцен судьбу Полежаева, таковы его воспоминания о Вятке, картины жизни «лондонской вольницы» и т. д.

Там, где беллетристу границы жизненных впечатлений казались сами по себе тесными и узкими, Герцен видел бесконечные возможности творческого художественного рассказа. Соотношение объективной действительности и авторского восприятия ее обусловливает глубокую диалектичность творческого процесса создания мемуаров и особенно — мемуаров художественных. В основе впечатлений и, следовательно, зарисовок мемуариста лежат определенные реальные события в их исторической последовательности, живые лица, а не литературные «герои». Но отношение к ним автора записок и особенно мемуариста-художника крайне субъективно.

Уровень художественной объективности и правдивости воспоминаний в конечном счете определяется идейными убеждениями автора. Быть может, в других мемуарах той эпохи меньше фактических неточностей, чем в «Былом и думах», но перемещение исторической перспективы, смешение важного со

---

[29] Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), стр. 73.

случайным, тенденциозность освещения заслоняют в них объективное содержание событий, искажают действительность. «Факт — еще не вся правда,— говорил Горький,— он только сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства»[30].

Герцен был прав, когда, завершая работу над «Былым и думами», писал, что они «так сильно действовали *от того, что краски верны*» (XX, 378; курсив наш.— *В. П.*). Этих «верных красок» в художественном раскрытии важнейших исторических процессов не могло быть у писателя-мемуариста, не связанного с передовым общественным движением, далекого от освободительной борьбы народа, составляющей подлинное содержание истории.

Герцен сурово отзывался о «Воспоминаниях идеалистки» М. Мейзенбуг за то, что автор стремился в них «позолотить пилюли жизни», озарить «все такими яркими лучами, что совсем нет теней» (XX, 389). Мейзенбуг избегала контрастных сопоставлений в своих записках, как не хотела их замечать и в жизни, и это обесценило ее рассказ. «Я хотел бы видеть, что вы сделали из 48-го года...»,— с нескрываемой иронией пишет ей Герцен (там же).

Записки Герцена мог написать только художник-демократ и материалист, писатель передового революционного мировоззрения, которое служило ему критерием объективного значения его «былого» и его «дум». Только у него могла возникнуть сама идея «отражения истории в человеке». «Чем шире опыт,— писал Горький,— тем менее в нем места субъективному, личному, тем более властно выступает вперед общезначимое и тем ярче социальный образ художника...»[31]. Историческая «объективность» «Былого и дум» явно возрастала по мере идейного роста Герцена. Но воспоминания Герцена мог написать также только большой и наблюдательный художник, свободно владеющий искусством творческого, обобщенного выражения подлинных фактов. Мемуарист, оказавшийся в полной зависимости от «правды» своей биографии и своих наблюдений, никогда не поднимется выше эмпирического пересказа жизни. «Исторические факты, содержащиеся в источниках,— писал Белинский,— не более, как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание»[32]. Герцен сознательно стремился к литературной свободе и художественной самостоятельности мемуаров. Уже Анненков отмечал «разницу в тоне и оценке» между

---

[30] М. Горький. О литературе. М., 1937, стр. 109.
[31] М. Горький. История русской литературы, стр. 4.
[32] В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 803.

«Былым и думами» и ранним творчеством писателя (в том числе эпистолярным). По его словам, «позднейшие «Записки» вообще редко представляют предметы в том свете, который их окружал при первой встрече с ними рассказчика...»[33].

«Долгий опыт и критическая мысль» привели «к поверке и выправке» начальных впечатлений[34]. В сочетании творческого вымысла и фактической «правды», своеобразно окрасившем страницы «Былого и дум», снова проявило себя мастерство подлинного писателя-художника, остающегося в то же время рассказчиком своей жизни.

В рамках мемуарного жанра Герцен творчески воссоздает художественные образы современников. «Мое восстановление верно,— писал он Тургеневу о портрете жены в записках,— и только *отпало то, что должно отпасть: случайное, ненужное, не существенное...*» (VIII, 379; курсив наш.— *В. П.*). В этих немногих словах выразительно выделено активное творческое начало художественного метода Герцена как писателя-мемуариста.

Творческий процесс художественного воплощения «факта» ярко раскрывается при сравнении известного дневника Герцена сороковых годов с соответствующими страницами «Былого и дум». Известно, что дневник служил Герцену своего рода литературным источником его воспоминаний: на последней странице дневника сохранилась пометка Герцена: «Перечитал в Лондоне 24 июня 1856» (III, 474), т. е. в период особенно напряженной работы над мемуарами[35].

Казалось бы, Герцен имел блестящую возможность максимально точно воспроизвести хотя бы те эпизоды из своей жизни, которые им были затронуты в свое время в дневнике. Дневник он читал очень внимательно, его влияние в главах о сороковых годах чувствуется постоянно, многие характеристики и образы дневника, как увидим, использованы в мемуарах почти дословно. Тем не менее Герцен не следует за дневником ни в идейном освещении лиц и событий, ни в отдельных деталях фактического порядка.

Цитируя свои ранние дневники (например, в главе XXVIII) и письма, Герцен обычно крайне неточен; он сокращает или дополняет отрывки, меняет даты, некоторые приводимые им цитаты вообще отсутствуют в известных нам его дневниках (так, например, он приводит отрывок из записи в дневнике от 14 марта 1842 года — «БиД», 260,— между тем не сохрани-

---

[33] «П. В. Анненков и его друзья», стр. 29.

[34] Там же.

[35] Рукопись дневника Герцена 1842—1845 годов хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (см. «Бюллетени рукописного отдела» Института, II, стр. 32, № 10).

лось никаких указаний или намеков, что Герцен в начале марта 1842 года действительно вел дневник).

Герцен устраняет при этом все, что мешает цельности рассказа, не останавливаясь перед хронологическим смещением событий, весьма свободно правит дневниковые записи и письма стилистически, но главное — добивается нужного ему теперь идейного звучания или эмоциональной окрашенности описываемого эпизода в целом, выделяя те моменты, которые оказались решающими или во всяком случае значительными для его дальнейшей жизни. Это становится особенно наглядным при сопоставлении отдельных характеристик дневника и «Былого и дум».

В записи от 26 марта 1842 г., под впечатлением известия о смерти видного декабриста, члена Союза благоденствия М. Ф. Орлова, Герцен, вспоминая о своих встречах с ним, дает подробную оценку его личности и деятельности после поражения декабрьского восстания. Многие стороны этой характеристики, начиная с внешнего портрета Орлова, почти буквально были перенесены на страницы мемуаров. «Тогда он еще был красавец,— писал Герцен в дневнике,— «чело, как череп голый», античная голова, оживленные черты и высокий рост придавали ему истинно что-то мощное. Именно с такой наружностию можно увлекать людей» (III, 18). В «Былом и думах» мы читаем: «Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп[36], и все это вместе, стройно соединенное, сообщало его наружности неотразимую привлекательность» («БиД», 94). В дневнике Герцен писал об Орлове: «Снедаемый самолюбием и жаждой деятельности, он был похож на льва, сидящего в клетке и не смевшего даже рычать...» (III, 18). То же сравнение повторяется в мемуарах: «Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала». И далее: «Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку» («БиД», 94). В дневнике отмечалось, что «Орлов делал беспрерывные ошибки» (III, 18); в «Былом и думах»: «неосторожный, невоздержный на язык, он беспрестанно делал ошибки» («БиД», 94), и т. д.

И в то же время в мемуарах тонко снята критика поведения Орлова, присущая дневнику. Если раньше Герцен при-

---

[36] Пушкинский образ «чело, как череп голый» (из стих. «Полководец») Герцен, как известно, использовал в «Былом и думах» в портрете Чаадаева (см. «БиД», 288); ср. характеристику Трензинского в «Записках одного молодого человека» (II, 453), портрет которого Герцен, по его признанию, рисовал с Чаадаева (XVII, 98).

знавался, что он «никогда не считал Мих<аила> Фед<оровича> ни великим политиком, ни истинно опасным демагогом, ни даже человеком... огромных способностей» (III, 17), то сейчас он стремится оправдать его как «ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни» («БиД», 94). Культ декабризма, который пронизывает страницы «Былого и дум», внес существенные поправки в дневниковую запись Герцена, еще не отдававшего себе полного отчета в историческом значении движения декабристов. С большой долею самокритичности, раскрываемой только при сравнении этих страниц с дневником, Герцен писал в «Былом и думах» в связи с характеристикой Орлова: «Люди так поверхностны и невнимательны, что они больше смотрят на слова, чем на действия, и отдельным ошибкам дают больше веса, чем совокупности всего характера» («БиД», 94).

Обращение к дневнику, так сказать, ощутимо показывает, как наполнялись «домыслом» воспоминания Герцена. Короткая запись в дневнике от 8 августа 1843 г. (см. III, 131) вырастает в «Былом и думах» в яркую картину посещения Васильевского (глава III), за точность подробностей которой далеко нельзя поручиться. В самом деле, описывая, например, смерть и похороны Вадима Пассека (в главе VI), Герцен, несомненно, пользовался записью в своем дневнике от 26 октября 1842 г. (III, 48—50); многие детали в мемуарах разительно совпадают с дневником (впечатление от Пассека за несколько дней до его смерти, прощание с детьми, Черткова у гроба и т. д.), но вдруг происходит случайная описка: Герцен октябрьскую ночь, когда умер Пассек, называет февральской, и невольно возникают сомнения в достоверности следующей затем картины: «Я вышел вон; на дворе было морозно и светло, восходящее солнце ярко светило на снег» и т. д. («БиД», 77). Возникают дополнительные подробности по сравнению с дневником также в рассказе о смерти Матвея (глава XXVIII), причем иногда эти подробности явно расходятся с дневниковой записью.

Разумеется, все то, что относится к работе Герцена над главами о сороковых годах и что стало очевидным для исследователя благодаря сохранившемуся дневнику, в равной мере отражает весь процесс создания мемуаров. Даже на страницах, создававшихся вслед за описываемыми событиями (в главах последних трех частей), характерная непосредственность воспоминания нарушается известным творческим домыслом, то сгущающим краски, то резче оттеняющим авторскую мысль, то просто служащим для литературного оживления рассказа.

Вместе с тем Герцен всегда сам предостерегал себя от опасности «дать всему другой фон и другое освещение» («БиД», 842), признавался, что ему «не хотелось стереть» на всем «оттенок своего времени и разных настроений» («БиД», 3). Мемуары Герцена в силу этого лишены внешнего единства, хроникально-автобиографический стержень заменяет в них последовательное развитие цельного сюжета. Нестройность композиции «Былого и дум», однако, не случайна: она отражает, замечает писатель, нестройность самого жизненного процесса: «Я... вовсе не бегу от отступлений и эпизодов,— так идет всякий разговор, так идет самая жизнь» («БиД», 18). Вот почему Герцену справедливо казалось, что «в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей *единство есть*» («БиД», 3), единство того же жизненного процесса, а не формального композиционного плана. На упреки, что «отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают вперед, иногда отстают», он отвечал: «Я чувствую, что это — правда, но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок — дело не трудное; но все переплавить d'un jet[37] я не берусь» («БиД», 3).

Герцен многократно повторит это противопоставление внешнего («дело не трудное») и внутреннего единства. Композиционный «беспорядок» мемуаров, разнообразие литературных форм, к которому прибегает автор, им объясняются тесной связью и зависимостью своего повествования от разнообразия самих жизненных явлений, от диалектического единства в них хаотичности и последовательности.

В многоплановом и сложном строении мемуаров Герцен отстаивал художественную стройность произведения.

«Былое и думы» представляют собою сложное сочетание различных жанровых форм: мемуаров и исторического романа-хроники, дневника и писем, художественного очерка и публицистической статьи, сюжетно-новеллистической прозы и биографии. Зачатки такого жанрового сплава мы видели в раннем художественном и публицистическом творчестве Герцена. Становление жанра «Былого и дум», как было отмечено выше, явилось результатом длительной творческой работы писателя.

Смешение жанров внутри мемуарного обрамления было связано с особенностями всей стилевой структуры «Былого и дум». Герцен еще в тридцатых годах отмечал «странную двойственность» своих литературных опытов: «одни статьи выходят постоянно с печатью любви и веры... другие — с клей-

---

[37] Сразу *(франц.)*.

мом самой злой, ядовитой иронии» (II, 21). Уже молодой Герцен неотделим от окружающей его действительности, даже романтической восторженности писателя сопутствовали мрачные отзвуки жизни. В «Былом и думах» «самая злая, ядовитая ирония» переплеталась с утверждением бодрого, мятежного начала в единое, цельное отношение к миру революционера и демократа.

Раскрывая наиболее типические процессы в русской и зарубежной социальной действительности, Герцен намеренно заостряет свое восприятие различных сторон и явлений жизни.

«Сознательное преувеличение, заострение образа,— говорит Г. М. Маленков,— не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчеркивает ее» [38].

Особенно наглядно политическая заостренность мемуаров Герцена проявлялась на страницах с ярко выраженным публицистическим и сатирическим содержанием.

Герценовское повествование постоянно перемежается отступлениями, в которых рассказчик уступает место публицисту, историку, философу, политику, делится с читателем своими мыслями и переживаниями в связи с тем или иным воспоминанием, событием, встречей. Вокруг «исповеди», «около» и «по поводу» ее, говоря словами Герцена, «собрались там-сям схваченные воспоминания из *былого*, там-сям остановленные мысли из *дум*» («БиД», 3).

Авторское вмешательство в последовательный ход рассказа характеризовало уже беллетристическую манеру Герцена. Отступления сообщали запискам ту лирико-эпическую форму, которая позволяла привносить в произведение публицистический элемент, придавая ему художественно-публицистический характер.

Глубоко веря в общественную действенность искусства, Герцен использует все богатства литературных приемов и жанров, всю многотональность художественного слова с целью наисильнейшего воздействия на ум и чувства читателя. Весьма показательно, что публицистичность «Былого и дум» резко возрастает к концу автобиографии, начиная с первых «западных» глав, когда окончательно распался первоначальный замысел интимной «исповеди». Типичной публицистической статьей является, например, главка «Post scriptum» из «Западных арабесок», содержащая острую характеристику уклада буржуазно-мещанской Европы после революции 1848 года. Главу о Прудоне (в той же пятой части) Герцен дополняет чисто публицистическим «Рассуждением по поводу затрону-

---

[38] Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), стр. 73

тых вопросов». Такой же характер носят главы шестой части — известный очерк о Роберте Оуэне, статья «Джон-Стюарт Милль и его книга «On liberty»» и т. д.

Наряду с публицистичностью художественному таланту Герцена была свойственна сатиричность. Сатира мемуаров восходит к беллетристическим попыткам Искандера еще тридцатых годов («Вторая встреча», «Его превосходительство», «Записки одного молодого человека»). В едкой, уничтожающей иронии писатель всегда видел действенное и сильное орудие борьбы. «Смех имеет в себе нечто революционное»,— говорил он в «Письмах из Франции и Италии». «Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо» (VI, 20). Правда, Белинскому, как мы видели, казалась недостатком «страстишка» Герцена «беспрестанно острить», недостатком, впрочем, из числах тех, которые «часто обращаются в достоинство»[39]. С годами мягкая, порою безобидная ирония перерастала в беспощадный сарказм, полный ненависти и негодования. В одном из писем к М. К. Рейхель (февраль 1854 г.) Герцен писал, что «все слышавшие небольшие отрывки» из «Тюрьмы и ссылки» (глава XIV) «катались со смеху и со злобы» (VIII, 59). Действительно, смех и злоба всегда шли в мемуарах Герцена рядом. Острота, каламбур перестали быть самоцелью, гротесковые шутки служат органическим звеном сатирического изображения действительности. Летом 1851 года Герцен советовал сыну: «А ты, милый Саша, пожалуйста, не пиши в твоих письмах каламбуров — зачем перенимать одно дурное? Пиши просто, это всего лучше» (VI, 419). Это было отрицание каламбура как пустой словесной игры (чем немало грешил в своих письмах сам Герцен), в то же время Герцен хорошо сознавал силу целенаправленного «острословия». Уже на первых страницах «Былого и дум» Герцен обильно насыщает свой рассказ остроумными шутками и каламбурами, вкладывая в них глубокий смысл, порой огромное социальное содержание. Например, в главе II, в характеристике «содержания дворовых», читаем: «Плантаторы обыкновенно вводят в счет *страховую* премию рабства, то есть содержание жены, детей помещиком и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет, но страховая премия сильно снижается премией *страха* телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания» («БиД», 22).

В «Тюрьме и ссылке», рассказывая о пытках, диком произволе царских чиновников и жандармов в застенках и тай-

[39] В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 109, письмо к Герцену от 6 апреля 1846 г.

ных канцеляриях, Герцен, «каламбуря», пишет: «Комиссия, назначенная для розыска зажигательств, судила, то есть *секла*, месяцев шесть к ряду, и ничего *не высекла*» («БиД», 103; курсив наш.— *В. П.*).

Сколько горечи и гнева в этих «каламбурах»! Недаром Герцен упрекал даже Гоголя, что он «невольно примиряет смехом», что «его огромный комический талант берет верх над негодованием» («БиД», 134). Сатирический талант Герцена, автора памфлетических записок доктора Крупова и романа «Кто виноват?», блестящей литературной пародии «Путевые записки г. Вёдрина» и повести «Долг прежде всего», в полной мере развернулся на страницах «Колокола» и «Былого и дум». Создавая такие яркие сатирические образы большой типической силы, как «петербургский 1-й гильдии купец Николай Романов» и «император Джемс Ротшильд», писатель находил свое место среди «фаланги великих насмешников» русской литературы (XVII, 223).

Для более полного и острого раскрытия явлений действительности Герцен часто обращается к яркой анекдотической детали. Она служила ему творческим приемом для взаимоперехода общего и частного, в полном соответствии с основным принципом построения мемуаров. В рассказах о проделках бывшего вельможи Долгорукова или «алеута» Толстого-Американца и т. п. выступали уродливые, нелепые, невероятно анекдотические формы жизни в условиях дикого произвола одних и рабской зависимости других.

В главе XXVII Герцен рассказывает, как он, будучи советником губернского правления во время ссылки в Новгород, «свидетельствовал каждые три месяца рапорт полицмейстера *о самом себе* как о человеке, находившемся под полицейским надзором» («БиД», 249). «Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить,— пишет он;— я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят, а между тем, это сущая правда...» (там же). «Я у себя под надзором»,— выразительно назвал Герцен этот эпизод в подзаголовках главы («БиД», 248).

Или другой «анекдот» из жизни николаевской России.

Пьяный священник окрестил крестьянскую девочку Василием. Когда пришла рекрутская очередь, началась канцелярская волокита, «завелась переписка с консисторией... дело длилось годы и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола». «Не думайте,— предупреждает Герцен,— что это нелепое предположение сделано мною для шутки; вовсе нет, это совершенно сообразно духу русского самодержавия» («БиД», 143). Так мелкий эпизод завершался глубоким, обобщающим выводом. Не для шутки, а в тех же целях более

полного раскрытия характера, Герцен обращается к сюжетно-анекдотическому рассказу, рисуя образы друзей. И в совокупности восстанавливался живой художественный образ, законченный литературный портрет.

«В характеристике людей, с которыми он сталкивался, у него нет соперников»,— восклицал Тургенев[40]. Портретная галлерея «Былого и дум» поистине необъятна,— от сатирических образов российских правителей, начиная с коронованного «будочника будочников» («БиД», 237), до грустных страниц о трагической судьбе Вадима Пассека, Витберга, Полежаева, от подчеркнуто беспристрастного рассказа о славянофилах до трогательных поминаний друзей, от величавых портретов Гарибальди, Оуэна, Маццини до тонкой иронии в характеристиках таких деятелей революции 1848 года, как Ледрю-Роллен и другие. Герцен владел поистине неисчерпаемыми возможностями лаконического, меткого и тонкого определения самой сущности характера, в нескольких словах очерчивая образ, схватывая в нем самое основное и определяющее. Вспомним, например, знаменитое описание литературных салонов тридцатых-сороковых годов: «Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал... где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы... и куда, наконец, иногда падал, как конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало» («БиД», 295).

Портрет живого, исторического лица у Герцена ярко сочетается с художественной публицистикой и философскими отступлениями (таковы зарисовки западноевропейских политических деятелей в шестой части или «Русские тени»). Герценовский портрет неизменно перерастал в глубокое раскрытие духовного богатства и содержания образа. Писатель не стремится к полноте внешней характеристики, житейский облик обычно передается двумя-тремя резкими и яркими

[40] «Русское обозрение», 1894, IV, стр. 518, письмо к П. В. Анненкову от 18/30 октября 1870 г.

штрихами, часто повторяющимися в дальнейшем ходе рассказа. Оуэн, например, рисуется, как «маленький, тщедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом,— с тем голубым детским взглядом, который остается у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты». Через несколько строк Герцен снова вспомнит его «добрый, светлый взгляд», «голубой взгляд детской доброты», его «пожелтелые седины» и «старую, старую голову» («БиД», 624 сл.), но новых деталей внешнего облика не прибавляет. Строгий портрет Оуэна выразительно подчеркивает эпическую величественность образа, возвышающегося над серыми буржуазными буднями и их мелкой «героикой». Обличительный публицистический пафос очерка, который Герцен считал одной из лучших своих статей [41], находил в этом контрасте свое художественное разрешение и оправдание.

Не бытовые подробности, а душевный склад, социально-политическая роль прежде всего интересуют Герцена. Тургенев оставил весьма пространные воспоминания о Белинском, но как несравнимо глубже и полнее раскрывают лаконичные страницы «Былого и дум» «мощную, гладиаторскую натуру» великого демократа: «Да, это был сильный боец! Он не умел проповедывать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль» («БиД», 223—224). Огарев назвал характеристику Белинского в «Былом и думах» «лучшим очерком этой личности»; «я не знаю,— писал он,— более верно охваченного характера и страниц, более проникнутых горячим чувством дружбы и преданности делу освобождения» [42].

Герцен выделяет ведущую черту образа, которая раскрывается им в дальнейшем повествовании. Непримиримая страстность Белинского, личное обаяние Грановского, печаль и злая ирония Чаадаева — в его воспоминаниях становятся идейно-психологическим стержнем портрета. Это часто позволяет ему вообще обходиться без чисто портретного описания в узком смысле слова, создавая тем не менее запоминающиеся и полнокровные художественные образы. Таков портрет Виктора Гюго, признанный одним из самых совершенных

[41] См. письмо к сыну от 17 апреля 1869 г. (XXI, 367).

[42] Н. Огарев. Памяти Герцена, «Колокол», № 3, 16 апреля 1870 г.

в международной галлерее изгнанников шестой части «Былого и дум». Только в редких случаях психологической характеристике предпосылаются тщательно выписанные портретные контуры. Таков, например, известный портрет Чаадаева в главе XXX четвертой части: «Я любил смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его; он одевался очень тщательно; бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора; «чело, как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе; тонкие губы, напротив, улыбались иронически...» и т. д. («БиД», 288).

Герцен всегда рисует образ в его активном действии, для чего постоянно прибегает в зарисовках к ярким, типическим эпизодам из жизни интересующего его лица. Заставляя героя действовать, он свое отношение к нему передает в общем тоне рассказа, в самом выборе фактов, в отдельных портретных черточках, в попутных, как бы случайных замечаниях.

Необычайная жизненность литературного воплощения вытекала в портретах Герцена из осознания общественного места и значения личности. Когда же историческая роль того или иного предшественника или современника оставалась непонятой писателем, его мастерство художника было бессильно запечатлеть образ на страницах записок. Полная неудача, которая постигла Герцена, когда он в очерке «Немцы в эмиграции» обратился к характеристике Маркса, весьма показательна и поучительна. Тенденциозность этих страниц, откровенно враждебных Марксу и «марксидам», лишила герценовский портрет какой бы то ни было познавательной и художественной ценности. Герцен впоследствии сам убедился, насколько он заблуждался в своих оценках Маркса и его деятельности. Весьма показательно в этом отношении одно из его последних писем к Огареву (от 29 сентября 1869 г.): желая успеха бакунинскому переводу первого тома «Капитала» Маркса, Герцен уверяет своего друга, что вся вражда его, Герцена, с «марксидами» была «из-за Бакунина» (XXI, 490). Анархические воззрения Бакунина, по существу глубоко чуждые самому Герцену, действительно, всегда вызывали беспощадную критику со стороны Маркса и Энгельса. Но, разумеется, расхождения Герцена и Маркса вызывались более глубокими причинами, связанными, прежде всего, с отношением Герцена к революционному пролетариату. Тем не менее, стремление Герцена пересмотреть вопрос о своей полемике с Марксом крайне характерно. В связи с этим следует отметить, что при

жизни писателя очерк «Немцы в эмиграции» так и не был опубликован, и возникает весьма важный вопрос, насколько правомерно позднейшие издания мемуаров включили его без оговорок в основной текст «Былого и дум». Можно не сомневаться, что Герцен, обративший под конец жизни свои взоры к Интернационалу, «к тому Интернационалу, которым руководил Маркс» (Ленин), никогда не согласился бы с произволом, допускаемым в этом случае «учеными» текстологами.

Мемуары равнодушно проходят мимо многих знаменитых и безвестных имен, которые жизнь вплетала в биографию писателя. Герцен ощущал эти вольные и невольные пробелы записок. «Сколько людей осталось незатронутыми в моих воспоминаниях»,— писал он в «Письмах к будущему другу» (XVII, 95). Ему было жаль, что мемуары не могут вобрать в себя всего многообразия человеческой жизни: «Каждая эксцентрическая жизнь, к которой мы близко подходили, может дать больше отгадок и больше вопросов, чем любой герой романа, если он несуществующее лицо под чужим именем» (XVII, 96). Именно поэтому Герцен отдавал предпочтение жанрам мемуарным перед повествовательными. Ссылаясь на образ Бекки Шарп в теккереевской «Vanity Fair» [43], он говорил, что «вторые лица, едва набросанные, стоящие на дальнем плане, нравятся нам обыкновенно больше героев просто оттого, что автор не дает себе труда их изобретать. Это — все соседи, приятели, слуги, путешествующие incognito» (там же).

Герцен был противником обезличенного, равнодушного творчества, прикрывавшегося в теоретических высказываниях лживыми лозунгами так называемого «объективизма». По его мысли, поэт должен всюду вносить «свою личность»: «и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце» (V, 190). Лиризм, охватывающий всю сферу личных переживаний и взглядов художника, вообще характерен для писательского склада Герцена.

Лучшие страницы «Былого и дум» отмечены печатью той «задушевной мысли» Герцена, которую отмечал в его беллетристике еще Белинский [44]. Искренний и глубокий лиризм мемуаров придавал рассказу тона «светлого смеха» и «светлой грусти», отражавшие идейные и личные раздумья, искания, драмы писателя.

Заражая читателя своей любовью или ненавистью, восхищением, негодованием или презрением, «Былое и думы» покоряют неотразимым влиянием искренности и силы герценовского слова. Рассказать свою жизнь для Герцена означало исповедать свои убеждения. «Это — не столько *записки*,—

[43] «Ярмарка тщеславия» *(англ.)*.
[44] См. В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 806.

говорил он,— сколько *исповедь*...» («БиД», 3). И в этой интимной лирической исповеди своеобразно преломились величайшие исторические потрясения эпохи.

Лиричны портреты «Былого и дум», мы знаем и видим их субъективную, порою пристрастную окраску — и тем не менее верим им до самых мелких подробностей: такова сила художественной убедительности мемуариста.

Лиричен герценовский пейзаж. В одно неразрывное целое у него сплетаются описание природы и передача ощущений, вызванных волнующей близостью к ней. Каким разительным контрастом выглядят картины села Васильевского в середине и в конце главы III первой части «Былого и дум». Ранние воспоминания о деревенской жизни полны трогательной поэзии русской природы, тихих сельских вечеров. Это подлинно поэтическая элегия, напоминающая пейзажную живопись Тургенева и Чехова.

«Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху и смотрел, и слушал, и дышал... мне было жаль старый каменный дом, может, оттого, что я в нем встретился в первый раз с деревней; я так любил длинную, тенистую аллею, которая вела к нему, и одичалый сад возле; дом разваливался, и из одной трещины в сенях росла тоненькая, стройная береза. Налево по реке шла ивовая аллея, за нею тростник и белый песок до самой реки; на этом песке и в этом тростнике игрывал я, бывало, целое утро — лет одиннадцати, двенадцати...» («БиД», 38). Или знаменитое описание деревенского вечера, вспоминавшегося Герцену при виде заката на пути из Фраскати в Рим: «Пастух хлопает длинным бичом да играет на берестовой дудке; мычание, блеяние, топанье по мосту возвращающегося стада; собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курц-галопом; а тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе и ближе; но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрипя воротами, выходят дети — девочки встречать своих коров, баранов; работа кончилась. Дети играют на улице, у берега, и их голоса раздаются пронзительно чисто по реке и по вечерней заре; к воздуху примешивается паленой запах овинов; роса начинает исподволь стлать дымом по полю, над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает, а тут зарница, дрожа, осветит замирающей, трепетной лазурью окрестности...» («БиД», 39).

Через много лет Герцен снова посетил Васильевское, но теперь оно было для него «старым пепелищем». «Что-то чужое прошло тут в эти десять лет; вместо нашего дома на горе стоял другой, около него был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое

существо, тащившееся почти на четвереньках; оно мне показывало что-то, я подошел; это было горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаянием и работавшая на огороде прежнего священника; ей было тогда уже лет около семидесяти, и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала: — Ох, уже и ты-то как состарился, я по поступи тебя только узнала... А я, уж я-то, о-о-ох — и не говори!» («БиД», 40).

Фигура юродивой старухи для него заслонила теперь прелести сельского пейзажа. Герцен не мог равнодушно «живописать» природу. У него всегда каждый пейзаж по-особому лирически окрашивается в зависимости от авторских настроений и «дум». И в данном случае главное состояло не в том, что вместо старого дома на горе стоял другой, оно заключалось внутри самого Герцена; через пейзаж он рисовал свой рост, изменение своего отношения к миру.

Таким же лирическим, личным отношением проникнуто все повествование «Былого и дум». Мы не говорим уже о потрясающем трагизме главы «Oceano nox» и всего «рассказа о семейной драме». Герцен остается лириком в мемуарной публицистике, в политических и философских отступлениях. Драматизм его идейных исканий отвергал эпическую холодность мемуарного «объективизма». Герцен не подводил «итогов» своей жизни, но прежде всего ощущал себя художником, писал глубоко волнующую его лирическую поэму.

Горький видел в Герцене одного из своеобразных «стилистов» русской литературы, называя автора «Былого и дум» первым в ряду таких писателей, как Некрасов, Тургенев, Салтыков, Лесков, Г. Успенский, Чехов [45]. Блестящее мастерство слова в художественных и публицистических произведениях Герцена вызывало восторженные оценки уже у современников писателя.

Тургенев говорил Вырубову, что Герцен «был рожден стилистом» [46]. Известно, как восторгался всегда автор «Записок охотника» и «Дворянского гнезда» языком Герцена, особенно языком и стилем его воспоминаний: «живое тело»,— говорил он,— «все это написано слезами, кровью: это — горит и жжет... Так писать умел он один из русских» [47].

Герцен высоко ценил богатейшие возможности русского языка. «Главный характер нашего языка,— читаем мы в

---

[45] М. Горький. О литературе, стр. 135.

[46] Г. Н. Вырубов. Революционные воспоминания. «Вестник Европы», 1913, I, стр. 59.

[47] «Русское обозрение», 1894, IV, стр. 518, письмо к П. В. Анненкову от 18/30 октября 1870 г.; «Первое собрание писем И. С. Тургенева». СПб., 1884, стр. 281, письмо к М. Е. Салтыкову от 19 января 1876 г.

«Былом и думах»,— состоит в чрезвычайной легкости, с которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть» («БиД», 217). В письме к Мишле он отстаивал русский язык, как «звучный, богатый», «язык гибкий и могучий, способный выразить и самые отвлеченные идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французского остроумия» (VI, 455).

Пожалуй, даже в жанровой исключительности «Былого и дум» так не воплощена творческая индивидуальность писателя, как отразилась она в языке записок. «Его ум — ум исключительный по силе, как его язык исключителен по красоте и блеску»,— говорил о Герцене Горький[48].

Блестящие афоризмы, неожиданные эффектные сближения, сравнения и метафоры придают языку Герцена изумительную яркость и красочность. «Канцелярия министра внутренних дел,— пишет Герцен,— относилась к канцелярии вятского губернатора, как сапоги вычищенные относятся к невычищенным; та же кожа, те же подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком» («БиД», 234). Мимоходом он назовет конюшню «богоугодным заведением для кляч» («БиД», 15), графа Панина сравнит с «жирафом в андреевской ленте» («БиД», 718), а появление полицейского в России уподобит «черепице, упавшей на голову» («БиД», 350).

В одном из писем к Тургеневу Герцен сравнивал «Былое и думы» с «ближайшим писанием к разговору: тут и факты, и слезы, и хохот, и теория...» (VIII, 379). Он добивался непринужденного стиля рассказа, естественной простоты — как в развитии действия, так и в языке. Горькая ирония у него чередуется с забавным анекдотом, а саркастическая насмешка — с легким каламбуром; редкостный архаизм уступает место смелому галлицизму, народный русский говор сосуществует с обилием иностранных слов. В этих контрастных столкновениях проявляла себя характерная экспрессивность стиля Герцена.

Неожиданные острые контрасты служили излюбленным приемом Герцена-стилиста. Порою они нарушали обычное представление о «нормах» литературного языка. В «неверностях в языке» «Былого и дум» упрекал Герцена Тургенев после чтения отрывков во второй книжке «Полярной звезды»[49]; «слог твой уже черезчур небрежен»,— пишет Тургенев Герцену об отрывках в книжке третьей, приводя ряд не-

[48] М. Горький. История русской литературы, стр. 206.

[49] См. «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 90, письмо от 22 сентября 1856 г.

приемлемых для него оборотов и отдельных слов и выражений. «Это тем более неприятно,— продолжает он,— что вообще язык твой легок, быстр, светел и имеет свою физиономию»[50].

Герцен, вообще прислушивавшийся к тургеневским замечаниям и оценкам, на этот раз беззаботно ответил: «Спасибо за строжайший выговор» (VIII, 391). И так до конца они не поняли друг друга. То, в чем Тургенев видел «до безумия неправильный» язык[51], самому Герцену казалось органически необходимым художественным звеном рассказа, не отклонением и нарушением литературных норм, а выражением его, герценовского, понимания их. Он имел возможность в отдельном издании «исправить» язык «Былого и дум» хотя бы в подсказанных Тургеневым случаях, но сознательно не воспользовался ею. Когда же Тургенев высказал опасение, что в мемуарах слишком откровенно нарисован Кетчер (в тексте «Полярной звезды» — «К»), «его *тоска по революции*» и т. д., и т. д.»[52], Герцен всполошился: «Это, брат, хуже всех галлицизмов»,— и хотел немедленно перепечатать всю четверть листа (VIII, 391).

Герцен не принимал спокойного, размеренного течения традиционного беллетристического повествования. В его мемуарах в литературу врывалась жизнь со всей ее хаотичностью и закономерностью, с ее «неправильностями» и строгой последовательностью, в ее сложности, контрастах, в борьбе и единстве противоположностей.

Мемуарам Герцена свойственна крайняя напряженность, динамичность — как в языке и стиле, так и в самом построении предложения. «Надобно фразы круто резать, швырять и, главное, сжимать»,— учил Герцен Огарева (XX, 32).

Герцен бесконечно варьирует свои фразы; они то «круто режутся и швыряются», как в отрывке «После побега» — замечательном образчике герценовской экспрессии и политической патетики, то достигают предельной лаконичности и сдержанности, как в сосредоточенном драматизме «рассказа о семейной драме» (см., например, главу «Смерть»).

Излюбленной формой образного и динамического раскрытия мысли Герцену служил диалог — во всех его видах, от безыскусственной, непринужденной беседы до диалога напряженного, протекающего почти без авторских ремарок. Воздействие герценовского диалога необычайно сильно. «В «Былом и

---

[50] Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену стр. 105, письмо от 16 января 1857 г.

[51] «Русское обозрение», 1894, IV, стр. 518, письмо к П. В. Анненкову от 18/30 октября 1870 г.

[52] Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 105, письмо от 16 января 1857 г.

думах» диалог возникает в самых драматических эпизодах: вспомним описания памятных Герцену событий его личной жизни (главы «Третье марта и девятое мая 1838 года»), рассказ о «маленьком романе» с Медведевой в главе «Разлука», потрясающую по своему сдержанному трагизму сцену смерти Natalie, встречу Полежаева с Николаем, диалоги «Западных арабесок» и т. д.

В других случаях, благодаря диалогической форме, ярче обрисовывались облик и убеждения герценовского «собеседника». Иногда диалог явно инсценируется автором в тех же целях более полной характеристики образа (например, в рассказе исправника в главе XV; см. также «великолепную сцену», говоря словами Герцена, с полковником в начале главы «Апогей и Перигей», портрет Голицына в той же главе, диалоги главы «М. Бакунин и польское дело»).

Диалог открывал широкие возможности для введения в мемуары живой речи, непосредственно разговорного языка, к которому Герцен стремился и в авторском тексте. Те же цели в известной мере достигались воспроизведением в записках подлинных писем — самого Герцена, его жены и многих других лиц. В результате образовывались те сложные языковые сочетания, которые каждый раз поражают читателя своей смелой пестротой.

Народный крестьянский говор чаще всего воспроизводится писателем в речи соответствующих персонажей, например, в диалоге судьи с мужиком Ермолаем в главе XV: «трахт», «на бога не жалобимся», «ништо», «суседский крестьянин», «поговоримши», «тычка ему дать», «супротив», «лобанчики» и т. д. («БиД», 139—140). Наряду с тем Герцен охотно пользуется изысканным литературным сравнением, ассоциацией, обращаясь не только к художественным образам и цитатам из различных произведений, но также к их фабульным ситуациям. Это можно было проследить уже в беллетристике и в публицистическом творчестве писателя. В романе «Кто виноват?», например, один из эпизодов напомнил героине повести, Глафире Львовне, «сцену из «Новой Элоизы»», а другой показался — уже самому Герцену — «сценой из «Фоблаза»» (IV, 247); вспомним излюбленный герценовский образ «Дон-Кихота революции» в «Концах и началах» и т. д. В мемуарах Герцен сравнивает Кетчера с «Ларавинье в превосходном романе Ж. Санд «Орас»» («БиД», 192); в статье «Camicia rossa» он обращается к Гарибальди: «Ступай на свою скалу, плебей в красной рубашке и король Лир! Гонерилья тебя гонит, оставь ее, у тебя есть бедная Корделия, она не разлюбит тебя и не умрет!» («БиД», 671), и т. д.

* * *

В своей статье о Герцене, предназначенной для иностранного читателя, Н. И. Сазонов пророчески писал, что «Былое и думы» «долго будут жить, как национальный памятник и литературный шедевр». Сазонов справедливо подчеркнул национальное своеобразие этого «лучшего произведения знаменитого писателя». Герцен, по словам Сазонова, «всегда остается верен своей национальности, когда говорит о Западной Европе. В этом великая ценность его книги, его стиля и, скажем даже, его личности; это-то и делает его в истории умственного развития России выразителем существенного перелома, зачинателем новой эпохи»[53].

Сазонов тонко подметил устремленность к будущему герценовского рассказа о «былом». Этого оказались не в состоянии понять русские либералы. В своих оценках, порой самых восторженных, либералы постоянно ограничивали идейное значение «Былого и дум» тесными пределами воспоминаний. Кавелин писал Герцену (август 1857 г.): «Живое единогласное искреннее сочувствие вызывают собственно твои воспоминания из *прошлой твоей жизни...*»[54]. Б. Н. Чичерин в своих мемуарах признается: ««Былое и думы» я всегда перечитываю с истинным наслаждением, так тепло, умно и изящно *изображено в нем прошлое»*[55].

Глубокое отличие «Былого и дум» от мемуаров обычного типа, как мы видели, сознавал сам Герцен. Однажды Тургенев, вообще оставивший немало тонких наблюдений над языком и стилем «Былого и дум», сопоставил их с... «Семейной хроникой» Аксакова. «И это не так противоположно, как кажется с первого взгляда,— писал он Герцену.— И его, и твои мемуары — правдивая картина русской жизни...»[56]. Несмотря на оговорки о «двух концах» русской жизни и «двух различных точках зрения»[57], Тургенев не почувствовал художественного своеобразия мемуаров Герцена, как не подчеркнул в полной мере, что за аксаковскими картинами патриархального дворянского быта, окутанного фамильными преданиями, стояло совсем иное мировоззрение, чем в мятежных записках Искандера. Герцен уже на первых страницах «Былого и дум»

---

[53] «Из литературного наследства Н. И. Сазонова». «Литературное наследство», № 41—42, стр. 200—201.

[54] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 7 (курсив наш.— *В. П.*).

[55] «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Путешествие за границу». М., 1932, стр. 67 (курсив наш.— *В. П.*).

[56] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 90, письмо от 22 сентября 1856 г.

[57] Там же.

противостоял всему укладу жизни Багровых и усадебных самодуров Куролесовых. Решительно порвав с миром «крещеной собственности», он выступал не благодушным писателем-летописцем, а страстным обличителем, человеком новых, революционных верований. Сравнивая те же «отроческие воспоминания Аксакова и Герцена», А. М. Горький указывал, «насколько круг интересов первого уже интересов последнего»[58]. Эту узость записок Аксакова Тургенев не отметил, для него воспоминания Аксакова и «Былое и думы» — равно «мемуары», «хроники», произведения одного литературного жанра. Герцен высоко ценил мемуары Аксакова, однако, поправил Тургенева: «Я не думаю, чтоб ты был прав, что мое призвание писать такие хроники, а просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой формы...» (VIII, 379).

Стиль «Былого и дум», открытая Герценом своеобразная художественная форма мемуаров определялись живым участием художника-демократа в современных ему социальных конфликтах и политической борьбе как в России, так и в Западной Европе.

Выдающееся достижение русской литературы XIX века, «Былое и думы» имели поэтому подлинно международное значение. Созданные вдали от родины, но проникнутые чувством великой любви к русскому народу, горячей верой в его свободное, гордое будущее, мемуары Герцена пронизаны стремлением к мирному сотрудничеству передового вольнолюбивого человечества, идеей свободного братства народов, ненавистью к цивилизованному варварству буржуазной реакции. Личная дружба Герцена с крупнейшими деятелями освободительного движения в странах Западной Европы, портреты «горных вершин» европейской революции на страницах «Былого и дум» как бы воплотили собою взаимопроникновение революционно-освободительной традиции России и Запада

Герцен был одним из первых русских писателей, получивших признание передовых общественных кругов на Западе. Почти одновременно с первыми русскими изданиями его мемуары переводились на другие европейские языки. Герцен показал международному общественному мнению неиссякаемые источники внутренней силы, обаяния и мужества русского человека, скованного самодержавным режимом, но непреклонно стойкого в борьбе за честь и счастье отчизны. В этом чувстве героического патриотизма он видел залог революционного обновления родной страны. Его слова о том, что «кроме официальной, правительственной России, есть другая» (IX, 459), невольно перекликаются в нашем сознании с извест-

[58] М. Горький. История русской литературы, стр. 148.

ным ленинским противопоставлением: «Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве,— но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова»[59].

«Былое и думы» наравне с публицистикой Герцена, действительно, «знакомили Европу с Русью», утверждая всемирно-историческое значение русского народа и его освободительной борьбы.

Французская газета «Presse» писала в мае 1856 года: «Одна лишь страничка из Герцена дает большее представление или, вернее, гораздо больше обнаруживает внутреннюю жизнь страны, национальную душу народа, сущность вещей, чем длинные, кропотливые писания других... В воспоминаниях Герцена особенно бросается в глаза, что в России под кажущейся неподвижностью царит глубокая, интенсивная интеллектуальная жизнь, богатая и разносторонняя работа мысли»[60].

Глубокий международный смысл имела борьба Герцена на страницах мемуаров с буржуазной реакцией. Острые характеристики западноевропейской и американской буржуазной демократии в «Былом и думах» до наших дней не утратили своей обличительной силы. Герцен разоблачает режим «преследований и гонений» «за образ мыслей и слова» в Соединенных Штатах Америки («БиД», 636). В политическом строе Соединенных Штатов Герцен различал новые формы той же «диктаторской и полицейской власти», той же «должности Николая Павловича, III Отделения и палача». Он рисует страшную картину падения и разложения тех демократических принципов, которые первоначально были заложены в государственном и общественном устройстве Америки, показывает, как «народ, объявивший восемьдесят лет тому назад «права человека», распадается из-за «права сечь»» (там же).

Герцен обнажал ложь демагогических завес, которыми американские плантаторы старались прикрыть рабство в стране. Президент США в пятидесятых годах прошлого столетия Ф. Пирс «будировал,— читаем мы в «Былом и думах»,— старые европейские правительства и делал всякие школьничества долею для того, чтоб приобрести больше популярности дома, долею, чтоб отвести глаза всех радикальных партий Европы от главного алмаза, на котором ходила вся его политика,— от незаметного упрочения и распространения невольничества» («БиД», 601—602).

Герцен с нескрываемой иронией относился ко всяким заиг-

---

59 В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 16.

60 См. А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. XIV, стр. 869.

рываниям правящих кругов буржуазной Америки с европейской демократией. Об одной такой затее американских дипломатов он рассказывает в «Былом и думах». «Мы посылаем послов,— говорили американцы,— не к царям, а к народам». Так возникла идея собрать у американского консула на «дипломатический обед» «врагов всех существующих правительств» (там же). Разумеется, демагогическая цель этого «*красного* обеда, данного защитником *черного* рабства», была Герцену абсолютно ясна. Весь рассказ об этом нашумевшем в тогдашней печати своеобразном «дипломатическом приеме» выдержан им в ярких иронических тонах. На обеде присутствовал американский посол Джемс Бьюкенен, будущий преемник Пирса и президент США именно в те годы, когда вешали борца за освобождение негров Джона Брауна. Герцен пишет: «Хитрый старик Бьюкенен, мечтавший тогда уже, несмотря на семидесятилетний возраст, о президентстве и потому говоривший постоянно о счастьи покоя, об идиллической жизни и о своей дряхлости, любезничал с нами так, как любезничал в Зимнем дворце с Орловым и Бенкендорфом, когда был послом при Николае». Он, рассказывает Герцен, «пережал нам всем руки, изъявляя каждому свое полное удовольствие, что познакомился лично», и «говорил очень хорошо отделанные комплименты». «Мне он ничего не сказал, кроме того, что он долго был в России и вывез убеждение, что она имеет великую будущность. Я ему на это, разумеется, ничего не сказал, а заметил, что помню его со времен коронации Николая. «Я был мальчиком, но вы были так заметны в вашем простом черном фраке и в круглой шляпе в толпе шитой, золоченой, ливрейной знати»» («БиД», 602, 603).

Вряд ли кандидату в президенты «демократической» Америки было приятно это напоминание в кругу лучших представителей европейского общественного движения о его присутствии при коронации недавнего палача декабристов и будущего жандарма Европы!

Столь же иронический характер носит зарисовка Герценом консула Сондерса, стремившегося «каким-то американским пуншем из старого кентуккийского виски» «вознаградить себя за отсутствие тостов за будущую всемирную (белую) республику и т. д., которых, должно быть, осторожный Бьюкенен не допускал» («БиД», 603). Одним, как бы случайно брошенным словом — «белую» — Герцен обнажил фальшь и лицемерие американских расистов.

Герцен разоблачал в «Былом и думах» духовное обнищание американской цивилизации, падение и разложение буржуазной культуры Америки. Он показал, что столь ненавистный ему торгашеский, «мещанский» характер западноевро-

пейской буржуазной культуры в неменьшей степени присущ американской действительности. Уровень американской цивилизации, утверждал он, «ниже западноевропейского» («БиД», 806). «Американская жизнь мне антипатична»,— признавался он в другом месте («БиД», 433). «Какой уровень образования и свободы совести,— спрашивал Герцен,— в стране, бросающей счетную книгу только для того, чтобы заниматься вертящимися столами, постукивающими духами,— в стране, хранящей всю нетерпимость пуритан и квакеров!» («БиД», 637).

В главе «Лондонские туманы» Герцен вскрывает резкие социальные контрасты, присущие капиталистическому миру. В столице буржуазной Англии он видит в ночные часы два города: один, «сытый, заснул; другой, голодный, еще не проснулся, пусто, только слышна мертвая поступь полисмена с своим фонариком». Лондон представляется Герцену «страшным муравейником, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову, и полиция нередко находит детей и женщин, умерших с голода, возле отелей...» («БиД», 518).

Пресловутый буржуазный парламентаризм писатель метко определяет как «самое колоссальное беличье колесо в мире»: «Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента? Но в этом-то сохранении вида и — главное дело» («БиД», 414).

Мемуары Герцена обвиняли правящие круги России в политике тесного союза с западноевропейской реакцией, показывали, что реакционная внешняя политика русского царизма вытекала из антинародного характера всего самодержавно-крепостнического режима, основанного на угнетении миллионных масс русского народа.

Критика Герценом буржуазного Запада и, в частности, буржуазной Америки явилась выражением революционных устремлений передового русского общества, а начиная с шестидесятых годов — русской крестьянской демократии. Острота и сила этой критики возрастали по мере перехода писателя на сторону революционной демократии, отражая ненависть русского народа как к феодально-крепостнической, так и к буржуазной формам эксплуатации.

Гневные страницы «Былого и дум» и других произведений Герцена, посвященные гнусной буржуазной действительности Запада, как и главы мемуаров об идейных исканиях и борьбе русской передовой общественной мысли, оказывали и продолжают оказывать несомненное революционизирующее влияние на иностранного читателя.

Известен взволнованный отзыв Виктора Гюго о «Былом и думах»: «Благодарю вас,— писал он Герцену 15 июля 1860 г.,— за прекрасную книгу, которую вы прислали мне. Ваши воспоминания — это летопись счастья, веры, высокого ума... ваша книга восхищает меня от начала до конца. Вы внушаете ненависть к деспотизму, вы помогаете раздавить чудовище; в вас соединились неустрашимый боец и смелый мыслитель» [61]. Не приходится удивляться, что свободная мысль Герцена внушает животный страх современным правителям Франции. Как сообщала газета «Юманите», чиновники из почтового таможенного бюро в Париже отказались выдать подписчику сборник произведений Герцена, изданный недавно на французском языке [62].

Но ненависть буржуазной реакции к великому наследию Герцена бессильна. В передовых кругах западных читателей «Былое и думы» и другие произведения русского писателя — революционера и демократа всегда имели большой успех. По мере публикации Герценом новых и новых отрывков его мемуары приобретали значение мирового идейно-художественного явления, популярность их росла с каждым десятилетием. Показательно, что еще в прошлом столетии иностранная критика и пресса ставила «Былое и думы» выше лучших произведений западноевропейской мемуарной литературы. Немецкий критик Эккардт, по своим взглядам весьма далекий Герцену, писал, восторгаясь глубокой искренностью «Былого и дум»: «Во всех отношениях эта автобиография выше, чем прославленные «Confessions» Руссо, а по честности, хорошему вкусу и скромности рассказ Герцена стоит далеко впереди» [63]. Конечно, в этом сравнении «Былого и дум» с «Исповедью» Руссо Эккардт отнюдь не раскрыл подлинного превосходства мемуаров Герцена. Тем не менее его отзыв свидетельствовал о высокой оценке «Былого и дум» уже в современной Герцену западной критике.

В нашей стране мемуары Герцена стали одной из любимых книг советского народа, законной гордостью великой русской литературы и культуры. Как литературное произведение большой и самобытной художественной силы и как историко-мемуарный документ, «Былое и думы» принадлежат к числу самых выдающихся явлений русской общественной мысли.

«Юность и мечты» (I, 302) «мыслил назвать молодой Герцен свои автобиографические записки, когда впервые

---

[61] «Былое», 1907, IV, стр. 90.

[62] См. «Герцен и Бальзак под запретом». «Литературная газета», № 8 от 20 января 1951 г.

[63] См. «Jungrussisch und Altlivländische Politische und kulturgeschichtliche Aufsätze von Julius Eckardt». 2. Aufl. Leipzig, 1871, стр. 182.

возникали смутные очертания будущих прославленных мемуаров. Спустя десятилетия «юность» становилась «былым», а романтические мечты сменились мучительными раздумьями над личными и народными судьбами, над будущим России, Европы, революции. Рассказ о «былом» вырастал в потрясающую исповедь целого поколения, «думы» писателя доносили великие революционные традиции прошлого, воскрешая через многообразный жизненный опыт и трагические переживания Искандера социальные конфликты и идейную драму всей исторической эпохи. В этом величие и непреходящая художественная и общественная значимость «Былого и дум» — мемуаров, достойно занявших почетное место в ряду первоклассных памятников русской и мировой классической литературы.

VIII

БЕЛЛЕТРИСТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Беллетристические произведения Герцена шестидесятых годов, периода расцвета деятельности великого революционного демократа, представляют значительный интерес. В них отчетливо ощутим критический пересмотр писателем многих своих старых убеждений, своеобразная полемика с самим собой, за которой открывались новые стороны в его отношении к важнейшим вопросам общественного развития. Наряду с заключительными главами «Былого и дум» и письмами «К старому товарищу» такие произведения Герцена шестидесятых годов, как «Трагедия за стаканом грога», очерки «Скуки ради» и повесть «Доктор, умирающий и мертвые», рисуют процесс изживания им иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма. Вместе с тем они показывают дальнейшее развитие литературного мастерства Герцена-беллетриста.

Реалистическое искусство писателя, пронизанное тем же «могуществом мысли», которое еще в сороковых годах восхищало Белинского, стало более зрелым, сосредоточенным, целенаправленным. Многолетний опыт революционной борьбы, идейных схваток, мучительных разочарований и радостных побед научил его в мелких, повседневных явлениях действительности зорко различать отражение широкого исторического процесса, отчетливее видеть типические черты происходящих событий. «В каждой задержанной былинке несущегося вихря те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотах, и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется» (XVII, 272).

Так писал Герцен в небольшом рассказе «Трагедия за стаканом грога» (1864) — своем первом беллетристическом произведении после более чем десятилетнего перерыва. Судьба слуги одного из загородных трактиров под Лондоном подчеркнуто характеризуется в рассказе как обобщенное выражение законов всего буржуазного строя. «Напыщенный лакей»

одного аристократического отеля, «человек неприступный, строгий к гостям», с «гордым нравом», полный «чувства своего достоинства», неожиданно разорился, став жертвой краха одного из банков, вслед за этим лишился места, долго не мог найти себе новой работы, обнищал, потом служил, иногда во временных буфетах, «и в этой бродячей жизни совсем обносился». «Я и сам не знаю, как меня принял хозяин «Георга IV»,— и он взглянул с отвращением на свой старый фрак... Кусок хлеба могу для детей заработать, и жена... она теперь...— он приостановился — она стирает на других... А прежде никогда... никогда... она... ну, да что толковать, где же нищим выбирать работу. Лишь бы *милости* не просить, а только тяжело...» (XVII, 276).

«У меня перевернулось сердце при виде обнищавшего слуги,— пишет Герцен.—...Знаете ли вы, что значит везде, и особенно в Англии, слово *нищий*, beggar, произнесенное им самим? В этом слове заключается все: средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи... всякой защиты, лишение всех прав... даже права просить помощи у ближнего...» (там же). За образом несчастного слуги Герцену рисуются миллионы простых тружеников, раздавленных капиталистическими отношениями, униженных эксплуатацией, жалких в своем бесправии. «Трава грядой падает, подрезанная косой, и мы, не замечая, топчем ее ногами, идучи за своим делом» (там же). Рассказ замечателен своим демократизмом, тем глубоким сочувствием, с которым великий русский писатель относится к трагедии простого народа Англии.

С большой силой в рассказе прозвучал исторический пессимизм Герцена после поражения революции в Европе. В нем нет даже намека на активное, действенное сопротивление народных масс насилию, на возможность какого-либо реального протеста против буржуазных порядков. Образ подрезанной травы глубоко знаменателен: Герцен попрежнему не верит в революционную активность «работников», в то же время он скептически смотрит на «великих нищих», тех многочисленных представителей буржуазной демократии, «прибиваемых со всех сторон к английскому берегу», которых он встречал среди лондонской эмиграции. «Да, я знал *великих нищих*, и потому-то что я их знал, я и жалею слугу в «Георге IV», а не их» (XVII, 276—277).

«Трагедия за стаканом грога» — это не только трагедия опустившегося лакея, но и один из последних отзвуков тяжелой духовной трагедии самого писателя.

Спустя несколько лет Герцен станет совсем иначе оценивать будущее исторического развития Европы. Ценность беллетристики шестидесятых годов в том и состоит, что она

дает возможность наглядно ощутить само движение мысли Герцена, появление у него нового отношения к последствиям буржуазной революции на Западе.

В 1868—1869 годах в петербургской еженедельной газете «Неделя» за подписью «J. Нионский» печаталась серия очерков под названием «Скуки ради». Очерки возбудили большой интерес у читателей. А. П. Пятковский, в то время — сотрудник «Недели», впоследствии вспоминал: «Характерный герценовский стиль до такой степени бросался... в глаза, что, вскоре после напечатания, в редакцию стали приходить письма с вопросом: «каким образом А. И. Герцен очутился сотрудником русского журнала?»»[1].

Сотрудничать в «Неделе» Герцена пригласил тот же Пятковский во время их встречи весной 1868 года в Нионе (отсюда — избранный писателем псевдоним). Возможность печататься на страницах легального русского органа заинтересовала Герцена. Он тщательно продумывает характер своего выступления перед русским читателем. В письмах к Огареву того времени постоянно встречаются упоминания о «статейке для Пятк‹овского›» (XXI, 101): «Ломаю голову, что̀ бы послать поскорее Пят‹ковскому›,— не знаю еще» (XXI, 108); «попробую послать самую легкую статейку Пятк‹овскому›» (XXI, 138) и т. д. Разумеется, Герцен не мог в подцензурной статье касаться вопросов русской жизни; так возник замысел в форме диалогов, сценок, очерковых зарисовок показать пошлость и ограниченность французской буржуазии эпохи Второй империи. В октябре того же 1868 года Герцен посылает в Петербург первые пять главок «Скуки ради» (в письмах Герцен часто называет эти очерки «Доктором»), опубликованные в № 48 «Недели» (вышел в середине ноября). «Вот тебе новость,— писал Герцен сыну 31 января 1869 г.,— статья моя под заглавием «Скуки ради», и притом очень радикальная, напечатана в петерб‹ургском› журнале «Неделя» с подписью «Нионский» и почти без малейшей перемены. Я послал тотчас другую половину» (XXI, 279). Продолжение «Скуки ради» появилось в №№ 10 и 16 газеты за 1869 г.[2]. Герцен, по его словам в письме к сыну от 27 марта 1869 г., «написал еще одну злую шутку в 4-е продолжение «Скуки ради»» (XXI, 347). В «Неделе» его напечатать не могли: в мае распоряжением

[1] А. Пятковский. Две встречи с А. И. Герценом. «Наблюдатель», 1900, № 2, стр. 307.

[2] Рукописи отрывков из «Скуки ради» хранятся в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина (см. «Описание рукописей А. И. Герцена», стр. 14, № 30—31). Новые материалы (к главе «Альпийские виды.— Женева») из «Пражской коллекции» Герцена — Огарева публикуются нами в «Литературном наследстве», № 61.

министра внутренних дел газете было объявлено третье предостережение с приостановлением издания на шесть месяцев [3]. Быть может, свою роль в этом сыграли и очерки «Нионского». Во всяком случае, Герцен еще раньше писал Огареву: «получил письмо от Марка Вовчка: опять о корреспонденции в «Неделю». Много шумят, как бы не наварили каши. Вероятно, весь Петерб<ург> знает» (XXI, 308).

Очерки Герцена, действительно, носили «радикальный» характер. Его отрывочные, случайные замечания и наблюдения — в вагоне, омнибусе, казино, ресторане,— попутные характеристики, разрозненные, но меткие и по-герценовски сочные, яркие мазки в своей совокупности воссоздавали законченный тип буржуа — самодовольно-ограниченного, тупого, лицемерного. «Ведь это смешно! — рассуждает один из спутников автора в вагоне о Швейцарской республике.— Ни силы, ни приличия, ни войска; правительство не пользуется никаким уважением... Я люблю, чтобы правительство было правительством, главное,— чтобы оно действовало... Где же действовать, когда каждый кантон кричит о себе, тянет на свою сторону? Силы нет, воли нет. Я сам люблю свободу, но надобно признаться: республика просто не идет как-то к современным нравам, к развитию промышленности и просвещения» (XXI, 156). Герцен до конца разоблачает этого поклонника наполеоновского режима, причем, верный своей манере, он не спорит с ним сам, а сталкивает его с доктором, чудаковатым скептиком, резкие парадоксы и «несколько угловатый юмор» которого шокируют обывательскую натуру буржуа. «Меня сердит театральное негодование и грошевая нравственность этих господ,— говорит доктор.— Долею все это — ложь, комедия, а долею того хуже...» (XXI, 163). Но ирония и отрицание доктора бессильны и прежде всего потому, что он не видит в социальной действительности Франции тех лет активного, созидающего начала — рабочего класса, народа. «Людей,— считает он,— совсем не надобно исправлять и переиначивать, оно же и не удается никогда. Умнее станут,— сами кое в чем поисправятся, хотя, все же, останутся людьми...» (XXI, 177). Философия доктора потому неприемлема для Герцена, настойчиво освобождающегося от скептицизма и пессимизма в вопросах общественного развития.

Эта тема вновь возникает в написанной вслед за очерками «Скуки ради» последней повести Герцена «Доктор, умирающий и мертвые».

Повесть была начата Герценом в марте и окончена летом 1869 года, за несколько месяцев до смерти. По художественной

[3] См. «Неделя», № 20, 9 (21) ноября 1869 г.

яркости образов, запечатлевших нравы современной ему буржуазно-мещанской Франции, она принадлежит к числу наиболее выдающихся произведений Герцена-беллетриста. Повесть создавалась одновременно с письмами «К старому товарищу» и отразила на себе глубокое воздействие их идей. В ней нашли художественное воплощение мысли и настроения Герцена в эпоху кризиса Второй империи, накануне Парижской Коммуны.

Истоки повести в творчестве Герцена лежат, однако, далеко за пределами шестидесятых годов. Они возникают вместе с ее основной темой — темой торжества реакции, мещанской пошлости, либеральной фразы после поражения революции 1848 года, темой измены революционным традициям 1789 — 1793 годов. С повестью перекликаются многие страницы книги «С того берега» и «Писем из Франции и Италии», в которых даже упоминается прообраз ее центрального героя — бывший член Конвента, престарелый Сержан, которого иезуиты сороковых годов тщетно пытались, воспользовавшись «апоплексией и предсмертной слабостью», обратить «на путь истины» и «заставить отречься от прежней жизни своей» (VI, 7).

Более отчетливо замысел повести созревает в творческом сознании Герцена в начале шестидесятых годов, когда он писал цикл своих писем, обращенных к Тургеневу,— «Концы и начала». «Да, caro mio[4],— говорил Герцен во втором письме,— есть еще в здешней жизни великий тип для поэта, тип вовсе непочатый... Тот художник, который здесь всмотрится в *дедов* и *внучат,* в *отцов* и *детей* и безбоязненно, беспощадно воплотит их в черную, страшную поэму,— тот будет надгробный лауреат этого мира. Тип этот — тип Дон-Кихота революции, старика 89 года, доживающего свой век на хлебах своих внучат, разбогатевших французских мещан; он не раз наводил на меня ужас и тоску. Ты подумай об нем, и у тебя волос станет дыбом» (XV, 258—259). Та же мысль подробно излагается в третьем письме цикла, составляя подлинную программу будущей повести: «*Дон-Кихот революции* не идет у меня из головы. Суровый, трагический тип этот исчезает,— исчезает, как беловежский зубр, как краснокожие индейцы, и нет художника, который бы пометил его черты, старые, резкие, носящие на себе следы всех скорбей, всех печалей, идущих из *общих* начал и из веры в человечество и разум. Скоро черты эти замрут, не сдавшись, с выражением гордого и укоряющего презрения, потом сотрутся, и человеческая память утратит один из высших, крайних предельных типов своих» и т. д. (XV, 260). Видимо, Герцен уже тогда, в 1862 году, серьезно

[4] Дорогой мой *(итал.).*

задумывался над художественным разрешением глубоко волновавшей его темы и образа. Больше того, писатель намечает некоторые сюжетные ситуации, впоследствии весьма точно воспроизведенные им в повести: «Смерть давала все больше и больше знать о своем приближении; старый пожелтелый взгляд становился суровее, уставал от напряжения, высматривая смену, отыскивая, кому сдать честь и место.— Сыну? Старик хмурится. Внуку? Он махнул рукой. Бедный король Лир в демократии,— куда не обращает он угасающий взгляд свой: к своим, к присным, везде его встречает непонимание, безучастье, осуждение, полускрытый упрек, мелкие счеты и мелкие интересы. Его якобинских слов боятся при посторонних, ему просят прощение, указывая на изредевшие седины. Его невестка мучит его примирением с церковью, и иезуитский аббат шныряет по временам, как мимолетный ворон, посмотреть, сколько еще сил и сознания, чтобы поймать его в предсмертном бреду» (XV, 261).

Но когда весной 1869 года Герцен непосредственно обратился к работе над давно задуманной повестью, его внимание привлекал уже не столько сам по себе тип Дон-Кихота революции, сколько общий вопрос об исторических судьбах буржуазной революции во Франции (и разумеется, не одной Франции). Герцен не случайно писал свою повесть именно в те дни, когда прогнивший режим Наполеона III начал шататься под ударами нового мощного подъема революционного движения французского пролетариата. Вторая империя неумолимо шла навстречу своей гибели. «Здесь хаос, и мы бродим на вулкане,— писал Герцен в октябре того же 1869 года,— ...эта страница парижской жизни сто́ит томов. Положение гораздо больше натянуто, чем издали кажется» (XXI, 505). В накаленной атмосфере столицы Герцен с гениальной проницательностью ощущая приближение исторической победы французского пролетариата — Парижской Коммуны. В знаменитом предсмертном письме к Огареву он пророчески предсказывал: «Что будет, не знаю, я — не пророк, но что история совершает свой *акт* здесь...— это ясно до очевидности (XXI, 553).

В ожидании этого очередного акта истории Герцен вновь обращается к революционному прошлому. Чтобы правильно оценить наступающие события, ему необходимо еще и еще раз продумать и разобраться в историческом опыте революции. Так повесть Герцена о последнем из якобинцев, умирающем в день февральской революции, под звуки Марсельезы, с вестью о торжестве республики, стала своеобразным историческим очерком о трех революционных поколениях — 1789, 1848 и кануна 1871 года.

В первой же главе повести — «Доктор» — Герцен намечает контрастное сопоставление деятелей революции 1848 года с поколением эпохи французской буржуазной революции конца XVIII века. Как известно, повесть написана в излюбленной Герценом диалогической форме, причем собеседником писателя вновь выступает все тот же скептически настроенный доктор — продолжение и развитие центрального персонажа очерков «Скуки ради». По своим политическим взглядам доктор — весь в прошлом. «Я никогда не брал прямого участия в политике»,— говорит он, но тут же признается, что это отнюдь не значит, что он «не имел своих пристрастий»[5]. Он горячо верил в идеалы революции, ему казалось — она воплотит в себе лучшие традиции того славного времени, о котором он не может вспоминать без глубокого волнения. Но действительность обманула его. «Подумайте, какие медики нашли бы вам пульс девяностых годов у наших либералов сорок восьмого? Возьмите портреты тех... Мирабо, Дантон — felis leo[6]. ...Марат — собака, бульдог, Робеспьер — felis catus[7]... барс, кошка, да какая кошка! Черты, глаза, раз замеченные, остаются навеки в мозгу! Гош, Марсо... в этих лицах горит огонь, эти люди объяты страстью; они отдались, они все *тут*, у них нет дома, семьи, неба; у них нераздельная республика и отечество в опасности, у них все в общем урагане, на трибуне, на поле битвы... Как в такой горячке не наделать чудес, не разрушить мир и не сотворить другой. Головы валятся, ряды солдат валятся, стены валятся, а небосклоны становятся все шире и шире...». Доктор восторженно говорит о «величии лиц» и «свете событий» 89 года, о «ярких красках восходящего солнца», в которых тонут «все диссонансы, все свирепое, кровавое, темное». Жалкими и ничтожными кажутся доктору современные ему вожди буржуазной республики. «Вы не подумайте, что я враг этих людей»,— предупреждает он собеседника. Действительно, доктор отнюдь не является носителем того будущего, которое отрицает настоящее; его восприятие буржуазной революции целиком обусловлено самой буржуазной революционностью на более ранней ступени ее развития, и, тем не менее, «сводный портрет временного правительства 48 года», который рисует доктор, беспощаден. «Людям этим надобно было себе сшить белые жилеты с отворотами à la Robespierre, чтобы их приняли за якобинцев... вместо «отцов отечества» вышли какие-то квартальные на следствии». Ему кажется,

---

[5] Все цитаты из повести приводятся по тексту ее первоначальной публикации в «Сборнике посмертных статей» А. И. Герцена, Женева, 1870, стр. 223—263.

[6] Дикий лев (*лат.*).

[7] Дикая кошка (*лат.*).

что было бы лучше, «будь у нас в 1848 году на место *честнейшего* Ламартина и *честнейших* товарищей его»... дикие звери. Но это — лишь одна сторона глубокого пессимизма доктора. Не менее, а для Герцена значительно более важный смысл заключается в сознании отсутствия у республики народной поддержки. Как «каннибалы порядка» расстреливали парижских рабочих, Герцен хорошо знал по собственным впечатлениям. Доктора он заставляет рассказать забавный анекдот о том, как где-то на юге Франции *крестьяне,* толкуя о выборах, о политике, жалели, что «полюбовница» «le duc Rollin» (т. е. Ледрю-Роллена) «очень забрала силу и сбивает его». «Не слыхал»,— отвечает доктор,— «ни разу не слыхал». «А вот мы и вдали живем, да не только слышали об этом, но и имя этой Иродиады знаем,— ее прозывают la Martine»[8]. Тогда, осенью 1848 года, доктор в ответ на это «не выдержал и... расхохотался». Теперь воспоминание о разговоре с крестьянами наводит его на грустные размышления. «Да-с, милостивый государь, этот вопрос был сделан не в Рязани, не в Казани, а каких-нибудь ста километрах от Марселя и Авиньона. И это в то самое время, когда у тех же крестьян готовились спрашивать, нужен ли республике президент, и, если нужен, то кого они хотят в президенты? Ну, как же после этого не бросить весь политический хлам...».

Доктор не верит в революционные возможности народа, он убежден в «постоянном соответствии правительства или полиции с темпераментом французов», и Герцен недаром спрашивает у него: «Вы хотите сказать, что Франция имеет право на империю так, как виновный на наказанье?»

Разговор с доктором, которым начинается повесть, будет иметь большое значение для понимания последующего развития действия и идейного содержания произведения. В нем поставлена основная проблема всей повести — разочарование в революционности буржуазной демократии и необходимость преодоления исторического скептицизма, вызванного событиями 1848 года.

Сопоставление двух революционных эпох, намеченное в диалогах первой главы повести, получает образное воплощение в главе второй — «Умирающий».

Герцен рисует величавый, суровый образ страстного республиканца, одного из «последних могикан» революции, «непримиримых, неисправимых стариков девяностых годов». «Новая Франция для них чужая»,— говорит доктор, и его рассказ о судьбе Лукаса Ральера, или, как он сам себя

---

[8] Т. е. Ламартин; заметим, что в одном из примечаний к шестой части «Былого и дум» Герцен вспоминал уже об этом эпизоде — такое большое впечатление произвел он на него (см. «БиД», 523).

называл, «гражданина Тразеаса-Гракха Ральера», наглядно свидетельствовал об этом.

Жизнь Ральера сложилась бурно и прошла в тревогах и борьбе. Друг и горячий поклонник якобинца Ромма, он привлекался по делу «последних римлян», но был признан невиновным и вытолкан «против воли из тюрьмы». «Он бросился в журнализм и мстил своим пером за смерть Ромма и его друзей», посидел еще раза два в тюрьме и чуть не отправился в ссылку. По приглашению своего воспитанника, молодого Строганова, Ральер посещает Россию, где столкновение с деспотизмом и произволом Павла едва не приводит его в Сибирь. Разочаровавшись в своем воспитаннике, который нашел его проект преобразования России хотя и замечательным, но преждевременным, Ральер вновь оказался в странствиях по свету; лишь после 1830 года, «смягченный восстановлением *трех цветов*», он возвращается в Париж. Ральер свысока смотрит на конституционную монархию, он уверен, что за плечами — республика настоящая, «la bonne et la vraie»[9]. Замешанного в дело Барбеса и Бланки, старика (ему было тогда уже за шестьдесят) сажают в крепость. Снабдивши Ральера «ревматизмом во всех суставах, правительство лет через шесть возвратило, сколько его осталось, семье и обществу». Он живет у сына, известного нотариуса в Париже, большого дельца, далекого от каких-либо республиканских увлечений. Молодой Ральер, рассказывает доктор, «был не глупый, не злой человек, даже либеральничал, но при этом он все же был больше нотариус, чем что-нибудь другое. Ему и в голову не приходило становиться на дороге реакции; он сторонился перед ней, пожимая плечами и предоставляя истории самой вырабатываться, как знает». Сын нераскаянного якобинца опутан предрассудками своего класса; как и его жена, он больше всего боится, что старик скомпрометирует их общественное положение. Когда Ральера разбивает паралич, Изидор принимает все меры к тому, чтобы в последнюю минуту соблюсти над умирающим церковный ритуал. Старик чувствует, что вокруг него образован заговор; страстный атеист, он просит доктора не оставлять его и не допустить к его одру «черного таракана». Но все попытки доктора убедить нотариуса или помешать ему осуществить свой замысел бесплодны. «Как же *имя,* особенно женское, аристократическое, пойдет в мою студию после гражданских похорон моего отца? — отвечает Изидор.— Вы не подозреваете чудовищную силу предрассудков в нашем обществе!». Старик, до конца дней сохранивший свою преданность республиканским идеям якобинцев, умирает с

---

[9] Добрая и истинная *(франц.)*.

вестью о победе революции — и с криком ужаса при виде появившегося в дверях аббата. «Я закрыл покойнику глаза,— заканчивает свой рассказ доктор,— поцеловал его святой, честный лоб; на лице его осталось выражение гнева и отвращения, может, умирая, он и меня считал одним из заговорщиков, одним из негодяев!»

Рассказ доктора сюжетно представляет собою, собственно говоря, самостоятельный, законченный отрывок в повести Герцена, однако его глубокий идейный смысл раскрывается лишь в сопоставлении с другими частями произведения. Драма Ральера вовсе не в том, что его сын не стал наследником его идей («не туда направлен ум»,— говорит старик). Подлинная драма старого якобинца, о которой он сам еще не догадывается, заключена в отсутствии у его поколения духовных наследников вообще. Тема «отцов» и «детей» принимает ярко выраженный социальный характер, становится темой вырождения самих идей революции. Настоящим героем рассказа выступает Изидор Ральер.

Изидор откровенно смотрит на отца как на пережиток прошлого. Его «несчастный ригоризм» он называет «совсем не принадлежащим нашему времени»; себя же Изидор, напротив, причисляет к «людям нашего века». Он умеет находиться на уровне событий; «если *наша* возьмет» — говорит Изидор, указывая на волнующуюся улицу, и эти слова глубоко знаменательны. Недаром в следующей главе повести Марраст, председатель Учредительного собрания после февральской революции, называет молодого Ральера «преданным республиканцем». Но не о такой «республике» мечтал его отец.

Иллюзия «единой и неразделъной республики», побеждающей за окнами комнаты, придает картине угасания старого Ральера истинно трагический характер. Звуки Марсельезы, под которые Ральер навсегда закрывает глаза, воскрешают в памяти неутомимого якобинца героические образы прошлого. Он не видит, что революция, озарившая закат его жизни, расчищает дорогу к власти для таких буржуа-обывателей, как его сын. «Печальные Дон-Кихоты», писал в «Концах и началах» Герцен, они «остаются последними часовыми идеала, давно покинутого войском, они мрачно и одиноко стоят полстолетия, бессильные *изменить* и все ожидающие пришествия республики на земле; грунт возле понижается, понижается,— они этого не хотят видеть» (XV, 260—261).

Сцена смерти последнего из якобинцев в первый день буржуазной революции глубоко символична. Июньские дни еще были впереди, но разочарование и скептицизм овладевают доктором. Ральер умер во-время, революция разрушила бы его иллюзию. Иезуит, направляющийся к своей добыче,

выступает как воплощение будущего торжества буржуазной реакции.

Герцен тонко и многосторонне раскрывает истоки скептицизма доктора. Не случайно он оттеняет в его рассказе ироническое, снисходительное отношение к старому Ральеру. Достаточно напомнить, как изучает Ральер по новому изданию «Монитера» процесс Ромма, «собираясь торжественно уличить в криводушии редакторов, из которых ни одного не было в живых», как по-детски трогательно хранит он свои святыни — табакерку Ромма, его портрет и покрытый кровью шейный платок Гужона. Доктор восторгается им как личностью, сильным, цельным характером, но он сознает его безнадежное донкихотство. Потому и охвачен доктор пессимизмом, что он видит, насколько наивны и далеки от жизни дорогие для него идеалы Ральера. Старый якобинец, действительно и давно уже, стал «умирающим». Что же дальше?

Главу о тех, кто пришел Ральеру на смену, Герцен кратко и выразительно назвал: «Мертвые».

Эпизод, положенный Герценом в основу главы, снова уже был знаком читателям «Былого и дум». В главе XXXVIII пятой части, опубликованной в «Полярной звезде» на 1858 год (кн. IV), Герцен, рассказывая о президенте Женевского кантона Фази, его растерянности после 1848 года, писал: «Бывший его товарищ Марраст, президент национального собрания, замечает ему, что он неосторожно отозвался о католицизме «за завтраком, в присутствии секретаря», и говорит, что религию надобно беречь, чтобы не рассердить попов; когда экс-редактор «National'я» в президентском доме проходил из комнаты в комнату, двое часовых отдавали ему честь» («БиД», 400). Все эти подробности тщательно воспроизведены в рассказе доктора о своем завтраке у Марраста, месяца три спустя после похорон Ральера. «Это была приемная временщика, Меттерниха, при царе-народе»,— вспоминает доктор о приемной зале республиканского президента. Временщиками выглядят в его рассказе и сами вожди «второй республики», быстро, еще в медовый месяц своего президентства, усвоившие ложь и лицемерие, которые помогли буржуазной реакции захватить власть. Несомненно, что доктор в данном случае высказывает мысли самого Герцена. Еще в августе 1848 года Герцен писал друзьям в Россию о Маррасте и ему подобных: «Журналисты вздумали сесть на трон... Ха-ха! Люди фразы, люди интриг украли корону у народа, буржуа сели царями. Чорт ли в их благонамеренности!» [10].

Марраст, этот, по выражению Маркса (в «Восемнадцатом

---

[10] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 46.

брюмера Луи Бонапарта»), республиканец в лайковых перчатках [11], пытается победу республики представить как воплощение революционных традиций Франции: «И как странно,— говорит он о *«нашем папа Ральере»,*— что он умер в ту самую минуту, когда воскресала Республика, которой он так ждал, которую так любил. Славный был старик, и как бы он был счастлив; месяц бы пожить какой-нибудь... Таких-то людей, непоколебимых и сильных, нам теперь очень, очень нужно». «Будто»? — заметил, улыбаясь, доктор, и «едва уловимое движение пробежало по лицу Марраста».

Каждое слово Марраста разоблачает его ренегатство и лицемерие — перед доктором и перед читателем, подготовленным всем ходом рассказа к пониманию подлинного соотношения революционных поколений. Герцен использует излюбленный им прием саморазоблачения персонажа через диалог, потому так много и охотно говорит Марраст в беседе с доктором. Он поучает его, что народ «надобно всеми средствами приучить к республике, воспитать к свободе и пониманию права», что «исполнение религиозных обрядов большинства народа до некоторой степени обязательно для всех» и т. д. «Давно ли это,— спрашивает доктор,— наш президент сделался из вольтерианцев клерикалом и проповедует церковные обряды?»

Герцен хорошо сознавал большую обличительную силу, заключавшуюся в таких образах повести, как Изидор Ральер или Марраст. «Это — французам орешек с горьким миндалем»,— писал он Огареву 24 марта 1869 г., сообщая о написанном им «новом рассказце» (XXI, 333) [12].

В галлерее созданных Герценом художественных образов ненавистного ему буржуазно-мещанского мира портреты «мертвых» из последней повести писателя принадлежат к числу самых острых и ярких. И все-таки они были для Герцена в известной степени повторением пройденного. «Что же это доказывает?» — спрашивает он доктора в «Эпилоге» повести, написанном спустя несколько месяцев после главы о Маррасте.

Так мы вплотную подходим к основной идее повести. Быть может, чтобы уяснить себе ответ на этот вопрос, она и была написана Герценом. Он не мог в конце шестидесятых годов остановиться на признании поражения революции и торжества «мертвых». В отличие от доктора, Герцен мучительно все эти годы, кончая письмами «К старому товарищу», искал ж и в ы е силы истории. В «Эпилоге» его беседа с доктором

---

[11] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. I. М., 1949, стр. 213.

[12] Глава «Мертвые» датирована в рукописи 25 марта 1869 г.

перерастает в скрытую полемику, имеющую исключительно важное значение.

По мнению некоторых исследователей, «герценовское отношение к революции 1848 года в конце шестидесятых годов... ни в малой степени не заключало в себе принципиальных различий с отношением Герцена к революции 1848 года тогда же, в конце сороковых годов» [13]. Согласиться с этим — значило бы предположить, что опыт революционной борьбы европейского рабочего класса на протяжении почти двух десятилетий ничему не научил Герцена, что в конце шестидесятых годов он стоял на той же точке зрения исторического пессимизма, на которую поставило его поражение революции. В действительности дело обстояло совершенно иначе. Повесть свидетельствует о решительном пересмотре Герценом своего прежнего понимания исторического смысла и значения революции 1848 года. Пусть он попрежнему не смог до конца понять классовой природы либерализма, расстреливавшего в июньские дни парижских рабочих, пусть еще весьма смутно представлялась ему всемирно-историческая миссия пролетариата — однако, несомненно, что в конце шестидесятых годов Герцен подвергнул острой критике пессимизм и скептицизм, порождавшиеся поражением революции 1848 года и наполеоновским режимом. Герцен осуждает своего собеседника за безысходный социальный скептицизм. «Я сам дожил до седин, плохо понимая, что делается вокруг,— говорит доктор,— и потом в три дня выучился больше, чем во всю жизнь,— и выучился на всю жизнь.

« — Вы говорите?..

«— Разумеется, об июньских днях».

Июньские дни бесповоротно привели доктора к историческому пессимизму и разочарованию в социализме, в революционных перспективах Франции. «Франция совсем не такая уже революционная страна, какой себе представляли ее иностранцы и мы сами... Малейший ветер колышет и рябит наше море, но на вершок, не больше... Революционная пьеса доиграна...».

Герцен не разделяет этих воззрений доктора, его внимание приковано к «современной борьбе капитала с работой», к «новым силам и людям» в революции. «Я прерываю философствование моего доктора,— заканчивает Герцен повесть,— или, лучше, не продолжаю его, потому что и тут, как почти во всем, обстоятельства нагнали нас и опередили... Рассказ док-

---

[13] И. С. Нович. Русская литература и революция 1848 года. М., 1948, стр. 18—19. Для подтверждения этого положения автор ссылается именно на повесть «Доктор, умирающий и мертвые» (см. стр. 19).

тора о гражданине Ральере я писал в начале марта 1869. Через несколько месяцев гроза, давно собиравшаяся, разразилась, без ударов и потрясений. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франции изменилась. Равновесие, устроившееся от начала реакции после 1848, нарушилось окончательно.

Явились новые силы и люди».

Принято думать, что Герцен подразумевает здесь поражение правительства Наполеона III на парламентских выборах летом 1869 года. Такое ограничительное понимание замечательной концовки повести вряд ли может быть признано исчерпывающим. «Новые силы и люди» — это не только собранные оппозицией три с половиной миллиона голосов. Это, прежде всего, могучий подъем революционной борьбы французского пролетариата, завершившийся спустя полтора года победой Коммуны. Кровь, «кажется, миновать трудно»,— пишет Герцен в «Эпилоге» повести. «Один стан растет не по дням, а по часам, другой свирепеет...».

Приближаясь к правильному взгляду на историческую роль пролетариата, Герцен — автор писем «К старому товарищу» — ждет нового подъема революционного движения на Западе. Но знамена Парижской Коммуны ему не суждено было увидеть...

При жизни писателя повесть «Доктор, умирающий и мертвые» не была напечатана и впервые увидела свет лишь в «Сборнике посмертных статей» Герцена, изданном в Женеве, в 1870 году (второе издание вышло в свет в 1874 году) [14].

В информации о сборнике для русского читателя, появившейся в некоторых журналах, прежде всего обращалось внимание на тенденциозное истолкование неизвестной ранее главы «Былого и дум» о «молодой эмиграции», и повесть

---

[14] Рукопись повести не была доступна исследователям и публикаторам литературного наследия Герцена, и текст сборника 1870 года служил единственным источником при дальнейших воспроизведениях повести в печати. Обнаруженный недавно среди материалов «Пражской коллекции» Герцена — Огарева автограф повести (ф. 5770, оп. 1, ед. хран. № 12, л. 1—101) позволяет установить точный текст последнего беллетристического создания Герцена, устраняет пропуски, неверные прочтения слов и отдельные погрешности, допущенные составителями «Сборника».

Автограф представляет собою черновую, вероятно — единственную рукопись повести. Первоначально повесть была озаглавлена «Доктор и умирающий»; очевидно, написав эти главы, Герцен решил продолжить повесть рассказом доктора о встрече с Маррастом, и заголовок был дополнен названием новой главы: «Мертвые».

Большой интерес вызывают зачеркнутые Герценом в процессе работы варианты отдельных мест повести. Они наглядно показывают, как Герцен, обратившись к художественному образу Дон-Кихота революции, стремился быть как можно лаконичнее и сдержаннее в характеристике старого якобинца, избегать отступлений от основной линии рассказа — контраста образа Ральера с буржуазно-мещанской средой современной ему Франции.

прошла незамеченной[15]. Лишь в «Беседе», в анонимной статье «Из Рима», посвященной посмертному сборнику Герцена, было уделено место общей краткой характеристике повести. Касаясь образа Ральера, автор писал о «резком, полном страсти и огня типе старого якобинца, доживающего свои годы среди измельчавшего общества, окруженного ханжами, клерикалами, орлеанистами, республиканцами нового образца»[16]. Однако далее автор статьи произвольно приписал точку зрения доктора на события самому Герцену, отметив «грустный отпечаток», якобы характеризующий произведение, как и «все посмертные сочинения автора»[17]. Такое понимание повести хорошо укладывалось в либеральную легенду о полном одиночестве, духовной растерянности и пессимизме писателя в последние годы и месяцы его жизни.

Выше мы отмечали, что в беллетристике Герцена шестидесятых годов проявили себя новые стороны его художественного мастерства. Возвращение к повествовательным жанрам отнюдь не означало повторения стилевых особенностей беллетристических произведений сороковых — начала пятидесятых годов. Для Герцена — революционного демократа неизмеримо возросла общественная значимость литературного творчества, его активная действенная сила. Опыт работы над «Былым и думами», многолетняя публицистическая деятельность в «Колоколе» и на страницах других изданий Вольной русской типографии не прошли даром: Герцен наглядно убедился, как велико влияние печатного слова на социально-политическую жизнь людей. Единство стоящих перед ним революционных задач по-новому осветило для Герцена проблему самих жанров литературных произведений. Не только художественная автобиография, мемуары, но и повесть, очерк, политический памфлет и фельетон утратили в его творчестве традиционные, резко выраженные специфические черты.

В новом качестве выступают в беллетристике шестидесятых годов публицистические рассуждения — как автора, так и отдельных действующих лиц. Подобно «Сороке-воровке», повесть «Доктор, умирающий и мертвые» открывается диалогом, не имеющим прямого сюжетного отношения к ее основному содержанию. Но если в «Сороке-воровке» этот публицистический зачин — восхитивший Белинского «разговор» — составлял в композиционном построении произведения обособленный эпизод, то в последней повести Герцена беседа автора с доктором, сюжетно обрамляя рассказ, служит в то же

[15] См., например, «Русский вестник», 1871, II, VIII.
[16] «Беседа», 1871, VII, стр. 114.
[17] Там же.

время его органической составной частью. Публицистические и сюжетно-повествовательные элементы образуют законченное художественное целое, и это было значительным достижением Герцена-писателя.

Герцен смело раздвигает рамки жанра. Связь замысла «Доктора, умирающего и мертвых» с публицистическим циклом «Концы и начала», перекличка отдельных эпизодов повести с «Былым и думами» — это не только важные моменты ее творческой истории, но отражение сложности композиции и стиля самой повести, действительно включившей в себя и черты политического фельетона (например, в главе «Доктор») и ярко выраженные мемуарные зарисовки (описание парижских баррикад в главе «Умирающий»). Так же построен рассказ «Трагедия за стаканом грога», с его философско-публицистическими обобщениями в начале и конце. Еще более пестрым сочетанием жанров отличаются очерки «Скуки ради». Близость художественного стиля Герцена в этих очерках и в «Былом и думах» несомненна. Когда М. Лемке заключительные главки «Скуки ради» («Альпийские виды.— Женева») включил в своем издании в состав мемуаров Герцена (см. XIV, 766—786), это выглядело настолько естественным и органичным, что никто не усомнился в правильности и научной обоснованности такой перестановки. Редакторов и исследователей «Былого и дум» не смутило при этом даже то обстоятельство, что в контексте мемуаров становится совершенно непонятным, например, упоминание о «болтовне уехавшего доктора» (глава XI «Скуки ради»). Между тем М. Лемке действовал в данном случае совершенно произвольно, поскольку никаких указаний Герцена о принадлежности последних страниц очерков к «Былому и думам» не сохранилось. Но художественное сходство «Скуки ради» и мемуаров, действительно, не может не привлечь внимания. Очерки Герцена крайне своеобразны; это — путевые впечатления, случайные размышления «скуки ради»; записи дневникового характера, воспроизведение разговоров чередуются с откровенно публицистическими отступлениями. Так «вклинивается» в наблюдения автора над пассажирами в вагоне целая глава о «силе глупости» в мире — предрассудков, привычек, невежества, фанатизма и т. п. (см. XXI, 157—159). Главы о Женеве по началу продолжают путевой дневник Герцена («Последний туннель — и post tenebras lux [18]. Женеву я знаю с давних лет...» и т. д. (XIV, 766), но буквально через несколько строк автор увлекается рассказом о женевцах, их характере, занятиях, затем

[18] После мрака свет (*лат.*).

переходит к истории города, начиная с конца XVIII века, и т. д.; путевой очерк становится законченной по своему жанру публицистической статьей. В соседних главах воспоминания словоохотливого доктора составляют целую серию самостоятельных эпизодов, а рассказ о Маргарите (глава VIII) перерастает в отдельную новеллу. Такая композиция очерков сближала их с недавно законченными — или временно оставленными, как казалось писателю,— мемуарами. Творчество Герцена в шестидесятых годах приобретает ту цельность стиля во всех жанрах, к которой он стремился с самого начала своего литературного пути.

К числу лучших страниц «Скуки ради» следует отнести превосходную миниатюру, которой оканчивается глава VI очерков,— свидетельство тонкого и глубокого психологического анализа, присущего мастерству Герцена-художника.

«Передо мной в ресторан вошла женщина с двумя детьми в трауре и с ними высокий господин тоже в черном...

«— Ты плачешь? — спросила женщина в трауре. Мальчик лет восьми-девяти поднял на нее глаза, полные слез, и сказал: «нет, нет!». Мать взглянула на мужчину, улыбаясь: она, видимо, извинялась за слезы ребенка. Мужчина положил ему большой кусок чего-то на тарелку и прибавил: «будь же умен и ешь».

«— Я не хочу есть,— отвечал мальчик.

«— Мой друг, это глупо,— сказал мужчина.

«— Ты с утра ничего не ел, кроме молока, — прибавила мать и просила взглядом, чтобы мальчик ел. Мальчик принялся за котлету, взглянув на мать с невыразимым горем; крупная слеза капнула в тарелку. Женщина и господин сделали вид, что не заметили, и начали говорить между собой. Другой ребенок, гораздо моложе, болтал, шумел и ел. Мать погладила старшего, он взял ее руку и поцеловал, задержав слезы.

««Башмаков не успела она износить»,— и маленький Гамлет это понял.

«Господин велел подать какого-то особенного вина, чокнулся с матерью и, наливая детям, улыбаясь, сказал старшему:

«— Не будь же плаксивой девочкой и выпей браво твое вино.

«Мальчик выпил.

«Когда они пошли, мать надела на мальчика шарф, чтоб он не простудился, и обняла его. В ее заботе было раскаяние и примирение с собой; она, казалось, просила прощения, пощады у него и у *него*.

«И, может, она во всем права.

«Но мальчик не виноват, что помнит *другого,* что ему хотелось *доносить башмаки* и что новые его жали, так, как не виноват в том, что испортил мне обед» (XXI, 165—166).

Мы привели отрывок полностью, чтобы показать, как расширяет это «стихотворение в прозе» традиционные представления о беллетристике Герцена. Писатель больших обобщений, художник-сатирик и публицист, резко обнажавший социальные контрасты действительности, Герцен выступает как мастер меткой и тонкой психологической детали не только в своих автобиографических записках, но и в повествовательных жанрах. Лаконизм отрывка, строгая выразительность каждого слова, за которым угадывается большая человеческая драма, снова напоминают художественную манеру Тургенева или Чехова.

Беллетристика шестидесятых годов до сих пор занимает скромное место в изучении литературно-художественного наследия Герцена. Дореволюционные исследователи творчества писателя, по существу, ограничивали беллетристику Герцена произведениями сороковых годов и совершенно не знакомили читателей с его последними очерками, рассказами, повестью [19].

Мало внимания беллетристическим произведениям последних лет жизни писателя уделено в новейших работах о Герцене. Даже в монографии Я. Эльсберга беллетристика шестидесятых годов характеризуется крайне бегло; следует, впрочем, отметить, что во втором издании книги анализ последних беллетристических произведений Герцена автором несколько расширен.

Нам представляется, что недооценка литературной деятельности Герцена на последнем, завершающем этапе его идейного развития не только незаслуженно обедняет его облик как писателя и беллетриста, но затрудняет всестороннее понимание духовной эволюции Герцена в шестидесятых годах.

---

[19] См., например: А. Веселовский. Герцен — писатель. М., 1909; Ч. Ветринский. Герцен. СПб., 1908. А. Г. Фомин в библиографии произведений Герцена и литературы о нем уверял, что в повесть «Доктор, умирающий и мертвые» вошли очерки «Скуки ради» (см. Ч. Ветринский. Указ. соч., стр. 494)! Как другой курьез, можно заметить, что даже в книгах, специально посвященных Герцену, как и в изданиях его сочинений, упоминание о повести весьма редко обходится без традиционной ошибки в ее названии («Доктор, умирающие и мертвые»). См., например: А. И. Герцен. Повести и рассказы. Изд. 2, испр. «Академия», 1936; А. И. Герцен. Худож. произв. Редакция, вступ. статья и примечания Л. А. Плоткина. ГИХЛ, Л., 1937, стр. 36, 606, 610, 611; А. И. Герцен. Повести и рассказы. «Молодая гвардия», Л., 1949, стр. 17; А. Герцен. Повести и рассказы. Псков, 1949; И. Нович. Русская литература и революция 1848 года. М., 1948, стр. 19; и т. д.

IX

ВОКРУГ НАСЛЕДИЯ.— ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новый, 1870 год Герцен, после долгих скитаний по Европе, встречал в Париже. Столица Франции переживала бурные, тревожные дни. Мощное общественное движение охватывало все более широкие круги населения. В массовую демонстрацию революционного Парижа вылились похороны видного французского журналиста Нуара, убитого принцем Пьером Бонапартом.

Среди участников траурного шествия находился Герцен. Через несколько дней его не стало: простудившись на демонстрации, Герцен заболел воспалением легких, болезнь развивалась быстро, и 21 января 1870 года он скончался.

23 января на кладбище Пер-Лашез состоялись похороны великого русского революционера-демократа[1]. По распоряжению французских властей время выноса гроба из квартиры Герцена на улице Риволи было трусливо перенесено, и траурная процессия направилась на кладбище часом раньше, чем было объявлено. Тем не менее похороны Герцена привлекли огромную толпу народа. Вместе с русскими эмигрантами за гробом шли парижские рабочие-«блузники», лучшие люди демократической французской интеллигенции, революционные эмигранты ряда европейских стран. Похороны Герцена стали новым свидетельством единства международного революционного движения.

Жизнь Герцена прошла в борьбе и неустанных исканиях, в пытливом и страстном изучении действительности, в стремлении активно, всеми силами, с подлинным пафосом писателя-революционера воздействовать на нее. «Я ненавижу абстракции и не могу в них долго дышать...— писал Герцен

[1] Вскоре прах Герцена был перевезен в Ниццу и там погребен рядом с могилой его жены.

Огареву еще в январе 1845 года, в период своих напряженных философских занятий.— Меня беспрестанно влечет жизнь» (III, 435).

В самые тяжелые минуты жизни, потрясенный поражением революционного движения в Европе и трагическими событиями своей личной жизни, Герцен писал М. Мейзенбуг: «Одно лишь осталось у меня, это — энергия в борьбе, и я буду бороться. Борьба — моя поэзия...» (VII, 291; подлинник по-французски).

Этой «поэзией борьбы» пронизана каждая строчка сочинений Герцена. Потому, спустя годы и десятилетия, они попрежнему вызывали споры, полемику, ожесточенную политическую борьбу. В предисловии к сборнику посмертных статей Герцена Огарев пророчески писал: «Искренность и мощь его слова не могут пройти незаметно и должны отозваться в среде русских читателей. Память о его влиянии пройти не может» [2].

Передовая русская критика XIX и XX веков в упорной, напряженной борьбе отстояла наследие Герцена от извращений и посягательств реакционеров и мракобесов разных мастей и толков. Идейная борьба революционно-демократической, а затем марксистско-ленинской критики за наследие Герцена, за научное определение исторической роли писателя в развитии русской литературы и общественной мысли явилась яркой страницей в истории русской критики и публицистики. В свете этой борьбы становится особенно наглядным место литературно-художественного творчества Герцена в передовой культуре русского народа, его значение для нашей современности.

Революционные идеи Герцена находили горячих приверженцев среди русской молодежи семидесятых — восьмидесятых годов. Смерть писателя вызвала появление за границей анонимной брошюры, посвященной его памяти, в которой Герцен рассматривался в ряду великих русских демократов, вместе с Чернышевским и Добролюбовым. «Мы помним,— писал автор брошюры, — ту лучшую эпоху нашей жизни, когда имена эти повторялись неразрывно и были дороги одинаково всякому честному человеку в России» [3]. В том же 1870 году Н. В. Шелгунов писал о Герцене в связи с изданным в России сборником его произведений «Раздумье», как о «человеке нашего поколения». «Он всегда наш, — утвер-

---

[2] «Сборник посмертных статей А. И. Герцена». Женева, 1870 («К читателям»).

[3] «А. И. Герцен. Несколько слов от русского к русским». «Литературное наследство», № 41—42, стр. 171.

ждал Шелгунов, — всегда с молодыми, только умейте понимать его...»[4].

Реакционные идеологи, убедившись в тщетности своих попыток очернить Герцена в глазах молодого поколения, стали прибегать к фальсификации образа писателя-демократа. Борьба с Герценом принимала более тонкую форму «борьбы за Герцена», озлобленные выпады реакционных писак сменились безудержным лицемерным славословием Герцена. «Угнетающие классы при жизни великих революционеров,— писал В. И. Ленин в работе «Государство и революция» (1917),— платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их *имени* для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая *содержание* революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его»[5].

Когда в Женеве вышел известный сборник посмертных статей Герцена, «Русский вестник» посвятил ему две обстоятельные рецензии, в которых читателю, незнакомому с самими посмертными статьями, предлагалось по выбранным цитатам поверить, что «если бы... смерть не окостенила писавшей их руки, мы (т. е. Катков и все его единомышленники.— *В. П.*) увидели бы в Герцене не столько противника, сколько союзника»[6]. Так грубо извращались в реакционной печати пути идейного развития Герцена в шестидесятых годах, в частности критические замечания писателя по адресу «молодой эмиграции».

В дворянско-буржуазной печати, начиная с семидесятых годов XIX века и особенно в период реакции после поражения революции 1905 года, имели место бесконечные вариации самого разнообразного, но одинаково лживого толкования взглядов Герцена, его идейного и творческого развития. Герцена — либерального народника в них сменял образ типичного либерала-постепеновца; «своим» его облыжно объявляли модернизированные «западники» и потомки славяно-

---

[4] Н. В. Шелгунов. Соч., т. II, стр. 436.

[5] В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 357.

[6] П. Щ. Лучше поздно, чем никогда. «Русский вестник», 1871, VIII, стр. 665 (под инициалами «П. Щ» скрывался один из деятельных сотрудников Каткова П. К. Щебальский). См. также статью Д. «Посмертное сочинение Герцена (письмо из Берлина)». «Русский вестник», 1871, II, стр. 804—816.

филов, позитивисты и откровенные мистики-идеалисты. Фальсифицировать облик Герцена было тем более легко и удобно, что его сочинения попрежнему не были доступны широкому читателю, и «толкование» их сводилось к нарочито тенденциозному цитированию запретного писателя. «Основываясь на его сочинениях,— писал впоследствии Горький,— доказывали самые разноречивые положения: консерваторы утверждали не раз, что Герцен консерватор, славянофилы признают его своим, социалисты называют первым русским социалистом и еще недавно (Горький писал в 1909 году.— *В. П.*)... Русанов, сотрудник «Русского богатства», доказывал... что Герцен является изобретателем русского социализма...» [7].

Революция 1905 года сняла запрет с сочинений Герцена в России. Но его слово оказалось в тех же «колодках русской цензуры», о которых он говорил еще в «Былом и думах». В первом русском собрании «Сочинений А. И. Герцена», изданных в 1905 году, цензура до неузнаваемости исказила духовный облик писателя. Герцен предстал чуть ли не публицистом правого лагеря, о чем самодовольно и не без злорадства в пространной и многословной статье, крикливо озаглавленной «Чей же Герцен?», писал черносотенный цензор издания [8].

Буржуазные историки литературы усиленно насаждали легенду о Герцене как о представителе современного ему русского либерального общества — таким выглядит Герцен, например, на страницах монографии Ч. Ветринского. Под пером мракобеса Мережковского Герцен превращался в христианского подвижника и космополита; С. Булгаков в статье «Душевная драма Герцена», за короткий срок переизданной несколько раз, препарировал Герцена под «провозвестника религиозного возрождения», предшественника Достоевского и Соловьева; «борца за идеализм» открывал в Герцене Волынский, и т. д.

Клеветнические измышления Достоевского о Герцене — «барине», «поэте», якобы враждебно настроенном по отношению к политике и революции, подхваченные в свое время Н. Страховым и монархистом Б. Чичериным, нашли свое предельно циничное выражение в лживых утверждениях «веховцев», будто великий демократ был... противником революционных действий и непримиримым врагом материализма.

---

[7] М. Горький. История русской литературы, стр. 206. Горький имеет в виду статью Н. С. Русанова «Западный социализм и «русский социализм» Герцена» («Русское богатство», 1909, VII—VIII).

[8] См. «Русский вестник», 1905, IX—XII.

Легенда о славянофильстве Герцена пришлась по вкусу либерально-народническим идеологам. Необходимо подчеркнуть при этом, что народники видели в Герцене именно либерального, оппортунистического народника, умудряясь, как, например, Скабичевский, «оппортунизм» Герцена «заметить» даже... в письмах «К старому товарищу» [9].

Противопоставляя Герцена революционно-освободительному движению в стране, тенденциозно истолковывая полемику «Колокола» и «Современника» как «столкновение двух течений общественной мысли» [10], буржуазные «литературоведы» и «историки» принижали Герцена до уровня собственных обывательско-мещанских взглядов. Тщательно выхолостив революционную сущность деятельности Герцена, «рыцари либерального российского языкоблудия», как называл их Ленин, пытались использовать искаженный образ писателя-демократа в своей борьбе с революционным движением и передовой общественной мыслью. Реакционной легенде о Герцене Демьян Бедный посвятил тогда острые и меткие строки своей басни «Кукушка» (1912):

Так, оскорбляя прах бойца и гражданина,
Лгун некий пробовал на-днях морочить свет,
Что, дескать, обсудить — так выйдет все едино,
И разницы, мол, нет:
Что Герцен — что кадет [11].

Реакционные «толкователи» Герцена, превознося фальсифицированный ими, каждым по-своему, облик писателя, безоговорочно сходились на отрицании художественной ценности его литературного наследия. При этом традициям революционно-демократической критики, и в первую очередь Белинского, отводившего, как мы видели, Герцену одно из первых мест в развитии критического реализма русской литературы, противопоставлялись «традиции» славянофильствовавшего реакционера Шевырева и полностью игнорировались высказывания о Герцене-художнике Тургенева, Некрасова, Льва Толстого. Буржуазный космополит Алексей Веселовский своеобразие герценовского реализма пытался объяснить «западным влиянием», в тесной зависимости от которого якобы развивался талант Герцена-писателя; в лучшем случае Герцену отводилось скромное место среди эпигонов Гоголя.

---

[9] См. А. Скабичевский. Соч., т. I. СПб., 1890, стр. 796—798.

[10] См. очерк под таким названием в книге: В. Богучарский. Из прошлого русского общества. СПб., 1904.

[11] Д. Бедный. Избранное. М., 1950, стр. 17.

Раболепно низкопоклонствуя перед буржуазным Западом, вся эта орава реакционных идеологов умаляла роль великого русского мыслителя и художника в развитии русской и мировой науки и литературы.

Передовая русская литература и критика вела непримиримую борьбу с пестрой и многочисленной стаей лицемерных «последователей» Герцена, объединенных общей ненавистью к великому революционному демократу, материалисту и страстному писателю-гражданину.

В каприйском курсе лекций по истории русской литературы (1908—1909) Герцену большое внимание уделил Горький. «Мы должны,— говорил Горький,— возможно подробнее остановиться на жизни и деятельности Герцена — его значение в истории развития русского общества и русской мысли огромно и до сей поры не оценено полностью во всей широте и глубине» [12]. В противовес буржуазным историкам литературы, Горький подчеркнул значение Герцена как писателя, смело затронувшего в своем творчестве важнейшие общественные проблемы: «Он представляет собою целую область, страну, изумительно богатую мыслями» [13]. Горький высоко ценил язык Герцена, вызывавший тенденциозные нарекания реакционных пуристов от литературы.

Необходимо, однако, отметить, что Горький, выделив в мировоззрении Герцена, как ведущую черту, «драму русского барства», рассматривал его тогда вне основных этапов развития русской революции и поэтому не мог правильно определить историческое место Герцена — мыслителя и революционера, как и Герцена — писателя.

Большая заслуга в разоблачении фальсификаторов истории передовой русской литературы и общественной мысли принадлежит Г. В. Плеханову. «Плеханов, — говорил товарищ Жданов в докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград»,— много поработал для того, чтобы разоблачить идеалистическое, антинаучное представление о литературе и искусстве и защитить основные положения наших великих русских революционеров-демократов, учивших видеть в литературе могучее средство служения народу» [14]. Отстаивая идейное наследие революционных демократов, Плеханов в цикле статей дал глубокий и разносторонний анализ мировоззрения и деятельности Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова. Статьи Плеханова о Герцене, как и его

---

[12] М. Горький. История русской литературы, стр. 205.

[13] Там же, стр. 206.

[14] А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», стр. 19.

яркая речь на могиле писателя в сотую годовщину со дня рождения Герцена, во многих отношениях не потеряли своего значения и для современного советского читателя.

Плеханов характеризует Герцена как одного «из наиболее вдумчивых и блестящих представителей той переходной эпохи, когда социализм стремился сделаться «из утопии наукой»». «Герцен,— писал Плеханов,— был один из самых замечательных людей, выдвинутых замечательной эпохой 40-х годов» [15]. В истории русской общественной мысли Плеханов отводит Герцену «одно из самых первых мест», добавляя при этом: «и не только русской...» [16]. Плеханов много сделал для защиты Герцена-материалиста от посягательств мистиков-идеалистов, грубо извративших философскую основу мировоззрения Герцена, а затем объявивших его «своим». Он показал победу материалистических начал над идеализмом во взглядах Герцена, поразительную близость многих философских положений русского демократа воззрениям Энгельса. Плеханов защищал Герцена-социалиста и демократа от «либеральных мудрецов» вроде Богучарского; в статье, посвященной книге Богучарского о Герцене, Плеханов дал достойную отповедь буржуазному фальсификатору наследия Герцена.

В то же время во взглядах Плеханова на великих русских демократов, и в частности на Герцена, было немало серьезных ошибок, вытекавших из его общей ложной концепции характера и движущих сил русской революции. Плеханов не учитывал своеобразия русской общественной жизни и не мог раскрыть самостоятельности и оригинальности русской революционно-демократической философии. Он нередко сводил материалистические взгляды Белинского, Герцена, Чернышевского к метафизическому материализму Фейербаха. Плеханов недостаточно подчеркнул боевой демократизм русского «просветительства» в лице Белинского, Герцена, Чернышевского, их связь с революционной борьбой широких народных масс. Меньшевистское неверие в революционность русского крестьянства и непонимание связи между крестьянством и революционерами-разночинцами шестидесятых годов, на которую настойчиво указывал Ленин уже в девяностых годах, лишили Плеханова возможности увидеть классовые корни мировоззрения русской революционной демократии. Плеханов в значительной мере оказался в плену меньшевистских воззрений на Герцена как на

[15] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 445.
[16] Там же.

индивидуалиста, чуждого революционно-демократическому крестьянскому движению. Ленин критиковал Плеханова за то, что он, разбирая философско-политические взгляды Чернышевского, «из-за *теорет*[*ического*] различия ид[еалистического] и мат[ериалистического] взгляда на историю... *просмотрел* практич[ески]-полит[ическое] и *классовое* различие либерала и демократа»[17]. Это высказывание В. И. Ленина может быть полностью отнесено к оценке Плехановым Герцена. Идейная эволюция Герцена в понимании Плеханова не зависела от реальных, конкретно-исторических условий классовой борьбы в России.

Ошибки Плеханова в вопросе о характере и классовой природе наследия великих русских демократов показали, что научное определение исторической роли и места русской революционной демократии возможно только с позиций последовательно-революционного марксизма, обогащенного опытом русской революции.

В изучении идейного наследства Герцена большую роль сыграли статьи и речи А. В. Луначарского. Его неоднократные выступления о классиках русской литературы, в частности о русских революционных демократах — Белинском, Чернышевском, Герцене, Салтыкове-Щедрине, учили бережно и любовно относиться к великому наследию прошлого. Луначарский правильно подчеркнул взаимосвязь различных сторон деятельности и творчества Герцена, органическое единство в его произведениях художника и публициста. Однако революционный демократизм Герцена оказался нераскрытым в работах Луначарского. Он ошибочно рассматривал Герцена и Белинского как выразителей некоего единого «западнического направления» русской интеллигенции сороковых годов и явно недооценил глубокий смысл борьбы великих демократов с буржуазно-помещичьим либерализмом. К тому же Луначарский ошибочно сближал мировоззрение Герцена с анархическими взглядами Бакунина и либеральной идеологией позднейших народников.

Только в статьях и высказываниях Ленина и Сталина, великих вождей рабочего класса России и его передового отряда — коммунистической партии, революционные заветы и богатейшее философское и литературное наследие русской демократии получили на основе самой передовой революционной теории подлинно научное осмысление. В гениальной ленинской статье «Памяти Герцена», классическом примере боевой партийной критики, была до конца разоблачена реакционная легенда о великом русском демократе.

---

[17] «Ленинский сборник», XXV, стр. 231.

Ленин глубоко раскрыл классовый смысл и социально-политическое содержание идейного пути Герцена от дворянской революционности к крестьянскому демократизму, показал значение его революционной деятельности в развитии русского освободительного движения и демократической общественной мысли. Ленинская концепция исторического развития революционного движения в России послужила основой для научной периодизации русской литературы, искусства и общественной мысли в целом. Без ленинских высказываний о трех поколениях, трех классах, действовавших в русской революции, не может быть понято и научно объяснено ни одно крупное явление в истории русской культуры XIX—XX веков.

Великая Октябрьская социалистическая революция сделала наследие Герцена достоянием народа. В тяжелых условиях гражданской войны и хозяйственной разрухи было продолжено и вскоре успешно завершено грандиозное двадцатидвухтомное издание полного собрания его сочинений и писем. Монументальное издание сочинений Герцена явилось крупным событием в жизни молодой советской культуры. Впервые было сведено воедино литературное наследие великого писателя, что послужило могучим стимулом для углубленного изучения его жизни и творчества.

Однако сторонники вульгарно-социологической школы в советской литературной науке тех лет долгое время ставили серьезные препятствия научному, марксистско-ленинскому изучению и пониманию наследия писателя-демократа. Вульгарные социологи, игнорируя высказывания передовой русской критики и ленинскую характеристику Герцена, по существу воскрешали традиции реакционного буржуазного литературоведения, вели в тупик освоение наследия русской революционной демократии, как и русской классической литературы в целом. В трудах историков так называемой «школы» Покровского Герцен странным образом выпадал из истории русского революционного движения. Антинаучные, антимарксистские, вульгаризаторские и упрощенческие исторические концепции Покровского и его «школы» способствовали проникновению в некоторые статьи и книги о Герцене вредных, чуждых советскому литературоведению взглядов.

Общий подъем марксистско-ленинской литературоведческой мысли, достигнутый на основе направляющих и руководящих указаний партии, оказал животворное воздействие на развитие советского герценоведения. 125-летний юбилей со дня рождения писателя, широко отмеченный в нашей стране весной 1937 года, явился началом серьезной исследовательской работы в области изучения идейного наследия писателя. Вы-

шел в свет ряд новых изданий избранных произведений Герцена, его философских сочинений, беллетристики, «Былого и дум». В 1941 году были изданы два тома «Литературного наследства», посвященных Герцену.

Исходя из гениальных ленинских положений, советские исследователи Герцена внесли ценный вклад в нашу литературоведческую науку. Среди лучших научных трудов, появившихся за последние годы, почетной награды — Сталинской премии — были удостоены монография Я. Е. Эльсберга «А. И. Герцен. Жизнь и творчество» и книга Д. И. Чеснокова «Мировоззрение Герцена». Но все это — лишь начало большой работы советских ученых — литературоведов, философов, историков — по изучению наследия Герцена, как и других великих русских демократов, на основе учения Ленина — Сталина о роли передовой русской культуры в подготовке и победе социалистической революции в нашей стране. Важнейшими задачами должно явиться уяснение исторического места Герцена в развитии великой русской литературы, передовой политической и философской мысли, исчерпывающая научная характеристика своеобразия его идейной эволюции и окончательное разоблачение порочных взглядов буржуазных космополитов на великого революционного демократа, наконец, дальнейшее изучение художественного творчества замечательного русского писателя.

* * *

Деятельность Герцена-писателя на всем протяжении его революционного и творческого пути была неразрывно связана с передовыми устремлениями русского общества, с освободительной борьбой нашего народа против самодержавно-крепостнического строя.

В многостороннем опыте Герцена как писателя и борца воплотился процесс большого исторического значения — переход к новому этапу в развитии русской революции. Одна из самых ярких фигур в ряду дворянских революционеров, Герцен в результате длительных и мучительных идейных исканий пришел в лагерь Чернышевского и Добролюбова и закончил свой путь как выдающийся деятель революционной крестьянской демократии.

Идейному развитию Герцена были свойственны противоречия, обусловленные сложной исторической обстановкой его времени, однако это был процесс непрерывного идейного роста. Герцен неуклонно приближался к познанию научных законов развития природы и общества. Мировоззрение, революционная деятельность и творчество писателя были всегда

устремлены вперед, опирались на те стороны и явления русской действительности, которые развивались и побеждали, которым принадлежало будущее.

В литературной борьбе своего времени Герцен играл видную роль как один из наиболее демократических русских писателей сороковых-шестидесятых годов прошлого столетия. Он горячо и последовательно отстаивал принципы передового реалистического искусства, справедливо усматривая в правдивом, обличительном слове художника-реалиста могучее средство активного воздействия на развитие общественной жизни. Во взглядах Герцена на литературу и искусство отразились наиболее прогрессивные традиции русской критической и эстетической мысли, традиции Пушкина, декабристов, Белинского, эстетические принципы русской революционной демократии шестидесятых годов.

Эстетические воззрения Герцена изменялись в соответствии с общим идейным развитием писателя, но всегда были связаны с его борьбой за политическое и духовное раскрепощение трудящихся масс, за новые успехи передового искусства, развивающего лучшие национальные черты русского народа. Каждое выдающееся явление искусства Герцен стремился объяснить, исходя из конкретно-исторических общественных условий. Выступая против физиологического, вульгарно-материалистического истолкования «всех явлений исторического мира», Герцен, в частности, писал, что «ни физиология, ни акустика не могут дать теории художественного творчества»; «прекрасное,— утверждал Герцен,— разумеется, не составляет исключения из законов природы» (XXI, 6—7).

Высказывания Герцена по важнейшим вопросам «теории художественного творчества» раскрывали упадок подлинного искусства в условиях буржуазного общества. В цикле «Концы и начала» он резко заклеймил мещански-ограниченное, пошлое творчество западных художников-ремесленников, «живших в искусстве для искусства и для денег» (XV, 243). «Весь характер мещанства с своим добром и злом,— писал Герцен,— противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре» (XV, 247). Герцен указывал, что буржуазная действительность гибельна для развития настоящего художественного таланта, обрекает его на натуралистическое подражание жизни или отдает во власть откровенно идеалистических теорий в эстетике. «Где же во всем этом искусство творческое, живое, где художественный элемент в самой жизни?..— спрашивал он.— Где же новое искусство, где художественная инициатива?» (XV, 246).

Отстаивая идеи народности и реализма, присущие передовой русской литературе, Герцен высмеивал сторонников реакцион-

ной теории «чистого искусства». «*Чистым* литераторам, людям звуков и форм,— писал он,— надоело гражданское направление нашей литературы» (X, 11). Мертвому искусству этих «ларпурларчиков» (XI, 81; от французского «L'art pour l'art» — «искусство для искусства») Герцен противопоставил художественно правдивое искусство реализма. На протяжении всей жизни он боролся за литературу, близкую народу, отвечающую насущным потребностям прогрессивного исторического развития России.

Общественное значение русской литературы Герцен рассматривал в свете тех задач, которые возникали перед русской демократической культурой в ходе освободительного движения народа. Глубокое понимание своеобразия исторического пути, пройденного русской литературой, особенно наглядно сказалось в классических работах Герцена «О развитии революционных идей в России», «Новая фаза русской литературы» и других и помогло ему в собственной художественной деятельности твердо укрепиться на позициях реалистического искусства.

Творчеству Герцена принадлежит почетное место в развитии русского реализма. Герцена следует по праву отнести к крупнейшим представителям той обличительно-реалистической линии в литературном прошлом нашей страны, которую Горький называл «великолепнейшей и, может быть, наиболее социально плодотворной линией русской литературы» [18]. Искусство Герцена отличала страстная заинтересованность писателя-демократа в исторических судьбах родного народа. О чем бы ни писал он — тяжелой участи русского крестьянина под гнетом помещиков-крепостников, идейной жизни революционной интеллигенции в России или жестоких классовых битвах, очевидцем которых Герцен был в странах Западной Европы,— его слово было всегда проникнуто глубоким раздумием о будущем Родины.

В художественном творчестве Герцена эта революционно-патриотическая струя, как мы видели, характерно проявлялась также в стиле его произведений, своеобразии их жанров, композиции, языка, в острых публицистических отступлениях от последовательного рассказа, философской насыщенности содержания, смелых и неожиданных сатирических образах, в яркой лирической окрашенности лучших страниц. Реализм Герцена принимал тот действенный, демократический характер, за который так высоко ценил его Белинский и который вызывал бессильную ненависть крепостнической реакции.

Герцен был блестящим стилистом, выдающимся мастером

---

[18] М. Горький. История русской литературы, стр. 25.

художественного слова. Писатель-мыслитель, он своеобразно соединял в своем творчестве передовую революционную идейность, глубокое философское понимание исторической действительности с неповторимой красочностью и образностью воспроизведения жизни. Обращаясь к наиболее типическим явлениям действительности, Герцен, как художник-реалист, создавал образы огромной обобщающей силы и значения. Его искусством художественного и философского обобщения жизни, развивающегося в органическом единстве, восхищались великие русские писатели и критики, от Белинского и Тургенева до Льва Толстого и Горького.

Исключительно важное значение для развития русской литературы имели публицистические выступления Герцена на страницах «Колокола» и других изданий Вольной русской типографии. Близость творческого метода Герцена-публициста к важнейшим принципам его художественного творчества отражала новаторский характер его деятельности, вызывавшей существенные сдвиги в развитии русского реализма середины прошлого века.

Наследие Герцена может служить одной из самых ярких иллюстраций великого значения передового мировоззрения для литературного творчества. Только писатель-материалист и демократ, безраздельно посвятивший свою жизнь революционной борьбе, мог в памфлетах «Колокола» положить начало великой традиции «борьбы путем обращения к массам с *вольным русским словом*»[19]. Только приход Герцена в шестидесятых годах в лагерь революционной демократии дал ему возможность создать классические образцы русской революционной публицистики. Только в творчестве художника, чутко воспринимающего современную ему социальную действительность, близкого к жизни своего народа,— могли возникнуть такие выдающиеся произведения реалистического искусства, как «Кто виноват?» и «Былое и думы».

В силу своеобразия своего исторического места в развитии русского революционного движения Герцен как писатель отразил сложный процесс борьбы различных литературных стилей, связанный с установлением и развитием реализма в русском искусстве. Художественное творчество Герцена, впитавшее в себя славные традиции русской литературы от Радищева до Пушкина, декабристов, Гоголя, чутко воспринимавшее все лучшее, что было в деятельности плеяды писателей-реалистов середины века, и вместе с тем тесно связанное с эстетическими принципами шестидесятников, служило наглядным примером преемственности в русском историко-литературном про-

[19] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 15.

цессе. Ближайший преемник художественной мысли Пушкина и Гоголя, друг и соратник Белинского, он выступает в истории русской литературы как непосредственный предшественник революционно-демократических писателей шестидесятых годов. Под сильным воздействием герценовского художественного и публицистического слова не только формировалось мировоззрение молодой революционной демократии, но и складывался стиль демократической литературы, представлявшей собой своеобразный этап в развитии русской художественной прозы.

Наследие Герцена имело в то же время большое международное значение и занимало видное место в общем процессе воздействия передовой русской культуры на развитие литературы, искусства, философской мысли ряда зарубежных стран.

Передовые деятели русской и зарубежной литературы и общественной мысли учились на произведениях Герцена, всегда публицистически ярких, полных глубокого философского содержания, пронизанных пафосом революционной борьбы. Лучшие произведения демократической художественной прозы в русской литературе XIX века в новой исторической обстановке продолжали традиции герценовского творчества.

Сатира Герцена, в которой бичующий гоголевский смех сочетался с революционной целеустремленностью писателя-демократа, была живыми нитями связана с сатирой Щедрина, предвосхищала важнейшие черты и стороны его сатирического метода.

Жанр политического романа, намеченный в «Кто виноват?», получил свое глубокое развитие в знаменитом «Что делать?» Чернышевского, где в самой вопросительной интонации заглавия отразилась несомненная перекличка с романом Герцена. Однако перекличка эта в то же время носила несколько полемический характер. Защита народных прав и интересов, страстные поиски положительного героя приводили Герцена в «Кто виноват?» и других повестях сороковых годов к непримиримому конфликту с крепостнической действительностью, но в тех условиях его протест не мог еще принять формы призыва к активному революционному действию.

В романе Чернышевского, наряду с обличением господствующих классов как виновников невыносимо тяжелой жизни народа, было с большой силой показано, что́ именно нужно делать передовым, революционно настроенным кругам русского общества в борьбе с ненавистным самодержавно-крепостническим строем. Несравнимо более яркая политическая направленность «Что делать?» привела к дальнейшему художественно-публицистическому заострению Чернышевским харак-

теристики типических образов действительности, в особенности положительных героев романа.

Вне традиций «Былого и дум», как было указано, невозможно рассматривать автобиографические произведения в русской литературе второй половины XIX — начала XX века, в частности, художественные мемуары Короленко и автобиографические повести Горького.

Публицистика Герцена была настоящей школой политического воспитания для передовой русской общественной мысли, критики, журналистики.

В творчестве Герцена нашли свое выражение общие пути развития русской классической литературы. Именно поэтому к нему постоянно обращался и им восторгался передовой русский читатель, несмотря на полицейские запреты подлинного герценовского слова и цензурные искажения в редких русских изданиях. Именно поэтому наследие Герцена дорого советским людям и советской литературе.

Уметь в повседневных явлениях действительности различать важнейшие исторические процессы, поднимая значение отдельных фактических событий до принципиальных обобщений,— этой зоркости писателя-демократа, тесно связанного с жизнью своего народа, советские писатели могут и должны учиться у Герцена. Но если Герцену при этом были неизвестны подлинные законы развития исторического общества и он вместе со всей передовой общественной мыслью России своего времени, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искал правильную революционную теорию, то советские писатели, вооруженные великим марксистско-ленинским учением, имеют бесконечно бо̀льшие возможности научного познания и художественного воплощения действительности.

Для советской литературы, самой передовой и идейной литературы мира, владеющей методом социалистического реализма, художественный метод Герцена отнюдь не может служить предметом какого-либо подражания. Тем не менее традиции Герцена, одного из «великих представителей русской революционно-демократической литературы» [20], представляют в наши дни большую актуальную ценность.

Советские писатели могут и должны учиться на примере Герцена высокой идейной страстности, политической остроте и действенности художественного и публицистического слова. Но если Герцену приходилось самоотверженно бороться своим словом художника и публициста в трудных условиях само-

---

[20] А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», стр. 11.

державно-крепостнического режима и бо̀льшую часть своей жизни — в обстановке политической эмиграции, то для советских писателей открыты беспримерные в истории литературы возможности своим творчеством активно служить народу, вместе с народом строить первое в мире коммунистическое общество.

На этом победоносном пути к коммунизму образ Герцена навсегда останется бесконечно дорогим и близким советским людям, как олицетворение лучших, самых возвышенных и благородных традиций русского народа, как символ демократической культуры великой русской нации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР

*

Редактор издательства *И. М. Гнездилова*
Технический редактор *Т. В. Полякова*
Корректор *А. К. Бессмертная*

*

РИСО АН СССР № 5165. Т-07737 Издат. № 3617.
Тип. зак. № 637. Подп. к печ. 31/X 1952 г. Формат бум. $60 \times 92^{1}/_{16}$
Печ. л. 15. Уч.-издат. 15,5. Тираж 10 000.

Цена по прейскуранту 1952 г. 8 руб. 20 коп.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д. 10